

КОНТИНЕНТ 9

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

«Я свое человеческое предназначение, смысл своей жизни вижу в отрицании зла, в милосердии, сочувствии, сострадании и помощи тем, кто в этом нуждается. Я отвергаю насилие, не признаю «диалектики» добра и зла, их относительности или «классового характера».

Татьяна Ходорович

«Именно после книги Солженицына я понял, что социализма в СССР нет. Это открытие по-настоящему ускорило мою эволюцию...

...я понял, что Солженицын — это человек, которого лагерь совершенно переродил, который совсем по-другому увидел и понял жизнь советского, русского общества, неприемлемость социализма для России... я увидел человека, который отбросил в сторону советскую идеологию».

Пьер Декс

«У нас религия сейчас — главная форма духовного движения, это не только религия, это — духовное возрождение народа, которое дает твердость сопротивления советскому режиму. Стержень организующий, я бы сказал».

Александр Солженицын

«Бредут в моря наощупь устья снова.
Взрывает злак

мощь ледяного
крова.

И легкое, бессмысленное слово

Звучит вдали отчетливей, чем
смерть».

Томас Венцлова

«Всю жизнь, сколько Федор помнил себя, он рвался отсюда куда глаза глядят, лишь бы прочь из этой тьмутаракани, этой кричащей скудости и беспробудно матерного пьянства».

Владимир Максимов

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Евгений Терновский
Заведующая редакцией: Наталья Горбаневская

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Джордж Бейли · Сол Беллоу
Иосиф Бродский · Николас Бетелл · Александр Галич
Ежи Гедройц · Густав Герлинг-Грудзинский
Корнелия Герстенмайер · Милован Джилас
Вольф Зидлер · Эжен Ионеско · Артур Кестлер
Роберт Конквест · Наум Коржавин · Михайло Михайлов
Людек Пахман · Андрей Сахаров · Игнацио Силоне
Странник · Иозеф Чапский · Зинаида Шаховская
Александр Шмеман · Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Англия	Владимир Тельников Wladimir Telnikov, 28 St. Luke's Rd. London W 11
Израиль	Михаил Агурский Michael Agurski, Mevaseret Zion 26a, Merkaz Klita, Israel
Италия	Ирина Альберти via Giacinto Pezzana 109 I - 00197 Roma
США	Юрий Ольховский George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W. Washington D. C. 20016, USA
Япония	Госукэ Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

9

Издательство «Континент»
1976

ПАМЯТИ ПОЭТА. ВАРИАНТ

Вернулся ль ты в воспетую подробно
Юдоль, чья геометрия продрогла —
В план города, в скелет его, под ребра,
Где, снегом выколов Адмиралтейства вид
Из глаз, мощь выключаемого света
Выводит тень из ледяного спектра
И в том конце Измайловского смертно
Многоколесный ржавый хор трубит.

Опять трамвай вторгается как в эхо
В грязь мостовой, в слезящееся веко,
И холод девятнадцатого века
Царит в вокзалах. Тусклое рядно
Десятилетий пеленает кровли.
Опять ширь жестов, родственная кроне.
На свете всё восстановимо, кроме
Простого тела, видимо. Оно

Уходит в зимнем сумраке незримо
В зарю глухую северного Рима,
Шаг приспособив к перебоям ритма
Пурги, в пространство тайное, в тот круг,
Где зов волчицы переходит в общий
Конвойный вой умалишенный волчий,
В былую притчу во языцех — в отчий
Заочный и дослѣзный Петербург.

Не воскресить гармонии и дара,
Поленьев треска, теплого угара
В том очаге, что время разжигало.

Но есть очаг вневременный, и та
Есть оптика, что преломляет судьбы
До совпадения слова или сути,
До вечных форм, повторенных в сосуде,
На общие рассчитанном уста.

Взамен необретаемого Рая,
Из пенных волн что остров выпирая,
Не отраженье жизни, но вторая
Жизнь восстает из устной скорлупы.
И в свалке туч над мачтою ковчега
Ширяет голубь в поисках ночлега,
Не отличая обжитого берега
От Арарата. Голуби слепы.

Оставь же землю. Время плыть без курса.
Крошится камень, ложь бормочет тускло.
Но, как свидетель выживший, искусство
Буравит взглядом снега круговерть.
Бредут в моря наощупь устья снова.
Взрывает злак мощь ледяного крова.
И легкое, бессмысленное слово
Звучит вдали отчетливей, чем смерть.

*Перевел с литовского
Иосиф Бродский*

ВЕНЦЛОВА Томас — один из самых значительных литовских поэтов своего поколения, родился в 1937 г. в Клайпеде (Литва). Его отец Антанас Венцлова — известный советский поэт, до конца жизни бессменный председатель Союза писателей Литовской ССР. Т. Венцлова — филолог, выпускник, а затем преподаватель Вильнюсского университета, ученый семиотической школы. Перевел на литовский язык стихи Ахматовой, Пастернака, Норвида, Т. С. Элиота, Джойса, Сен-Джона Перса и др. Неоднократно подвергался допросам КГБ, лишен возможности преподавать и печататься. В мае 1975 года выступил с открытым письмом к ЦК КП Литвы, где просил разрешить ему уехать на Запад. Письмо появилось впервые в 19-м номере самиздатской «Хроники Литовской Католической Церкви» и было напечатано на Западе. Публикуемые стихи взяты из единственного сборника стихов Т. Венцлова, изданного в Литве, «Знаки языка».

Снова доходят вести о том, что Владимир Буковский на краю гибели. Снова его мать в отчаянии пишет сюда, на Запад, друзьям. Сообщения о том, что начальство Владимирской тюрьмы перевело Володю на общий режим, не подтверждаются; сведения о том, что он НЕ в одиночной камере, — не подтверждаются; сведения о том, что он прекратил голодовку, — не подтверждаются. Восемь месяцев от него нет ни одного письма, и Нина Ивановна не знает: то ли все письма конфискованы, то ли он уже на такой смертельной грани истощения, что рука не держит перо. А в свидании с сыном ей отказывают.

Судьба Владимира Буковского, даже среди многих трагических судеб, даже среди судеб наших близких друзей, — ранит нас особенно больно. Мы оба не успели познакомиться с Буковским: то короткое время, что он пробыл на воле между выходом из лагеря в 1970 и новым арестом в 1971, совпало с нашим заключением. И тем не менее, он для нас и друг, и больше чем друг. Он спас нас от бессрочной психиатрической пытки.

За это короткое время он написал свою книгу «Оппозиция — новая психическая болезнь в СССР». За нее он и получил свои двенадцать лет. Но именно после этой книги люди на Западе, которые до тех пор только слышали об отдельных случаях психиатрических преследований в СССР, осознали их как систему. Именно после этой книги советским психиатрам пришлось выдерживать атаки своих западных коллег и — волей-неволей — смягчать и затушевывать размах психиатрических политических преследований.

Выход книги Буковского вызвал активную кампанию западной общественности, прессы, радио, наконец — психиатров. И власти стали гораздо реже

признавать неменяемыми хотя бы тех политзаключенных, чьи дела могли бы приобрести большую огласку. Тогда же, в первые годы после выхода книги Буковского, из психиатрических тюрем было освобождено гораздо больше политзаключенных, чем обычно.

В то же самое время были освобождены и мы: Наталья Горбаневская — в феврале 1972, Виктор Файнберг — в ноябре 1973. Мы не просто одни из многих в этой волне освобождений, о каждом из которых узнавал Запад и каждое из которых должно было символизировать гуманность кагебистской психиатрии. Оба наши случая были среди тех шести, документация по которым собрана в книге Владимира Буковского. Привлекая внимание общественности к системе психиатрических преследований в Советском Союзе, Буковский привлек внимание и непосредственно к нашей личной судьбе. Благодаря ему мы вышли из психиатрических застенков. Благодаря ему мы здесь, на свободе, на Западе, в безопасности. Благодаря ему — который сейчас, может быть в ту минуту, когда пишутся эти слова, умирает.

Наш долг перед Владимиром Буковским, наша любовь к нему заставляет нас, уже почти в полном отчаянии, обратиться ко всем — выдающимся и рядовым — людям свободного мира. Если Буковский еще жив, вы можете помочь спасти его. Голос каждого из вас может быть услышан властями Советского Союза. Ведь был же услышан голос самого Буковского, который не размышлял: «Я мал, я слаб, что я могу один?», а поспешил на помощь и за чужую свободу отдал собственную свободу, здоровье и — остается только надеяться, что не жизнь.

Наталья Горбаневская, Виктор Файнберг

(участники демонстрации на Красной площади 25.8.68 против советского вторжения в Чехословакию)

Владимир М а к с и м о в

КОВЧЕГ ДЛЯ НЕЗВАННЫХ

(Из романа)

*«Ибо много званых, а мало избранных»
Мф. 22:14*

Глава первая

1

Сквозь явь, сквозь сон, сквозь завесу ночи, через время времен и еще полвремени, раздвигая тьму тем и дни дней, струятся, стелются, ниспадают над грешной землей два голоса:

- Ты опять был там?
- Был.
- И опять явился просить за них?
- Да.
- Тебе не надоело?
- Нет.
- Но они же вновь предали тебя и проклинали самое твое имя!
- Это не имеет значения.
- Ты неисправим.
- Я твоего роду.
- Чего же ты просишь на этот раз?
- Все того же.
- Они давно забыли себя, им плевать на все, кроме своей ненасытной плоти, и они уже не дойдут.
- Дойдут. Слепую, но дойдут, только ты помоги им, в последний раз помоги.
- Пусть будет по-твоему, но больше не приходи с этим...

И звездная тишь вновь смыкается над всей земной твердью, над Россией, над древней Сычевкой, что под самой Тулой.

2

Впрочем, деревней она считалась лишь по названию. На сорок без малого дворов крестьянством здесь было занято от силы пять-шесть, да и то вполне. Хозяйское оскудение это началось еще в конце минувшего века, когда, волею судеб, через уезд пролегла первая ветка Сызрано-Вяземской железной дороги и окрестная беднота потянулась туда за веселой жизнью, за легкой копеей. А потом пошло, поехало, загудело под гору: Пятый Год, Столыпинские Посулы, Первая Мировая, Лихая Гражданская и Три Великих Голодухи с Последней Войной в придачу лютой прополкой прошли по Сычевке, окончательно лишив ее черной земляной основы.

Немногие выживали в этих смертных передрягах, а те, кто все-таки выживал, плодил вокруг себя полое племя, которое с нищего своего малолетства приучалось более к суме и краже, чем к мужицкой тяготе или сельскому ремеслу. Оттого уже в наше время Сычевка и слыла знаменитой лишь тем, что дала округе и человечеству трех матерых, но забитых насмерть конокрадов, двух милиционеров уездного профиля и одного без пяти минут Народного Комиссара, канувшего где-то на долгом этапе между Владивостоком и бухтой Нагаева.

Суетливо шумная эпоха все плотнее обступала деревню отхожими промыслами: по всему горизонту выпростались из-под земли голубые пирамиды шахтных терриконов, среди ближних буераков замаячил тесовый ажур буровых, дохнуло жженой глиной с возникшего, будто по шучьему велению, над запрудой кирпичного завода, да и старая дорога к станционному

царству стала еще утоптаннее и шире. Народ бежал земли, как мора, стихийной беды, Божьего наказания. Земля сделалась обузой для человека, его несчастьем и проклятием. Земля только обязывала, не давая взамен ничего, кроме забот, налогов и каждодневного страха. Человек тяготился ею и скучал.

В конце концов из четырех десятков хозяев около земли осталось не более пяти, из которых один был кузнецом, другой пасечником, а об остальных не приходилось и говорить: солдатские вдовы с выводком собственных и прибранных ребятишек. Все они числились за соседним колхозом в Кондрове, где составляли особую Сычевскую бригаду, от которой, впрочем, пользы было, как от дождя в прошлогоднее лето.

В гибельной кутерьме смутного существования деревня даже не заметила, как в один из паводков шальная вода, взломав запруды, смыла с лица поверхности ее тихое кладбище (молодые сычевцы умирали в те поры на стороне, а стариков или данников случившейся в одночасье Первой Голодухи хоронили прямо на огородах), а когда, наконец, пришла в себя, то не обомлела, не опечалилась, а покорно взялась возить своих покойников за пять верст, на погост в Свиридово. Вместе с тягой к земле она теряла и память о самой себе.

Единственной приметой крестьянства, звеном, связывающим с прошлым, знаком былой принадлежности служила здесь только всякая бессловесная живность: куры, гуси, утки, поросята, реже — рогатый скот. Ненадежная жизнь пока заставляла сычевцев цепляться за это вынужденное в хозяйстве подспорье. Но присутствие этой извечной живности в зыбком, ставшем случайным быту сообщало окружающему тлену лишь еще большую пронзительность.

К нашим дням утлые лодчонки ее крытых соломой и толем пятистенников плыли без руля и без ветрил по мутным водам российского безвременья, не

вспоминая о прошлом и не загадывая вперед, вне берегов и надежды, с пьяной поволокой в глазах и с ожесточением в сердце, и никто бы в ней, ни один человек, ни одно живое существо не смогли бы ответить сейчас:

Куда и зачем?

3

— Трогай. — Подсаживаясь в телегу, отец даже не повернул головы в сторону избы, лишь повел слевающимся бельмом куда-то вверх сына. — Чего расусоливать-то. Глаза б мои не глядели!

Федор чуял, догадывался, что першит у папаньки за пазухой, только виду подать не хочет, самохинский фасон держит, потачки себе не дает, и оттого это краткое прощание с родным домом показалось ему еще горше. «Сидеть бы нам здесь, никуда не двигаться, — внезапно ожесточаясь, тронул он с места, — и куда только нас несет!»

Всю жизнь, сколько Федор помнил себя, он рвался отсюда куда глаза глядят, лишь бы прочь из этой тмутаракани, этой кричащей скудости и беспробудно матерного пьянства. Именно поэтому бросил когда-то школу и ушел в ремесленное училище, потом добровольно подался на фронт, но куда бы ни забрасывала его судьба, он неизменно возвращался туда, к этому шемящему в своей зябкости простору, к запахам прелой соломы и навоза на снегу, к печному дыму по утрам. Долгими ночами на чужбине снилась ему косьба над желтой водой сычевской речонки, скромные посиделки за околицей, бесконечные зимние вечера на теплой печи, и, просыпаясь среди тьмы, он исходил одновременно горьким и сладостным томлением.

И теперь, подаваясь в дальние края, к черту на куличики, на Курилы, до которых и расстояния невозможно казалось вообразить, Федор уверен был,

что пройдет не так много времени и его опять потянет сюда, и он, проклиная тот день, в который родился, все же вернется.

Решение вновь попытать счастья на стороне пришло к нему сразу, едва он прочитал объявление о вербовке. Как всегда, «Оргнабор» сулил золотые горы впоследствии, а к посулам присовокуплял увесистые подъемные. К тому времени он только что демобилизовался и долго ходил без дела, подыскивая место поосновательнее и вернее. На фронте Федор и шоферил, и на радиста выучился, а потому дешево ему продаваться не светило.

Вербовщик, вскользь просмотрев его бумаги, даже вопросов не задавал, кивнул только:

— Давай на медкомиссию и — оформляйся...

Поднялись всей семьей: отца, мать и престарелую бабушку ему в порядке исключения (уж больно, видно, вербовщику специалист показался) оформили как иждивенцев. Мать было заартачилась, куда, мол, нас понесет от своего дома да от скудного, но постоянного куска, но скорый на расправу отец быстро урезонил ее, а бабушке было все равно — лежать или двигаться, даже вроде и повеселела от предстоящей дороги, и они, наконец, собрались.

Их провожала слякотная весна, все в ней теряло сколько-нибудь четкие очертания, все тонуло в подернутой хрупким ледком промозглости, и оттого расставание было особенно муторным. В этой морозящей слякоти даже телега уже казалась лишь лодкой, плывущей в самую неизвестность.

На повороте к Узловску Федор не выдержал, обернулся и вдруг почувствовал, что задыхается: сердце его, казалось, подкатило к самому горлу, и наподобие раскаленного угля, выжигает его изнутри: «Будь она проклята, эта жизнь!»

В Узловске Федор сдал взятую напрокат лошадь в коммунхоз, устроил стариков на постой и подался

в первую попавшуюся забегаловку, где в компании местных алкашей набрался до зеленых чертиков. В светлые промежутки он изливался случайному собутыльнику из инвалидов последнего разбора, за даровую выпивку услужливо поддакивавшему ему:

— Вот ты, я вижу, тоже воевал... Мог бы, значит, как пострадавший герой войны выбрать себе для жизни любую точку страны... Хоть Ленинград, а хоть и Сочи... Так я говорю?

— Само собой...

— А почему вернулся?

Угощение Федора делало инвалида догадливым:

— Так ведь родина, как-никак. Правду, видно, в народе говорят: не нужна твоя хваленка, ты отдай мою хуленку.

— Вот то-то и оно... А меня леший крутит по миру, как, извини, дерьмо в проруби, или навроде перекасти... Хлипкая душа в человеке нынче пошла, безо всякой привязи, хоть вместо киселя вычерпывай... Если я здесь вырос, сколько похоронил, сколько на крестинах выпил, чего это меня на Курилы манит, вот что ты мне скажи, человек хороший?

«Человек хороший» был, видно, готов поддакивать ему до бесконечности, лишь бы выпить:

— Это ты, парень, в точку, это так, как в воду глядишь, с своей головой тебе бы на верхи, не меньше.

— Верхи — не верхи, — Федор все больше проникался к собеседнику, — а три специальности имею, на фронтах ходил не за последнего. Шесть блях наработал и все не ниже как «За отвагу».

— Орла по полету видно, — не унимался в своем рвении инвалид, и кроличьи глаза его при этом обволакивались надмирным блеском неистребимой питейной жажды, — такие люди нынче не валяются...

Разговор в таком духе продолжался до самого закрытия, и к тому времени компания вокруг их стойки разрослась до размеров небольшой полуроты, где

каждый готов был глядеть в рот своего благодетеля, хоть до третьих петухов, не забывая при этом заказывать себе за его счет очередную выпивку, причем с закусью. Инвалид незаметно испарился, где-то посредине Федорова рассказа о детстве и юности, а новые слушатели уже внимали его фронтовой эпопее:

— Комбат grit мне: надо, мол, Федя, надо. А я ему: надо, мол, значит надо, заделаем в лучшем виде, на меня, мол, как на каменную стену. Ну и двинули мы втроем, два верных кореша у меня были, водой не разольешь, в огонь и воду, куда хошь...

Восторженный шепот вокруг нес и нес Федора и никакая сила в мире, кроме милиции, уже не могла остановить его.

Потом все перемешалось: лица, люди, разговоры. Все плыло вокруг, и он сам плыл куда-то, так и не заметив даже, каким образом в конце концов оказался на улице. Морозная ночь ранней весны несколько протрезвила Федора. Он медленно ступал безмолвным, почти без огонька городом, и душа его, постепенно стряхивая хмель, начинала обретать сознание, а с ним и окружающий мир. Он вдруг почувствовал потаенную теплоту домов за заборами, ощутил звонкий хруст слабого ледка под сапогами, увидел звездное небо над собой: земля показалась ему огромным, плывущим сквозь ночь кораблем куда-то к еще неведомым ей самой берегам. И в него хлынул неведомый дотоле восторг: «Господи, братцы, нам бы только жить да жить, в такой красоте, а мы весь век одно дело — глотки друг дружке рвем!»

И была Ночь, и был Человек в ней, и был с ними Тот, Кто берег их для Своего Дня.

В Москве их теплушку до формирования общего эшелона загнали на товарную станцию Митьково.

Станция была тесно зажата между двумя кварталами старой городской застройки. С одной стороны вытягивался пивзавод и несколько коробок рабочих домов, с другой — тихая, вся в тополях улица: деревянные особняки вперемешку с добротными каменными капиталками. Эту улицу Федор знал хорошо, здесь жили его дальние родственники — Самсоновы. С их хозяином Алексеем Михалычем он вместе мобилизовался и в одном эшелоне уезжал на фронт. Мужик тот был серьезный, на войну шел после колымского семерика, который отбывал за связь с троцкизмом. Погиб Самсонов по дороге, на глазах у Федора, и оттого парня никогда не покидало чувство вины перед родственниками: вроде он как бы выжил за счет земляка, а потому, бывая в столице, к ним не заглядывал. Жили они, по слухам, в крайней нужде, перебиваясь с хлеба на воду. После Алексея Михалыча осталось двое, и жена его Федосья, грамотная неумеха из узловских фасонниц, совсем погибла бы, если бы не осталась при ней самсоновская сестра Мария, взятая в лучшие для семьи поры в няньки из деревни. На ней-то теперь и держался дом, коли можно назвать домом почти голые пятнадцать метров в исходившей пьяным криком коммуналке.

Но теперь что-то толкнуло Федора, что-то заставило его, он и сам еще толком не смог объяснить себе, что именно, пойти туда, на эту тихую улицу под тополями, в неказистый двор между двух домов, в темный и грязный коридор крикливой коробки и постучаться в обшарпанную дверь дальней родни.

Дверь ему открыла рыхлая, видно не старая еще, но только выглядевшая старой женщина и, без выражения поглядев на него тусклыми и как бы отсыревшими глазами, так же без выражения спросила:

— Вы к кому?

— Да к вам, Федосья Савельевна, здравствуйте.
— И предупреждая уже готовый появиться на ее вялом

лице испуг, успокоил: — Родственник ваш, из Сычевки. Самохина сын — Федор.

И потому, как сразу ожило, потеплело ее лицо, Федор понял, сколько же нужно было вытерпеть этой женщине, которой по сути он и родней-то не приходился, а так, вроде седьмой водой на киселе, а то и жиже того, чтобы обрадоваться даже такому гостю.

— Заходите, заходите, — засуетилась она, — а то нас и родня-то забыла... Правда, время сейчас такое, не разъездишься больно... Хоть чайку попьем. Надолго к нам?

— Да нет, мы тут проездом. По вербовке на Курилы собрались. Здесь у вас на станции формируемся.

Федосья заметалась, замельтешила: хлопнула по затылку глазастого пацана своего, тихо, мол, хваталась то за чайник, то за початую чекушку, то надумала картошку чистить, и по этой ее разбросанности было видно, что даже двенадцать лет без мужа ничему путевому ее не научили. «Эх вы, городские, — с горечью жалея ее, посетовал Федор, — завсегда-то вы так!»

— Жалко, Маруся сегодня в первой смене, вот обрадовалась бы! — Неумело хлопоча, она все говорила, говорила, словно заговаривала какую-то известную только ей тяжелую думу. — Одна она у меня помощница, без нее, как без рук. Хорошо еще вот младшую удалось в ясли устроить, а то и с ней не потянули бы. А этот, — она снисходительно кивнула в сторону мальчишки, с затаенным ожиданием глядевшего на гостя с медалями и бляхами в две груди, — совсем от рук отбилсЯ, никакого сладу с ним нет. Был бы отец, научил бы уму-разуму...

Только в эту минуту до Федора дошло, докатилось, наконец, и коротко перехватило ему дыхание: ведь она и говорила-то беспрерывно, и металась попусту, что ждала от него хоть какой-то вести о своем муже, в надежде чуда и душевного спасения!

Но что мог он ей рассказать! Как еще на полдороге, где-то под Сухиничами, в чистом поле поливали их «мессера» разрывными, и командиры первыми кинулись врассыпную, а за ними следом хлынуло никем не управляемое и необученное воинство первого призыва? Или о том, как изо всех не потерял головы только один ее муж и скомандовал рассыпаться, стягиваясь постепенно к ближнему лесу? Или еще о том, как тот, уходя последним, все осматривался, чтобы никто не отстал, и как сбрил его в последнем своем заходе «мессер» уже на самой опушке?

Федор и схоронил его сам с сычевскими корешами, и вроде бы даже могилу запомнил, но столько всякого куролесило потом по Смоленщине да и его самого пометало, поломало в этой четырехлетней передрыге, что и думать было нечего разыскать ее — эту скорую могилу.

Нет, Федор не смог бы, не посмел бы ей о том рассказать. Вместо этого он только молвил:

— Из таких хлопотных люди вырастают, Федось Савельна. — И сразу же заспешил, заторопился, боясь, что все-таки не выдержит, проговорится ненароком. — Двину-ка я, Федось Савельна, а то неровен час без меня уедут.

Та что-то поняла, что-то почувствовала: погасла вся, опала, и из блеклых глаз ее медленно изошел последний свет:

— Жалко, конечно... И чаю толком не попили... Но уж раз такое дело... Дорога дальняя...

Поднимаясь, он не выдержал, сунул в зазор стула свернутую вчетверо сотенную, а встав, придвинул его вплотную к столу:

— Прощайте, Федось Савельна, не поминайте лихом.

Она ответила почти беззвучно:

— Что вы, что вы!..

С этим он и вышел. Москва ослепительно рас-

текалась в капли и солнце. Прыгающими нотными значками воробы выклеывали свою нехитрую музыку из спутанной сетки оживающих тополей. Кошки коварно жмурились на свету, в предвкушении легкой добычи. Ребятишки самозабвенно гомонили на тротуарах, кто в «классики», кто — в «расшибалку». Мир плыл в солнечном дыму все так же к своим неведомым берегам. Жизнь продолжалась.

Легкая горечь от встречи с Федосьей Самсоновой еще саднила в Федоре, но в свои двадцать пять он видел столько смертей, да и сам не раз был от нее на такой паутинный волосок, что давняя гибель Алексея Михайловича, которого с тех пор душевно уважал, не могла все же пересилить в нем острого чувства сопричастности со всем, что сейчас буйствовало вокруг него.

Федор шагал, не разбирая луж, с веселой легкостью в своем упругом двадцатипятилетнем теле, радостно уверенный в том, что жить ему отпущено еще долго, что ждет его дальняя и сулящая новизну дорога и что, наконец, он найдет свое в ней место, а затем все же вернется в Сычевку и не с пустыми руками: «Не дрейфь, Федя: или грудь в крестах, или голова в кустах, мы тоже на этом свете не крайние!»

5

Тихон Самохин был мужик, как о нем говорили в деревне, «нёрванный», а попросту — самодур. По самодурству своему и глаз-то повредил: не уступил однажды дороги соседскому бугаю. Жену он держал в страхе Божьем, но даже мать его, старуха тоже с норовом, побаивалась своенравного сынка. Одна у Тихона имелась слабость — сын. То ли оттого, что детей у них больше не было, то ли по всегда присущей жестоким людям умильности, но Федору, еще сызмальства, он прощал все и не только прощал, а даже

поощрял все его наклонности и капризы. И бывают же чудеса: не случилось с малым того, что случается в таких расставках с другими — не опоскудился он в баловстве, не оседлал семейства, вырос любимцем деревни, парнем безотказным и покладистым.

Поэтому теперь, когда Федор показался на пороге теплушки, старик, хмуро подбивавший бабкин валенок бросовой резиной, сразу же осклабил в его сторону:

— Погодка-то нонче, а, Федя, перьвый сорт? — И заговорщицки подмигнул сыну своим единственным глазом. — Гуляешь все, кровя играют?

— Да нет, папаня, к Самсоновой заходил, жене Алексей Михалыча. Небось помнишь Федось Савелевну-то?

И оттого, что сын не сапоги по пивным бил, а, как самостоятельный мужик, проведаль родственников, хоть и дальних да еще из тех, которых Тихон крепко недолюбливал за прошлый форс, но все-таки родственников, старик совсем оттаял и даже проникся к этой самой Федосье известным сочувствием:

— А то как жа! Фасонистая баба была, оно и понятно, папашка машинист, грудь колесом ходил, да и муженек чуть не народным комиссаром заделался, укоротили только маненько, а так ничего, тожеть осанистый был.

— Брось, папаня, шутики-то шутить, — в сердцах огрызнулся Федор. — До точки баба дошла, до полной. Одно богатство два рта, спасибо, Маруська помогает, совсем каюк бы настал.

Старик и тут согласно закивал, мгновенно перестраиваясь на новый лад:

— А я что, Федя, я ничего. Сам сочувствие имею, одной с двумя, без подспорья, спасу нет, как чижало, — но упрямая злость, изъедавшая его, все же прорвалась в нем. — Только Клавке-то Андреевой, так думаю, не легче было, когда ей с ейными детьми, чуть не в одном исподнем те, вроде Лешки Самсонова,

в Сибирю гнали, а добра у ей случилось корова да лошадь, без мужа одна горбатила.

— Твоя правда, Севостьяныч, — откликнулся с верхних нар напротив Николай Овсянников, обычно молчаливый и обстоятельный мужик из соседнего с ними Кондрова. — Одна ли Клавка! А Венька Агуреев? А Семен Лакирев? А Гаврюшкин торбеевский? Небось помнишь, как вязали они его, будто бешенного, и все рукоятью, рукоятью по темени! Особливо один очкарик старался: плюгавенький такой, в чем душа держится, а ярился дак за троих: «Бей их, кричит, кулацкую сволочь!» Такая паскуда, сейчас вспомню — душа горит!

Он вдруг замолк, чувствуя, видно, что сгоряча сказал лишнее. Мужик Овсянников был битый, мятый и много катанный: битый Гражданской, мятый Голодухой коллективизации и катанный потом по этапам за незаконно кошенный лужок в Кондровской рощице. Счастье его — Вторая Война все списала, домой вернулся в орденах до поясного ремня, а то бы не видать ему до могилы не только покоя, но даже этой вот вербовки.

На Курилы Овсянников подался вместе с женой Ангелиной — вечно поджатые губы на безбровом и злом лице — и единственной дочкой, тихой семнадцатилетней беляночкой — Любой, беременной от прохожего молодца и уже на сносях. Как правило, семейство это переговаривалось между собой только шепотом и старалось держаться особняком от остальных, то ли из-за дочери, то ли просто по давней привычке.

Вообще, вагон делился на четыре части, четыре закуска, четыре покуда разделенных и замкнутых мира: по два с каждой стороны и на каждой двое нар — верхние и нижние, с добротной времяяной посредине. Самохины занимали нижнее левое отделение, Овсянниковы — верхнее правое. Они и оказались здесь

единственными чисто деревенскими. Другие две семьи были из Узловска.

Напротив Самохиных размещалась молодая пара. Он — молчаливый, но улыбчивый слесарь локомотивного депо, а она — из станционной бухгалтерии, не в пример мужу: разбитная, бойкая, с кирпично рыжей челкой наискосок ото лба до уха. Она куда-то постоянно бегала, что-то добывала, запасала впрок, не забывая при этом постреливать в сторону Федора бесовским глазом.

Над Самохиными ворошилось многочисленное семейство узловского татарина Алимжана Батыева, конечно же, по кличке «Батый», и там — наверху, с утра до ночи, галдела, плакала и смеялась, тараторила разноголосая кутерьма.

Эта красная коробка на колесах, этот выдавший виды железнодорожный челн должен был стать теперь для всех их домом и крепостью на много дней пути до самого Великого, или, как его еще называют, Тихого океана.

Когда Федор думал об этом, ему становилось одновременно и весело, и тревожно. Война покантовала его по теплушкам и пульманам, кажется, всех типов и состояний, но одно дело — сутки-двое, да еще, чаще всего, в мужской компании, где и ехать-то было сплошное удовольствие, как говорится, и себя покажешь и на людей посмотришь, а другое, когда в каждом углу по семейству, иное еще и с целым выводком. «Вот, елки-палки, кошкин дом, — посмеивался он про себя, — хоть плачь, хоть падай!»

Федор поднялся было покурить на воздух, но едва потянулся к двери, та, словно по-шучьему велению, распахнулась перед ним, и в ее проеме обозначилось скуластое, в сетке продубленных морщин лицо — золотозубый рот в улыбке от ушей до ушей:

— Привет, работяги! Как живете-можете?

— Живем ничего, — за всех ответил Федор:

он почему-то сразу понравился Федору, этот «фиксатый» дядя, — можем плохо.

— Ты, я вижу, весельчак, — еще шире осклабился тот, — хочешь, на всю дорогу массовиком-затейником оформлю?

— А ты кто такой? — Федор не любил, когда его осаживали.

— Не по уставу с начальством разговариваешь, солдат, — тот продолжал все так же улыбаться, но в сивых глазах его уже определился холодок, — но коли и вправду интересуешься, то я начальник эшелона Мозговой, — и чуть подумав, — Павел Иванович.

Гость ловко, в два движения (видно, это не впервой) оказался на пороге, легонько, словно неодушевленный предмет, отодвинул Федора в сторону, вышел на середину теплушки, по-хозяйски огляделся и уверенно произнес:

— Внимание, слушай мою команду! — Он и вправду стоял посреди вагона, как на капитанском мостике. — Беспробудное пьянство запрещаю категорически, драки — тоже, отлучаться на стоянках только в пределах станций, шашни — в меру. За нарушение — немедленно списываю на берег. Вопросы есть?

Во всей его немного грузноватой фигуре, которую плотно облегал потертый шинельный полупальто с боковыми карманами, в повадке держаться, в движениях — коротких и властных — чувствовался человек, знающий цену как себе, так и прожитой жизни.

Мужики инстинктивно, нутром сразу почуяли: хозяин! И выражая это общее настроение, Алимжан бойко откликнулся сверху:

— Есть, товарищ начальник!

Тот снова золотозубо заулыбался, сдвинул на затылок полувоенную фуражку и подытожил:

— Ну вот и добре. Берите ноги в руки, сейчас паровоз подцепят и двинемся. — И его мгновенно смело вместе с возгласом: — Так держать!

Первым нарушил молчание Овсянников:

— Этот не попустит, мужик сурьезный, видать, не в первый раз на этом деле.

— Мы таких говорков, — огрызнулся раздосадованный своим конфузом Федор, — сшибали хреном с бугорков.

— Без хрена, однако, останешься, Федя, — подзадорил сына Тихон, — не мужик — дуб.

— Лбы не расшибите, кланяючись, — Федор огрызнулся больше из самолюбия: в общем-то, Мозговой и ему пришлось по душе. — Мало на вашем хребте покатались.

ЗаклЮчила Раиса Ельцова, определив за всех коротко и обнадеживающе:

— Подпоясывайся, мужики, у этого не забалуешься!

И, словно утвердительно вторя ей, оттуда, из-за чуть приоткрытой двери, потянулся протяжный гудок паровоза, вагон дрогнул и, медленно набирая скорость, поплыл в открытое ему впереди пространство.

Покуривая в дверной просвет, Федор вглядывался в утекающий окрест. С тех пор, как он впервые, в ранней юности, уезжал из дома, в нем исподволь, будто почвенная вода сквозь песок, постепенно выявлялось, пока не заполнило его целиком, чувство окончательной утраты всего, что проносилось сейчас мимо него: каждого дома, дерева, стрелочника возле переезда, самого переезда, даже надвигающихся сквозь сосны синих сумерек над пригородными дачками: «Неужто насовсем, — падало и обмирало в нем сердце, — неужто наглухо?»

Чем дальше, тем местность становилась приземистей и лесистой. Казалось бы, та же Средняя полоса в вечерней дымке поздней весны, но что-то, едва заметно, вскользь, легким намеком уже менялось вокруг, будто по запыленному стеклу внезапно провели мокрой тряпкой: даль заострилась и посвежела.

Где было тогда догадаться Федору, что это их поезд стремительно поворачивал на Восток!

3 августа 1976 года Сенат Конгресса США принял резолюцию, подтверждающую, что Соединенные Штаты по-прежнему не признают включения Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР, произведенного в 1940 г. путем насильственного захвата. Резолюция опровергает советские попытки истолкования Заключительного акта Совещания в Хельсинки как документа, утверждающего право СССР на территорию этих стран. Резолюция напоминает, что президент Джеральд Форд перед поездкой в Хельсинки еще раз заявил, что подпись США под Заключительным актом не будет означать признания Соединенными Штатами насильственного присоединения прибалтийских государств к Советскому Союзу.

Резолюция была принята единогласно.

ЧЕШСКИЙ ХЭППЕНИНГ

(Продолжение)

Глава XIV

Воспоминания о Рождестве в Барахолкове генерал-полковника М. С. Багратиона*

Из Темешвара, где нам тоже было не так плохо, меня отозвали, конечно, из-за интриг Эриха Классенбрудера. Это был восточногерманский консул, обидчивый злой старик не меньше ста лет, он настолько впал в детство, что принимал посетителей верхом на детской лошадке; и не будь при нем заботливого дипломатического персонала, посылал бы свои депеши прямехонько императору Вильгельму. Без сомнения, он завидовал моей популярности у местного населения и, главное, моим заслугам на поприще материнства в Банате, вот меня оттуда и выдворили, хотя перед этим ему пришлось с кислой рожей вручить мне Почетную грамоту и Золотой значок повивального деда 1-й степени.

Мне самому было любопытно, куда меня переведут после таких фантастических успехов у любого туземного населения, где бы я ни служил. Я сохранял оптимизм, хотя Марфе и снились странные сны. Снилось ей, будто стирает она мои прелые кальсоны на

См. «КОНТИНЕНТ», №№ 6, 7, 8.

* «Mémoires d'un vieux soldat», SAMIZDAT du Parti et du Gouvernement. Paris — Alma-Ata, 1987. «Воспоминания старого солдата», САМИЗДАТ партии и правительства, Париж — Алма-Ата, 1987. Цитируется с любезного согласия автора.

берегу Амура, а с того берега бесстыдно глазают пограничники нацменьшинства Чуэй-Хуэй, известного своей кошмарной плодовитостью. Сон был настолько ярок, что Марфа Никифоровна опасалась, не будет ли последствий.

Заглянули мы все-таки в подробный сонник, напечатанный еще во времена Первой Думы, и прочли успокоительное объяснение. Говорилось там:

«Кальсоны мужские длинные грязные в Амуре стирати себя видети — берегися половых болезней».

Это нас здорово успокоило: у меня такое и в расчет не входило; у моей жены с ее ханжеским воспитанием было совершенно невероятно; а уж денщик мой Василь Цибуляк, думаю, не мог такого подхватить и в Сенегале, где это чуть ли не гражданская повинность. Так мы и ждали, куда переселяться; наконец пришел приказ: в Барахолково, принять командование 117 саперным полком — тамошним дружественным гарнизоном!

Хоть я в то время уже дорос до полковника, но на Западе еще не бывал и слегка волновался. Из печати и радио мы многое знали об ужасном положении трудящихся на Западе, о длинных очередях за буханкой низкокачественного хлеба, о детях, массово гибнущих от цинги, и о грабителях, обворовывающих среди бела дня госбанки и убивающих при встрече на улице профсоюзных деятелей. Но, сказал я себе, долг есть долг, ничего не поделаешь, не послали на Амур — послали в Барахолково, та же надбавка к зарплате за фронттовую полосу.

Моя жена Марфа все же решила заглянуть домой, попрощаться на всякий случай с родней, поклониться иконам и взять кое-какие припасы. И правда, ей — после немалых трудов — удалось раздобыть пять пудов горчичной муки, два кило маргарина и мешок подсолнуховых семечек. Еще она рассчитывала разжиться пшеном, но, кроме чайников и вождей, кото-

рые у нас уже были, ничего достать не удавалось. «Все-таки лучше, чем ничего», — говорила она.

А я, между тем, с верным денщиком Василием, сел в поезд и отправился на новое поприще. Уже дорогой я узнал от случайного попутчика, дирижера барабанного оркестра с глушилки в Придунайских Бискупцах, что мы, собственно, напрасно опасаемся: хоть Барахолково и на Западе, а все еще в нашей империи. Это меня подбодрило, и я дружески пнул Цибуляка. Я всегда относился к своим денщикам по-товарищески.

Ехал я почти два дня из-за ужасных снегопадов в Венгрии, к тому же, на каком-то полустанке у нас украли тендер с углем, и пришлось ждать нового. Тем временем погас, а потом и замерз тепловоз, и до самой границы мы толкали поезд вручную, да еще боялись, как бы местные крестьяне не разобрали вагоны на запчасти для комбайнов. И все время шел снег — ну, прямо стихийное бедствие!

Когда наконец прицепили действующий тепловоз и новый тендер, мы с Василием уже были, как осенние мухи, и остаток пути почти не просыпались. И проснулся я почти перед самым Барахолковым.

Как только поезд остановился, по вокзалу разнеслась величественная, знакомая, походная мелодия — вероятно, она служила местным гимном. Спускаясь по ступенькам, я заметил, что мне уже постелен красный ковер. Какое трогательное внимание!

Меня окружило множество людей: офицеры моего нового штаба, за ними и местные национальные деятели с разбегу бросались мне навстречу.

Я хотел бы — прежде чем перейду к изложению событий — отметить, что именно в Барахолкове я вдруг осознал, как похожи руководящие деятели во всей нашей империи. Они почти одинаково одеты, одинаково хорошо питаются и выглядят, одинаково оптимистичны, одинаково хорошо выбриты, одинаково радостно улыбаются нашему брату, одинаковые

объятия, одинаковые поцелуи, только наречия чуть-чуть отличаются, а то бы их не удалось отличить друг от друга! Одни и те же черты в физиономиях — от Улан-Батора и до Миловиц*! Виднее всего это у молодых вождей: статные, хорошо сохранившиеся пятидесятилетние мужчины, однако, игривые и шаловливые, в руке — шарик, на голове — шапочка с помпоном, часто и на самокате, просто неповторимые. Вроде как бы и не стареют, МОЛОДЦЫ!

И вообще, раз уж мы заговорили на общие темы, я сразу скажу, что страхи насчет провианта и снабжения, тем более — насчет общественного порядка, были совершенно напрасны. Город оказался абсолютно спокойным, мясо и молоко можно было достать в любой день недели. А если кто-нибудь из моих ребят хотел купить в магазине целую полку ботинок, то, пожалуйста, — продавали без разговоров, если же выходило нечетное количество, один ботинок добавляли бесплатно.

И стрельбы тоже не бывало, не говорю уж — по профсоюзным деятелям! Просто упорядоченный, спокойный город; и казарма как гнездышко, даже церковь напротив; только рождаемость ниже, чем в Банате, но об этом — позже.

Когда я приехал, случились два странных происшествия. Сначала из соседнего вагона вынесли восхитительно беременную труженицу, что я сразу принял как знак внимания по отношению ко мне. Уже и здесь знают о моем шефстве над материнством!

Я принял эту честь и взял на себя руководство спасательными работами. На момент мое внимание

* Миловице — городок в 50 км на северо-восток от Праги. Вокруг него — обширная запретная зона, в которой располагается штаб-квартира Центральной группы советских войск, оккупирующих Чехословакию. Нельзя не вспомнить при этом, что гитлеровские войска, оккупировавшие Чехословакию в годы второй мировой войны, носили название «Группа-Центр». (Прим. пер.)

отвлекла другая трогательная картина: какой-то низенький милиционер держал на голове большой портрет Карла Маркса. Долго не продержал, упал, и, глядь — за Марксом были спрятаны часы. Большие, железные часы, Бог знает, как этот парнишка вообще сумел удержать их головой. Хотя он и свалился под их весом, а все-таки это был рекорд; и не будь я по горло занят несчастной беременной, то и похлопал бы ему. Он этого стоил.

Но я, не задерживаясь, призвал начальника местной милиции и с привычной прямоотой спросил его:

— Больница у вас есть?

— Есть! — ответил он твердо, щелкнул каблуками и подмигнул. Не знаю, что значило это подмигивание, но больница действительно имелась.

У меня отлегло от сердца: все-таки принимать роды в неудобной вокзальной обстановке, на глазах у любопытных... Да еще я не знал, в какой чемодан Василь запаковал мои родильные принадлежности.

У вокзала стояла длинная автоколонна, впереди — вместительный фронтонный вездеход, на таком я уже в Банате и других местах отвез в родильные дома и больницы тысячи рожениц. Опытный Василь быстро расстелил в кузове брезент и откинул задний борт, чтобы легче впихнуть беременную. К сожалению, у нас не было носилок, о которых кто-то сказал на ломаном сербскохорватском:

— Украли их цыгане.

Увы, повсюду встречаешься с прискорбной недоброжелательностью к нацменьшинствам!

Ну, мы, долго не раздумывая, схватили с штабными офицерами стонущую женщину за руки и за ноги, причем я, само собой, следил, чтобы она оставалась животом вверх, так как было скользко, не дай Бог упасть на пути к машине. Но все обошлось.

Так как наша пациентка все время что-то говорила, я попросил перевести.

— Она говорит: «Иисус Мария», — исполнил кто-то поспешно мою просьбу.

Всё еще верующая, подумал я. До сих пор не избавилась от религиозного дурмана — вроде моей Марфы. Ну, что же, сказал я себе, ее сын уже избавится: к нему попа просто не пустят. Разве что это будет дочка — раздумывал я дальше — у этих, вследствие эмансипации, всё идет как-то медленнее.

Я уселся возле водителя, который, к счастью, хорошо знал город, и мы выехали. Снег поскрипывал под колесами. Все поехали за мною: тридцать восемь машин, военных и гражданских. Мы пробивали дорогу в глубоком снегу. Это была могучая колонна, одна из самых многочисленных, с которыми я за последние годы сопровождал рожениц в роддома. Больше всех, насколько помню, была в Сегедине: семьдесят девять машин, и большинство — амфибии. И когда мы в Сегедине добрались до роддома, несчастная женщина заявила, что в таких условиях требует аборта. Что бы уж там с ней ни сделали, надеюсь, это пошло ей на пользу.

Ехали мы медленно, снегу навалило действительно много. На железнодорожном переезде подняли прямо перед нами шлагбаум — я уже собирался протаранить его. После этого препятствия дорога к больнице была свободна.

Роженицу мы стремительно выволокли и затащили в больницу, где ее приняли, разинув рты от удивления. Здесь, наверно, до сих пор бедненькие брюхатенькие ходят рожать пешком. Ну, ничего, — сказал я себе, — мы тут наведем порядок!

Назавтра я узнал по телефону, что эта роженица, спасенная нами в решающий момент, в разгар метели, в бестолочи растерянных железнодорожников, — ухитрилась за ночь родить шестерых детей. Это привело меня в восторг. Лучшего начала службы на новом месте я не мог бы и желать.

Я еще несколько раз звонил в больницу и послал туда Василя с букетом. В штабной роте по моему приказу тут же началось обучение приемам первой помощи при родах.

Когда мы, в первый вечер, вернувшись из больницы, праздновали наконец мое прибытие, я узнал, что именно в этот день туземцы справляют ёлку. У них, видно, еще был старый календарь. Я с удовольствием изложил и разъяснил им грегорианскую реформу.

За окном шел чудесный снег. И я сказал себе: чешская ёлка, но метель, как у нас!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава XV

Опровержение сеньоры Софии Сальватини

Энрико считает, что мне вообще не стоит высказываться об этих отвратительных вещах. Он — сицилиец, и просто, при первом случае, заедет в Баракхолково и обрежет этого клеветника Блатника, то есть зарежет, — простите, пожалуйста, я уже столько лет в Палермо, и поговорить по-чешски не с кем.

Но я не хочу, чтобы всё это вышло в свет без моего опровержения: подумают, что раз я молчу, значит всё сказанное обо мне — правда. Ну, хотя бы туалет в княжеской вилле — не я же его оборудовала, он был уже при покойнице, я только развесила по стенам репродукции русских классиков: ведь у князя был запор, и он высиживал в уборной иногда несколько дней подряд — даже еду ему туда носили. Вот какие дела, чтобы вы знали, и такая же ложь — почти всё, что обо мне наговорили.

Будто я из Остравы, из очень сознательной семьи,

и будто меня крестили Зинаидой из-за любви к князю Игорю? Где он такое выкопал?

Я из Любезниц под Прагой, да притом незаконная. У моего родителя, господина Червеного, тогда народилось одиннадцать деток сразу, ну и женщины, всё больше замужние, которых он объезжал сначала на велосипеде, а потом — на чахоточном мопеде «Пионер», пожалели беднягу и не подали в суд на признание отцовства. Ведь они бы его совершенно разорили, он же в то время имел еще четырех детей со своей собственной женой, хоть и работал зоотехником в сельскохозяйственном кооперативе. А с той телефонисткой у него никакой интимной связи не было — она опозорила его по громкоговорителю на всю деревню только из мести: ей-то самой не удалось от него забеременеть, как тем семи труженицам, что родили потом одиннадцать детей.

Не стану, в конце концов, чересчур распространяться о родителе, хоть я и похожа на него, как две капли воды, потому что он был ужасный красавец; скажу только, что при таком количестве незаконно-рожденных в одном районе ему надо было быть очень осторожным, чтобы по недосмотру не произошло кровосмешательства, но неудивительно, если и это случалось: у папочки никогда не было солидного транспорта, а мопед отличался ненадежностью: то запчастей нет, то шин, а зимой вообще не заведешь из-за плохого сцепления. Но зато папочка купил его дешево, за 250 крон в месяц, в рассрочку на два месяца, да еще на второй месяц с него потребовали пять процентов, а уж сколько он с этим мопедом настрадался — и не расскажешь.

И это мы — очень сознательная семья?

Как у него язык не отвалился, у этого Блатника?

Неужто у зоотехника господина Червеного было время на такую штуку, как сознательность, при тогдашнем состоянии дорог в районе Прага-Север? Да он

рад-радешенек был, что справляется и без всякой сознательности!

И так почти всё, что тут Блатник наболтал.

Зато — кто, вы думаете, призывал на помощь, мол, выкидывают труп, когда Блатник с Ружичкой выбрасывали в Эльбу Гинденбурга? Это был вовсе не рыбак, милый господин, это был мой папочка Червёный, он там чинил впотьмах шину у своего мопеда, потому что мой папочка рыбу не ловил и сознательностью не отличался — пусть господин Блатник проверит, прежде чем такое сболтнуть, включая тот труп и как он там плавал, — еще счастье, что папочка давно переселился в Новую Зеландию, иначе к Блатнику приехал бы еще кое-кто, а не только Энрико, обрезать его, то есть — зарезать, простите оговорки, я так давно в Италии, а в Палермо по-чешски говорит лишь господин Зильберштейн из Быстржице под Гостынем, но он точильщик да еще ужасный антисемит, и лучше к нему не ходить, так как мой муж — хозяин фабрики кошерных консервов для американской мафии и все время мне говорит: не трепись с этим Зильберштейном, он мешуге и еще испортит нам гешефт.

Ну, а мамочка и дедушка, воспитавшие меня, — их, что ли, попрекать сознательностью? Дедушка до самой пенсии был скромным церковным сторожем в Макотрясах и звали его Батя, а мамочка, поскольку дедушка с бабушкой в браке не состояли, носила фамилию Прейссова, и я, понятно, тоже. Ну и скажите, как это мы могли быть сознательной семьей: дедушка Батя*, бабушка Прейссова* и папочка из Любезниц?

Это меня-то крестили Зинаидой из любви к Распутину? Могу подтвердить свидетельствами о рождении и крещении прямо из Любезниц, что меня окрестили Софией, а никакой не Зинаидой. Это князь начал

* Батя, Прейсс — общеизвестные фамилии крупнейших фабриканта и банкира в довоенной Чехословакии. (*Прим. пер.*)

меня на приемах звать Зиночкой, такая мода была. И звучало лучше, чем если бы он говорил мне: «Сонька, наложь господину генеральному секретарю примерно так с полкила икры, он завтра улетает в Гавану!». Такая же я была Зиночка, как Блатник — скульптор!

Ну, может ли нормальный человек такое выдумать!

Блатник, конечно, никогда не был вполне нормальным, с этой своей лавочкой, набитой Марксами и Энгельсами, так что и лечь почти негде было, а уж когда пристроились, ворвалась эта чокнутая уборщица и облила ему спину керосином — ему, а не мне, этого бы себе такая шлюха не позволила, но Блатнику — лишь бы сочинить, нет ему большего удовольствия, мол, эту его старую клячу звали Мерседес и полила она меня якобы скипидаром. Он тогда уже был такой паралитик, не мог отличить скипидара от керосина, а даму — от бляди, прошу прощения, но иначе не скажешь.

Вам-то, конечно, интереснее, как я заарканила князя. Чтобы он меня заарканил — об этом не могло быть и речи, вы ведь видели ихнюю галерею? Нет уж, знаете, этот — не сын повара Елинека, который никогда бы не произвел на свет такого катастрофического потомка. Он делал в молодости славненьких деток — это по нему видно было даже в старости! Мой же, наоборот, — вылитый старый князь Франтишек-Леопольд, тот, что спился; я его видела на портрете — воплощенное декадентство, нашпигованное инфекционной желтухой. И мой постепенно все больше и больше походил на него, так что даже попросил директора барахолковского музея спрятать портрет на чердак, чтобы это не бросалось в глаза населению.

Встретила я его при несколько необычных обстоятельствах. Однажды к нам в Любезницы по ошибке привезли корейскую делегацию на высшем уровне.

Искали сельскохозяйственный кооператив «Хабры», где ради иностранных делегаций поддерживался образцовый порядок (с помощью заключенных), но эта делегация — вся, вместе с сопровождающими лицами, — уже была под градусом, проскочила Хабры и хлоп — оказалась у нас. Может, добрались бы и дальше, но наш тракторист, доктор Рогличек, как раз развозил свежий навоз, обогнать его не могли и, чтобы уберечь свои носы, поскорей завернули к нам. В деревне, конечно, все перепугались, председателя пришлось везти с полицией из самого Буштеграда, где он читал лекцию на станции искусственного осеменения. Скоренько созвали всё местное руководство, а меня одели под пионерку — вручать хлеб-соль.

Не так-то это было просто. Мне уже почти девятнадцать стукнуло, лифчики я носила второй номер, и жизнь не была для меня загадкой. Пришлось приложить немало усилий, чтобы краснеть, как полагается, — наконец мне это удалось, когда я заметила, что один кореец одет только в ночную рубашку и всё у него, бесовестного, сквозь нее видно, как оно болтается, но потом нам сказали, что это национальный костюм провинции Хумхам.

С ними-то и приехал — как сопровождающий — мой будущий князь. Надрызгался он порядочно, они все уже третий день лакали какое-то зелье, которое настаивали на жень-шене. Этого корня у них столько было, что к утру его начали натирать к сосискам вместо хрена, — и результат не заставил себя ждать. Что тут пошло в Любезницах — не описать, и мой папочка, господин Червеный, прочитав мое письмо в Новой Зеландии, где работал сторожем на маяке, до того расстроился, что его при этом не было, даже забыл фонарь зажечь — из-за него и потопли контрабандисты, которым он всегда посвечивал при разгрузке.

Ну, а я, не будь дура, через месяц напаялила на

себя пионерский костюм и отправилась прямо в Верховную диспетчерскую, искать князя. Как я заявила, к кому пришла, на проходной пошел сильный переполюх.

— Вы что, ему племянница? — спросила кровожадная баба, которая расселась на двух стульях, а за поясом у нее торчал револьвер по крайней мере 49 калибра.

Мне удалось залиться румянцем, и тогда баба пробурчала другой бабе, у которой, правда, задница была поменьше, но револьвер определенно побольше:

— Если бы это не тот импотент, я бы заподозрила какую-нибудь непристойность.

Я упала духом; если это правда, то весь мой план покатился к чёрту.

Все ж таки я к нему попала — наверно, потому, что твердила этим бабам о Любезницах. Видимо, до народной элиты дошли кое-какие слухи. Прежде чем впустить, меня всю обыскали. Обыскивал жандарм в маленькой темной каморке, и очень основательно.

Князь сидел в большем зале и, видимо, обслуживал коммутатор — на обоих столах перед ним рядом стояли телефон за телефоном, и ни для чего другого места не оставалось. Выглядел он точно, как в последний раз, только складки под подбородком как-то обвисли, и вид был такой, что долго он не протянет.

Когда я ему сказала: «влипла я с тобой, толстячок», он прямо захрипел:

— Во что, девушка?

— В положение, бешеный ты мой. Или забыл, что вытворял со мной в Любезницах в Доме культуры?

Казалось, он тут же или хлопнется в обморок, или вовсе загнется. Но это было бы рановато, так что я вытащила запасной пионерский галстук и помахала

у него перед носом. Он немного пришел в себя, предложил мне наконец сесть и спросил:

— Вы хотите, может быть, сказать, девушка, гм, гм,.. что вы и я, мы оба, при участии братской корейской делегации, мы вроде это самое...

В политике он, говорили, собаку съел, но насчет зачатия оказался полный идиот.

Я выжала слезу и запричитала:

— Это видел весь пленум нашей местной диспетчерской. И кореец в ночной рубашке в тот самый момент танцевал вокруг нас казачок.

— Неудивительно, — оживился князь. — Он присматривал за мной. Это никакой не кореец, а мой личный телохранитель Стяжкин. Ему всё время приходится переодеваться.

Но, заметив, что ночная рубашка Стяжкина и его пляски меня не очень-то интересуют, он вернулся к сути дела. Видно было, что и не знает, с чего начать.

— А сколько вам, гм, собственно, лет, девушка? — спросил он.

— Девятнадцать, — сказала я совсем невинно.

— И вы говорите, на это смотрел весь пленум вашей местной диспетчерской?

— Все до одного, — ответила я без колебаний.

Он выглядел удрученно.

— Всему виной этот проклятый жень-шень, — бормотал он вполголоса. — А в Санопсе-то* уверяли, что у меня наследственная импотенция от дядюшки Карла.

Потом он нажал какую-то кнопку, и прямо из стены выскользнул иссохший мужчикна отчетливо зеленого цвета. Князь между тем с трудом встал с кресла, подал мне потную руку, толстую и мягкую, как кусок поролона, и заверил, что не отказывается от

* Санопс — пражский вариант Кремлевской больницы. (Прим. пер.)

ответственности, даже несмотря на худую славу Любезниц. Потом он добавил:

— Господин Бабула поможет вам заполнить анкету и снимет отпечатки пальцев. Потом вы получите денежное пособие и квартиру. Больше ничего не поделаться: я уже женат.

Я артистически упала в обморок.

Когда меня привели в чувство и напоили газировкой, я сказала:

— Если бы я предполагала, дорогуша, что ты женат, никогда бы тебе не уступила, хотя частично ты меня все-таки изнасиловал.

На это князь ответил:

— Если бы я не ел сосиски с этим хреном и уже три дня подряд не пил эту ужасную водку, никогда бы вас, девушка, не оплодотворил.

Это прозвучало очень галантно.

Месяцем позже я и сама удивилась, что вправду беременна, хотя понятия не имела, от кого бы это. И совершенно потеряла доверие к таблеткам: один процент вероятности — и вот именно мне!

Когда мы через год поженились (без всякого шума), мальчику было уже три месяца. И как только он подрос, не осталось никаких сомнений, что это кореец. Я повела его на Сантошку*, спряталась в кустах, а когда мимо проходил китайский детский садик, втиснула его в пары. Пошел как миленький. Князю я сказала, что мальчик потерялся.

Он не слишком-то огорчался: ему это сходство тоже начинало казаться подозрительным. Только сказал мне:

— Чтобы этого больше не было. Международное положение напряженное, мы как раз готовим восстание боксеров во внутренней Монголии, и какая-

* Сантошка — один из районов Праги, где находятся посольства. (Прим. пер.)

нибудь дипломатическая интрижка с Японией нам сейчас ни к чему.

— Почему с Японией? — спросила я удивленно.

— Потому что мы хотим, чтобы она нас финансировала, — сказал он нетерпеливо. — Откуда брать средства, раз нам пришлось повысить пенсии?

Лучше уж ни о чем не спрашивать: для простой девушки из района Прага-Север это слишком сложно.

К счастью, никакая корейская делегация больше не приезжала, корень жизни кончился, и мое супружество с князем выглядело точно, как я представляла с самого начала. Только помирать он почему-то не спешил.

Как-то у нас на даче, в лесничестве, подвернулся этот бесстыдник Блатник и навязывался, — мол, очень хотел бы отлить меня в гипсе. Ну, вначале на меня это произвело впечатление, фигура у него была спортивная, и еще мне понравилось, что он совсем не робел перед княгиней — пусть народной — и полез ко мне без выкрутасов. Но что он со мной сделал — прямо скандал.

Тогда я уже знала Энрико, который был в Праге репортером «Оссерваторе Романо». Одолжила у него машину, чтоб не брать свою и не влипнуть в какую-нибудь историю, и отправилась в Барахолково. Меня разбирало любопытство, как это Блатник отольет меня в гипсе, — этого еще со мной никто не проделывал.

Он был настоящий бандит, этот Блатник. Развел полную ванну гипса, наболтал мне, что сначала делает отливку ручек, и когда гипс был в самый раз, вдавил туда мои руки почти по локоть и спокойно сказал:

— Теперь, милостивая государыня, подождем несколько минут, пока гипс затвердеет.

И поил меня водкой через соломинку.

Не стоит и рассказывать, что он сделал со мной,

когда это затвердело. Руки у меня забетонировались и вместе с ванной весили, наверно, не меньше центнера. Я была совершенно беззащитна. Кричать я тоже не могла, чтобы меня в его логове не обнаружили. Я чуть не заревела.

Но Блатник после немного смягчил мое сердце, объяснив, сколько стоило кило качественного гипса. А стоило оно 3 кроны 80 геллеров, и потратил он на это дело почти полцентнера высокодефицитного материала, затратив в общей сложности около 190 крон. Если бы он хотел просто подпоить меня, ему бы это обошлось не дороже пятидесяти крон, но он ничего не жалел, потому что влюбился с первого взгляда и хотел заполучить меня без риска.

Знаете, такое доказательство страсти оценит каждая чувствительная женщина. Розы по две кроны за штуку, если сезон, купит любой скупердяй, но вложить почти две сотни в покупку гипса, тащить домой тяжеленный мешок, делать раствор в ванне — и всё это только ради вас; нет, господин, такая самоотверженность не может оставить сердце женщины холодным.

Поэтому, когда он меня вырубил из этого известняка и мы окончательно помирились, не отрицаю — я к нему и потом заезжала и каждый раз одалживала машину Энрико: осторожность — мать мудрости. Порвала я с ним лишь после того, как в самый неподходящий момент ворвалась его уборщица и полила Блатника керосином. Нет, таких сцен я, княгиня фон Шауфельсперг, — хоть мы и были с мужем совсем простые люди, — больше терпеть не могла. Это было примерно за неделю до Рождества, до шестерняшек и всего дальнейшего сумасшествия.

Конечно, рождественский банкет я помню очень хорошо. Помню, как только доктор Пытлик привез известие насчет шестерняшек, мне стало ясно, что это заинтересует Энрико. Все равно ему почти не о чем было писать из Праги, курия его критиковала, вос-

стания происходили редко, народ спокойно отработывал свои два часа в день... Вот я и заявила своему кубышке, что у меня жутко разболелся зуб и надо ехать в Прагу.

Сначала он пытался меня отговорить, — пусть, мол, доктор Пытлик поглядит, но я отказалась уродовать свои великолепные зубы у типа, который достиг самого высокого процента испорченных зубов в Европе. К вечеру я была уже в Праге, да еще с бумагой от барахолковского главного врача.

Энрико сначала отмыл ее от брусничного варенья, процидив при этом что-то о свиньях, но когда прочел ее, запрыгал от радости.

Энрико — профессиональный журналист, хотя его папá уже тогда владел в Палермо фабрикой кошерных консервов для американской мафии и его наследнику не обязательно было посвящать себя столь опасной профессии. Это просто его хобби.

Прочитав во второй раз отмытый от варенья отчет, Энрико перестал прыгать и уселся на пол.

— Это невозможно, — говорит. — От этого бы и Сверхгений вылетел из кожи вон.

— От чего, миленький? — удивилась я.

Но мысли его уже витали далеко. Он оставил меня одну в постели и помчался куда-то. Проездил и прозвонил он целую ночь, а утром вернулся, разбудил меня, сел на постель и говорит:

— Кара миа, что говорил твой кретин насчет гласности?

Я повторила ему, что князь запланировал местному диспетчеру Гаеку великодушную постепенную кампанию снизу вверх, чтобы Барахолково не лишилось славы, и как он говорил, что при таких феноменальных родах всё равно своего не упustiшь.

— Грандиссимо, — сказал Энрико с облегчением. Когда он не сосредоточивался, его чешский терял правильность. — Большая мозг твой герцог.

И наконец полез в постель.

Встали мы где-то во второй половине дня, и тут он объяснил, как обстоит дело с шестерняшками.

— Ошибка исключена, — сказал Энрико. — Этот Покорный все еще торчит в каком-то вагончике у Погорелова, и в Барахолкове, очевидно, ни у кого нет ни малейшего понятия, чьи эти шестеро детей. У вас столько Покорных, что пока это не вызывает подозрений.

Потом Энрико еще сказал мне:

— Но отсюда я не могу это передать. За такое дело я получил бы тут пожизненное, и сам Папа римский не помог бы. Тут мы не в Польше, пуртроппо. Придется ехать в Вену, милашка.

Потом он встал и отправился в ванную, пока я в своем самом соблазнительном неглиже готовила ему последний чешский завтрак.

— Не хочешь поехать сразу со мной? — спросил меня Энрико, допив кофе. — Если это выйдет, нет смысла чего-то дожидаться. Шестерняшки в семье смещенного владыки — последнее, что еще могла бы пережить эта монархия. Твоего старикана непременно хватит удар, и не будет формальностей с разводом. Поедем со мной, дорогая, паспорт у тебя есть, в Вене устроим шум, а потом — ура, по шикарным автострадам моей родины — прямо в солнечное Палермо. Мой папка все равно никак не дождетсЯ, когда я женюсь. У нас до сих пор существует право первой ночи.

Я нахмурилась.

— Ничего не бойся, — успокоил он меня. — У папы жена на два года моложе тебя. Она ему все равно не позволит. Всё будет только символически.

— Как это — символически? — добивалась я.

— На свадьбе сыграет на пиле, — объяснил Энрико, но видя, что не совсем успокоил меня этой пилой, добавил:

— Клянусь любить тебя до гроба.

Я бы и предпочла поехать сразу, да девку из Любезниц на мякине не проведешь. Не бросать же мне свое имущество! Ну, отказываться от хлеба насущного не принято и в Сицилии, и Энрико поехал в Вену пока что один.

Всё пошло, как он предсказал. К утру шестерняшек поздравил уже весь лагерь мира. Верховная диспетчерская сразу же приказала организовать стихийное народное движение взятия обязательств, и жандармы срочно вытащили из постелей массу начальства. Покорный, говорят, узнал обо всем по радио и прикатил в Барахолково на велосипеде.

А Энрико из Вены подавал на стол: на закуску — коротенькое сообщенье, потом — большое, а на десерт — подробности. В правительстве было несколько инфарктов. Министра иностранных дел инфаркт хватил через полчаса после того, как он отдал распоряжение нашему делегату в Совете Безопасности поставить на повестку дня вопрос об охране многоплодной беременности.

Я тут же из Праги позвонила князю, узнать, не скосило ли и его.

— Что происходит, пузанчик? — спросила я самым распрятным голосом. — Узнаю по заграничному радио ужасные вещи.

Было слышно, как телефоны на его пинг-понговом столе вызывают целую симфонию.

— Уже всех поймали, — сказал он хрипло. — Это был разветвленный заговор. Мы им покажем, мы это дело так не оставим.

Следовало спешить. Я обвесилась драгоценностями, в три чемодана напихала все дорогие вещи, накинула две шубы и отправилась в Вену. Приехала я вовремя: он уже нанял себе секретаршу, и она как раз вылезала из ванной в его купальном халате. Вот и оставляйте в Вене итальянца одного!

Этим всё и кончилось. С князем я развелась на

расстоянии, поскольку он эмигрировал на Чукотку. С Энрико мы поженились через месяц, и свекор на свадьбе только играл на пиле.

После мы немного испугались, когда в Риме вытолкнули из самолета еще одного Энрико. Мы всё видели в тот же вечер по телевизору. По-итальянски он, правда, не говорил, но сходство было потрясающее.

— Так у меня братишка, — завопил Энрико на папашу, который как раз поглаживал меня по заду, — и я должен делить фабрику!

Господин Сальватини-старший — замечу, весьма хорошо сохранившийся — промямлил, что сходство может оказаться случайным:

— Я и на север-то ездил не дальше Инсбрука!

Энрико продолжал причитать. Сальватини-отец разозлился, ударил ногой по телевизору и заорал:

— Чёрт побери! Кто лучше знает, сколько я их сделал!

— Никогда ты этого точно не знал! — не переставал стонать Энрико.

На другой день утром Сальватини-отец уселся в Палермо в самолет, взял с собой в качестве советника господина Зильберштейна из Быстржиц под Гостынем и улетел в Рим. Через неделю они вернулись в полном удовольствии.

— Всё обошлось благополучно, — с порога успокаивал он Энрико. — Я купил ему избушку в Сан Марино, и теперь мы квиты.

— Так брат он мне или не брат?!

— Разве что это случилось в поезде, — уклонился Сальватини-отец. — В войну, в неразбериху...

А мы с той поры живем спокойно. У нас уже пятеро детей, и через год все мы поедем в Барахолково. Во-первых, Энрико должен там обрезать Блатника, и, само собой, — всей семье очень любопытно посмотреть Барахолково. А свекор? Ну, ему, конечно, хо-

чется в Любезницы. Ему же еще только восемьдесят три!

Глава XX

Свидетельство с того света дамского парикмахера господина Йетржиха Ведлейша

Посиживаю я теперь изредка на облачке, поглядываю на Барахолково и кажется мне иногда, что городок наш был бы не в пример красивее без Корчака. Этот холм и снизу-то не выглядит слишком приятно, и на открытках его никак не удавалось отретушировать, а сверху? Отсюда он прямо как бородавка! Иногда у меня язык так и чешется заорать младшему сыну Йозефу, нынешнему старосте:

— Пепик, снеси-ка этот горб, теперь у вас полно техники!

Но, во-первых, тут не положено кричать, а во-вторых, как ангел Девятой категории (для чешского провинциала это еще очень хорошо) я и тут, в туманной субстанции, не имею полного права голоса, хотя внизу всякие думают, что в раю — как в раю.

Да нет, здесь неплохо, не на что пожаловаться. Окружают заботой, в киосках все газеты и журналы, а на телевидении — двадцать пять программ. Но вот туманную субстанцию я получил на номер меньше: у меня 52-й, а тут был только 50-й и сразу — 60-й, но это бы на мне болталось. И вот за столько лет 52-го не достали — я уж согласен и с пуговицами, если нет на молнии. Так и душусь в своем пятидесятом. Если бы хоть субстанция была растягивающаяся, как у вас говорят — эластичная! Значит, и здесь не всё так, как должно быть.

По вопросу разрушения Корчака я бы, правда, мог написать заявление прямо Шефу, жалобы тут раз-

решаются, но он крайне чувствителен и во всем слышит упрек, что этот мир ему не удался. Он-то лучше знает, как его лепил, — ну, я и не лезу. Зато мы всё это обсуждаем с коллегой Елинеком, роптать тут можно сколько хочешь, днем и ночью. А добряк Гавриил смотрит только за вахтером, чтоб не впустил сюда кого-нибудь без документов.

Я уже долго смотрю, как вы, милостивый государь, мусолите эту анкету и не предчувствуете, например, что на будущий год — согласно плану популяционного взрыва — у вас самих родятся шестерняшки. А вы — вместо того, чтобы экономить силы для хорошего зачатия, сидите в каморке возле барахолковского дурдома и допрашиваете всяких шутов гороховых, ни один из которых вам всё равно не объяснит, как это всё происходило. Бросьте, говорю я вам, пойдите хоть в воскресенье проветриться! Разве вам безразлично, что «Славия» и «Спарта» дают шороху, а «Дукла»* скоро вылетит из городского чемпионата? Да знаете ли, что я как живая субстанция тщетно дожидался этого тридцать лет!

А нам тут, вы думаете, безразлично, будет или не будет написана эта ваша памятная книга и будет ли она такая или эдакая? Нет, уважаемый, хоть мы ангелы и туманные субстанции — а нас это волнует! Или мы не уроженцы Барахолкова? Или мы не любим родное гнездо? Или мы не прожили там жизнь, а я — еще и после смерти?

Так вот, позвольте скромно вмешаться. Тут и коллега Елинек (бывший повар князя Франтишка-Леопольда, а ныне ангел Десятой категории, тоже прекрасная должность) время от времени что-нибудь подкажет. А то у вас же начинается полная путаница!

Увы, мне сразу придется с сожалением констати-

* «Славия», «Спарта», «Дукла» — названия чехословацких футбольных команд. (Прим. пер.)

ровать: даже то, что обо мне уже написано, не всегда правда. Уж если такая анкета проводится, милостивый государь, всё должно быть в аккурат, а не приблизительно. Приблизительно можно мять картошку на оладьи, а не описывать события, это мы заявляем со всей ответственностью и не считаясь с загробной жизнью.

Так вот, во-первых, меня зовут не Йиндржихом, а Йетржихом. Этого Йиндржиха жандармы написали в паспорт нарочно, потому что, с их точки зрения, Йетржих была глупость.

Но какая же это глупость?

Извольте заглянуть в метрику в церковном приходе Святого Густава в Барахолкове, где я был записан своими родителями ясно и разборчиво как Йетржих. Но это им, жандармам, как-то не показалось, не знаю — почему. Когда я пришел туда впервые уже при Общественном Благе получить гражданский паспорт, сидел там какой-то Шимек, думаю, вахмистр, и выглядел, как горилла. Посмотрел в мою анкету, потом на меня — и сказал:

— Йетржихом больше не будете, будете Йиндржихом.

— Как это? — спросил я. — Как могу я стать Йиндржихом, если меня крестили Йетржихом?

— Крещеный — некрещеный, — обрушился он на меня, — это нас не интересует, гражданин. Если вам не нравится Йиндржих, могу из вас сделать и Бедржиха.

Я уж не стал возражать, потому что если бы я стал Бедржихом, моей супруге пришлось бы перешивать монограммы. Ладно, думал я, этот мастодонт тут не навеки, — как его выгонят, я добьюсь своего.

Его и правда выгнали, но я наблюдал происходящее уже как туманная субстанция. Под этим-то именем меня три раза похоронили, три раза выкопали, и только в четвертый раз меня похоронили как Йетржи-

ха. Но об этом позже, милостивый государь, всё по порядку.

Разве Йетржих — плохое имя? Разве мало было Йетржихов в чешской истории? А главное, и мой прадедушка был Йетржих Ведлеш, и дедушка — Йетржих, и папа — Йетржих, почему же мне не разрешали быть Йетржихом? Папа, правда, в пекле, потому что к старости бегал за девками. Вон он там, внизу, бедняга, — сидит на гвоздях рядом с вертелом, на котором поджаривают переименовавшего меня Шимека. Надеюсь, отец всё объяснит этому невежде!

Никого из моих сыновей, к сожалению, не зовут Йетржихом, — после своего горького опыта я не отважился их так окрестить. Кто знает, как бы их переименовали!

На Шимека нам теперь наплевать, а вот мимо проплывает на облачке господин Мориц Кон с семьей, до войны хозяин похоронного бюро. Я их очень хорошо знал; а госпожу Кон, урожденную Стокласову, всегда по праздникам причесывал «а ля мадам Дюбарри». Старый господин Кон добавляет, что на этого Шимека ему тоже начхать теперь. А в сорок первом Шимек загонял их в транспорт, и как только вся семья пошла дымом в Майданеке, господин Кон углядел отсюда Шимека, который разгуливал по Барахолкову в его лучшей шубе. Теперь понимаете, милостивый государь, как нам всё прекрасно видно и какие у нас связи.

Целую ручку, милостивая госпожа; привет, Мориц, — уже удаляются, так что можем продолжать.

Да, где же мы кончили... У Йетржиха, не так ли? Ну, вот, когда мне не позволили называться Йетржихом и когда я даже не рискнул назвать этим именем, по семейной традиции, своего старшего сына, я с горя купил собаку и назвал ее так. Но она была вовсе не рыжеватой, как вы утверждаете, а совсем рыжей, вылитая госпожа супруга районного диспетчера Бре-

бурды, поскольку это был чистокровный ирландский сеттер, хотя в Добровольном Обществе Содействия Диспетчерской мне его записали австралийской гончей. Я уж был рад, что не ангорской кошкой, а то приходили бы официально стричь дважды в год.

Правда, что мы жили на окраине, возле княжеской дороги, но мой ирландский сеттер Йетржих мочился не у щита с надписью «Водитель! Осторожно! Участок частых аварий!». Этот щит на деревянном столбе гнил и каждый год валился сам по себе. Я же научил Йетржиха (животное очень интеллигентное и политически сознательное, хоть он и не из Австралии) справлять малую нужду только у второго щита, на котором красовалось: «Вас приветствует Барахолково — город славных революционных традиций!».

Этот был укреплен на двух железных столбах, вбетонированных в землю, так как второй щит для общества считался важнее, чем тот, про аварии. Я надеялся, что мой Йетржих постепенно так уничтожит эти трубки, делая свои дела, что они насквозь проржавеют, и щит рухнет от ветра.

Удалось это только за месяц до моей кончины, да и то потому, что я от нетерпения добавлял Йетржиху в жратву царскую водку. Такой мочой, усиленной царской водкой, мой Йетржих два-три раза полил столбы под приветственным щитом — и он свалился, как подпиленный, без всякого ветра, словно его термиты подгрызли. А Йетржих, мой верный пес, еще наделал на городской герб — на проткнутого оленя, и это единственная его ошибка: он явно собирался загадить символ диспетчерской, нарисованный с другой стороны щита.

Но они и не заметили, что этот щит упал. Дело шло к концу, им было не до того. Коллега Елинек говорит, что его взял себе некий Залабак, возивший в больнице мертвецов, — меня он тоже, между прочим, клал в гроб. Столбы Залабак использовал для

забора, а щит прибил надписью внутрь на крольчатник, чтобы кроликам не сквозило. Как сейчас смотрю на этого Залабака: он уже давно на пенсии, моет ноги в тазу. Не знаешь, Елинек, кто ему удружил с носом? Ах да, тот турок! У нас, видно, всегда было много друзей на Востоке, даже когда не было общей границы.

Тут коллега Елинек просит сообщить, что он не производил на свет молодого князя фон Шауфельс-перг. Эман Елинек жил жизнью нравственной, всё время варил, а детей плодил исключительно с собственной женой, а княгиня — куда там, и думать не приходилось; да ведь если бы он был отцом молодого князя, его бы сюда не впустили — или вы думаете, что тут в отделе кадров бардак?

Некоторые ваши сведения близки к правде. Я действительно однажды сказал, что в Каринтии* не-благо лучше, чем у нас — благо, но я не говорил «в Барахолкове», а (из осторожности) — «в Новом Йичине». Как раз туда, в Новый Йичин, собрался нотариус, господин доктор Безоушка, из-за каких-то алиментов или наследства — не помню точно. Как он услышал, что я говорю о порядках в Новом Йичине, сразу упаковал в чемодан штык с первой мировой войны, доставшийся в наследство от отца. Ну, и что плохого случилось? — ничего, только штык украли. Когда Безоушка вернулся, то сказал мне, что в Новом Йичине порядки ничуть не хуже, чем у нас.

— Но, дружище, — возразил я, — разве я говорил, что в Новом Йичине хуже, чем у нас? Я говорил, что там хуже, чем в Каринтии!

— Видите, мастер, как я всё перепутал, — сказал он мне. — У меня и в Каринтии есть кое-какие дела, да нету времени поехать.

* Каринтия — южная провинция Австрии. (Прим. пер.)

— А ведь это недалеко, — коварно соблазнял я его. — Не дальше, чем до Нового Йичина!

Не хотелось ему, доброй душе, признаться, что у него тоже грешок перед районной диспетчерской и что его в Каринтию просто не пустят. Поэтому он грустно сказал:

— От отца у меня оставался всего один штык.

Да-да, милостивый государь, так обстояло дело с Каринтией. А что касается моих вопросов насчет приезда дружественного войска, так тут у вас всё примерно в порядке, кроме того, что, получив разъяснения, я отправился не в трактир, а в церковь. Я, в такой ситуации, — и в трактир! Кто бы мне после этого дал Девятую категорию! Я, милостивый государь, никогда не переставал верить в блиницких рыцарей, хоть они и заставили ждать себя и явились переодетыми в Серую Чуму! Но, милостивый государь, какое правительство — такие и блиницкие рыцари! Грубейшая ошибка — держаться за традицию и ждать какую-нибудь спасительную кавалерию!

Это всё мелочи, пустячки, как говорит коллега Елинек. Но я не виноват, что и как туманная субстанция, втиснутая в тесный мундир, я остаюсь всё таким же педантом. Это пошло со мной за крышку гроба, — а вот от одышки я, наоборот, совершенно здесь избавился.

Одышку я заработал еще как парикмахер и заведующий парикмахерской 02 в Барахолкове. Вентиляция там была никудышная, и если ученик или ученица слегка поджигали щипцами волосы какой-нибудь даме, вонь стояла, как в коптильне. Да еще и пыль от волос. Мужское отделение было рядом, клиенты приходили такие, будто волосами улицу подметали; а то и к нам являлись дамочки с совершенно засаленной головой... Работенка не лучшая для здоровья; и если я добился некоторых успехов, — а это факт, — то потому, милостивый государь, что у меня всегда была фантазия:

баба еще пролезает в двери — а я уже знаю, как ее причесать. А премии на выставках? Я ведь специально подыскивал старых уродин — хорошенькую молодую девицу причешет кто угодно, а попробуйте прихорошить увядшую пятидесятипятiletнюю мадам, которая еще в тридцать два безуспешно охотилась за женихом, что изнурило ее на всю жизнь! И я всегда показывал жюри, как такой экземпляр выглядел перед приходом ко мне и как — после моей работы. И если членам жюри хватало объективности, они не могли не оценить этого. Сколько раз меня хотели купить иностранные владыки, чтоб я им причесывал гувернанток! И только любовь к Барахолкову меня тут удержала. Правда, Эман? Иначе не парить бы мне здесь, да еще в Девятой категории!

Правда и то, что меня сняли с заведующих и хотели, чтобы я брил мужиков в Брдечке, но клиентки поперли за мной и туда: сплошь да рядом бывало — как только я бабу переставал причесывать, ее супружеская жизнь оказывалась на краю гибели. Диспетчерская опять была недовольна, и кончил я в заветровском трансформаторе.

Ездил я туда на велосипеде, потому что жил далеко и сообщение было плохое, а получал я всего лишь тысячу сто в месяц плюс пособие на детей — по тогдашней дороговизне сумма прямо нищенская. С велосипедом возникли проблемы: в будку он не влезал, я оставлял его снаружи и дрожал, что кто-нибудь украдет. Но господин Готвальд, заведующий магазином «Уцененные товары» — такой приличный человек, а из-за фамилии в рай не взяли (Шеф не любит намеков на свою личность) — раздобыл мне цепь от разводящего моста в замке Рамлик. Цепь стоила 480 крон на вес — тогда килограмм железа стоил еще 4 кроны 60 геллеров. Привезли мне эту цепь в похоронной машине, что наверняка принесло несчастье, милостивый государь, коллега Елинек тоже так думает.

Шофером похоронной машины в Барахолкове был тогда господин Ладислав Свобода, бывший учитель латыни. Обычно с ним ездила жена, бывшая учительница музыки. Господин учитель запихнул цепь в гроб, как будто везет покойника. Это чтоб жандармы не подумали, что он работает «налево». Цепь заполняла весь гроб, милостивый государь, она в самом деле отличалась солидностью — одно звено весило два килограмма. Благодаря этому, никто не украл велосипед! Удалось им, правда, заветровским ворюгам, подпилить телеграфный столб, к которому я привязывал велосипед, но цепь поднять не сумели. Ехал мимо один тамошний жандарм, обычно выпускавший меня из трансформатора в конце работы, и посоветовал привести лошадей. Счастье, что лошадей у них не было, а тракторы все не работали. Я всё это слушал, сидя в будке и глядя в щель. Убедившись, что ничего не выходит, они разошлись, а жандарм выпустил меня.

Эман, то есть коллега Елинек, обращает мое внимание, что эту цепь показывают теперь в Городском музее в Барахолкове как память о Габсбургах. Там всегда сидели жулики, милостивый государь, в этом музее, но с тех пор, как их не обуздывает районная диспетчерская, они обращаются с историей города как с резинкой для трусов.

Просматриваю бегло сказанное обо мне господином Блатником и сам удивляюсь, как он в моем случае сумел сдерживать себя. Ведь обо мне он почти ничего не наврал! Но одна вещь все-таки совсем не точна.

Когда я в тот раз выключил радиоприемник — это была на самом деле лекция об Основателе — я *не сказал*, что он был паралитик. Такие категорические заявления в присутствии нескольких довольно известных особ — нет, милостивый государь, это не мой стиль, такие вещи я, в крайнем случае, говорил в се-

мейном кругу. Очень хорошо помню, *как* я высказался, выключив радио:

— История человечества, милые дамы, очень богата коронованными паралитиками.

Как я уже говорил, работал я в то время дамским парикмахером и не заметил, что одна из моих клиенток — господин инспектор Ланда, хоть он и завивался у нас регулярно. Мне и в голову не пришло, что это не дама, а шпик!

Но ему-то сразу пришло в голову, что я сказал нечто не совсем невинное и что между моими коронованными паралитиками и беднягой Основателем есть какая-то связь. Но на улице шел дождь, зонтика у него не было, пришлось подождать, чтобы его свежий перманент не размок по пути в сыщицкую штаб-квартиру, а пока он туда дошел, уже забыл, как всё было, и поэтому написал, что я сказал, что Основатель был паралитик, — и дело в шляпе. Видно, господина Ланду это серьезно задело, потому что обслуживанием он наверняка был доволен. Иначе не ходил бы так часто краситься и завиваться!

Но роль играло, что услышал господин инспектор, а не что я сказал, так что моя осторожность пригодилась, как прошлогодний снег, хотя, между нами, у Основателя паралич был, — тут, наверху, это знает даже обслуживающий персонал! Меня же за это выгнали из заведующих, и покатился я под гору до самого трансформатора. Но как я там умер — не знаю и сам; это единственная вещь, которую здесь никто — даже как туманная субстанция — не узнаёт. Скорее можно узнать внизу. Здесь (с точки зрения вечности) на это не обращают внимания и не записывают. Какая, кстати, чушь, что сюда не берут самоубийц! Здесь их, не поверите, полно! Но, конечно, до этого они должны были быть приличными людьми! Тут есть и несколько убийц — правда, Эман? Но таких, которые избавили народ от какого-нибудь мерзавца.

Как кто умер — никого не интересует, и я про себя толком не знаю. Вроде бы я был без памяти, сидел весь день на земле, больше нигде было: кабинета для заведующего в будке не предусмотрели. Случилось короткое замыкание, и когда за мной приехали, мою материальную субстанцию пришлось вытащить уже в виде трупа. Сначала меня положили в канаву и прикрыли мешком от гранулированного фосфата, а потом уже приехали прямо с гробом. Когда меня в него загружали, я успел обратить внимание, что мой велосипед все еще стоял, привязанный солидной цепью из замка Рамлик к другому телеграфному столбу, так как ближний подпилили воры из Заветрова в напрасной надежде украсть мое транспортное средство.

Себя покойного я наблюдал больше издали, но всё равно мои похороны меня расстроили. Я никогда не был тщеславным, иначе бы сюда не попал! Но всё же — скольких баб я прихорашивал в Барахолкове, а в те годы — и мужчин, главное — плешивых (об этом лучше не говорить, я всегда отличался деликатностью), и меня за всё это схоронили тайком! Как какого-нибудь бандита!

Больше всего меня задело, что на похороны не допустили моих клиенток. Пришла только одна — господин инспектор Ланда. Я с трудом узнал ее оттуда, франтиху, помнил блондинкой, а тут она вдруг оказалась медноволосой! Видимо, ездила краситься в Погорелово — качество неважное, на расстоянии видно, причесана отвратительно, я бы ей никогда не сделал длинные локоны, ей шла только короткая стрижка и всего одну-две волны сделать, чтобы она выглядела в лице покруглее... но куда там — этак она действительно выглядела как шпик, а не как дама.

Само собой, могли быть похороны еще и похуже. Копецкий, как оказалось, предлагал вообще похорон не устраивать: он хотел пустить слух, что мой гроб

похитили и жандармам не удалось обнаружить ни воров, ни тела.

Копецкий был хитрая башка, хоть ростом не удался. Он словно наперед чувствовал, что со мной и после смерти будут осложнения.

Еще он предлагал подвергнуть меня кремации, как бы по ошибке. Ведь моя католическая семья на это не пошла бы — но если бы уж так случилось, им пришлось бы молчать и взять урну, не глядя, что насыпали жандармы.

Наконец районная диспетчерская проголосовала за разрешение моих похорон.

— Пусть будут похороны, — заключил районный диспетчер Гаек после трехдневного совещания о моем трупе, который уже подгнивал, — но совершенно скромненькие, и могила в самом глухом углу кладбища.

— Трудно, — возразил Копецкий. — У Ведлейшей семейный склеп с 1709 года у главной аллеи. Мы не можем переселить с ним всё семейство. У меня в Кладбищенском отделе рук не хватит. Лучше бы все-таки если бы гроб сперли. У нас на этот счет огромный опыт. И специалисты есть: гроб испарится, как кошелек, — так, что мы и сами не найдем, если вздумаем.

Он взялся агитировать, но, пожалуй, напугал их. Смутила основательность, с которой жандармы умели затерять труп. Один член районной диспетчерской даже упал в обморок.

О себе подумали — правда, Эман? Икнул, пукнул и нет его — это добавляет коллега Елинек, он любит смачные выражения. Так вот, испугались они и решили: будут у меня похороны и даже в собственной могилке, то есть — с папочкой и дедушкой, но в полной тайне от населения — кроме жены и ребят, никого, ни даже господина священника, ну, у этого всё равно было воспаление седалищного нерва.

Далее они постановили: во избежание провокаций, не ставить моего имени на надгробье, а предков стесать. И вечером, сразу же после похорон, моя клиентка, господин инспектор Ланда, привела туда какого-то эксперта, который протянул аж из мертвецкой шнур и с помощью шлифовального инструмента стер папочку и дедушку с надгробья. Издавало оно такой ужасный звук, что у меня и в могиле разболелись зубы.

Господин инспектор Ланда всё проверил, сфотографировал, и, уже уходя, споткнулся этот осквернитель могил о забытую лопату и вывихнул ногу. Это ему устроил не кто иной, как Эман. Прямо навел Ланду на лопату. Здорово ты это придумал. Глянь-ка на него! Как раз подметает возле сберкассы, навозник проклятый, некогда ему было ногу лечить, до сих пор на нее припадает.

Ну, похоронили меня... Тлеющее тело лежало в могиле, все-таки меня не украли, хотя мы тут с коллегой Елинеком прекрасно знали, что господину штабс-капитану Копецкому из-за этого не спится и что он бы с удовольствием хоть в последний момент подменил мой труп, но, к счастью, ничего не подвернулось. С тяжелым сердцем он от этого отказался и приказал только в первую же ночь украсть с могилы все цветы и венок. Делал это снова Ланда, еле полз, но приказ есть приказ. Он еще и утоптал могилу, так что наутро вряд ли кто подумал бы, что здесь вчера кого-то хоронили.

И смотрите — всё равно господин инспектор Ланда несколько недель подряд был занят моей могилкой, да не он один. Потому что уже в полдень могила была засыпана цветами неизвестно от кого, свечи так и пылали, а ведь День поминовения усопших давно прошел!

Мы отсюда видели, как к вечеру Ланда поплелся

докладывать Копецкому. Застиг он его у знаменитой подзорной трубы. Копецкий сразу сказал:

— Сижу и гляжу, как там светится.

Минуту помолчал — Ланда еще стоял в дверях по стойке «смирно», — а потом произнес как бы про себя, потому что некоторые вещи тогда обычно и у жандармов не говорились:

— Так всё кончается, если в диспетчерской сплошные идиоты. Я с самого начала ясно предлагал, чтобы гроб украли. И вот вам результат.

Ланда хотел прищелкнуть каблуками, но помешала хромая нога.

— Ну, что же, Ланда, — заключил Копецкий. — С сегодняшнего дня будете каждую ночь цветы и свечки к чёрту убирать. И тщательно! Кругом! Марш!

И на это мы тут с коллегой Елинеком — правда, Эман? — тоже смотрели. За день люди туда нанесут, а ночью господин инспектор Ланда и его спецгруппа по вопросам покойников убирают. Каждое утро моя могила должна была быть такой же пустой, как могилы в Пантеоне революционеров в Праге-Жижков, где целый год нельзя было встретить ни души, кроме охранников, — как будто нужно охранять, как бы от туда труп не сперли.

Но с утра моя могила опять расцветала знаками симпатии, так что к вечеру у меня там выглядело как у Гавличека Боровского*, причем — независимо от

* Гавличек Боровский Карел (1821 — 1856) — чешский журналист и политик, замученный австрийской жандармерией в 1856 г. Его похороны, а потом — могила, стали для чехов символом борьбы за свободу. Для русского читателя следует добавить, что с похоронами и могилами неугодных режимам лиц в Чехии всегда бывали затруднения. Достаточно вспомнить похороны писателя Карела Чапека (1938 г.); похороны студента Яна Палаха (1969 г.) — его останки через несколько лет должны были удалить с пражского кладбища; или кражу урны с пеплом Йозефа Смрковского (1974 г.). (*Прим. пер.*).

погоды. Из-за этого на кладбище ввели выходной день, чтобы господину инспектору и его работникам тоже отдохнуть.

Поскольку это тянулось и не прекращалось, Копецкий вновь поднял в диспетчерской вопрос о моей могиле.

— Это скандальный случай, — заявил он. — Что-то надо делать. Враг поднимает голову, когда видит свечи на могиле старого Ведлейша.

Районный диспетчер Гаек не хотел снова ставить этот вопрос на обсуждение, а просто на лестнице дал Копецкому согласие меня выкопать, но — чтобы было письменное указание районного пожарного коменданта: вследствие, мол, этих свечек есть опасность пожара в Брдечке, когда дует юго-западный ветер; опасность пожара культурного памятника развалины Корчака, когда дует северо-восточный ветер; опасность, что сгорит Вертухайка, если задует ветер с севера. И знаете — это звучало довольно убедительно! Если человек не знал, какое это, извините, идиотство, мог бы и поверить. Однако барахолковскому кладбищу восемьсот лет, и ни разу там ничего не загорелось.

Начальник пожарников, господин Ота Вацлавик, хоть тоже был в диспетчерской и фрукт порядочный, пришел в отчаяние, выкручивался как мог и не хотел отдать такой приказ от своего имени — кладбище, мол, не в его компетенции и тому подобное, наконец подпоил своего заместителя и дал ему подписать приказ, уверив, что тот подписывает почтовую открытку брату в Унгошт.

Но в районной диспетчерской господину Вацлавику сказали прямо, что если он не подпишет приказ собственноручно, то его выгонят из диспетчерской, выкинут из пожарников, выселят из квартиры, пошлют работать в деревню, а детей исключат из школы. Ну, сдался он и подписал. Теперь этот вердикт находится в Городском музее под стеклом — правда, Эман? —

хотя господин Вацлавик двенадцать раз отрекся от этого, три раза покаялся, один раз написал опровержение в «Привет» и теперь уже второй раз подает в суд на Городской музей.

Как только приказ был подписан, диспетчерская и жандармы умыли руки, и Копецкий лично начал проводить мероприятие, осознав, что с таким ответственным заданием господин инспектор Ланда всё же один не справится, хоть бы и без перманента. Когда он гасил свечи, один раз сильно подпалил локоны и некоторое время ходил стриженный под ёжик.

Да, моя эксгумация! — грандиозное было мероприятие. Копецкий всё спланировал и выбрал ночь с 25 на 26 декабря. Жандармы занимались гробокопательством только по ночам, а Рождество показалось Копецкому самым удобным временем — кладбище было далеко от города, а предвидеть эту жуткую пургу он не мог, ее ведь устроила здешняя Комиссия по вопросам погоды в Европе, когда мы объяснили, в чем дело. К сожалению, Шеф запретил использовать в Европе тайфуны.

Комиссия, в свою очередь, не знала о приближающемся рождении шестерняшек и не могла предполагать, как всё усложнится в Барахолкове, — но даже здесь никто, кроме Шефа, не всеведущ, а Шеф не успевает со всем справляться. И к тому же, с того времени, как с ним внизу конкурирует господин профессор Киссинджер, он сильно нервничает. Этот Киссинджер Шефа здорово раздражает — правда, Эман? Не будь у Шефа сына от еврейки, он мог бы и стать антисемитом.

И вот лежу я внизу, в могиле, спокойненько тлею и вдруг слышу, как именно ночью, в Сочельник, начинают меня эти жандармские подонки выкапывать. Даже не переоделись, на такое дело прямо в мундирах! Мы тут сразу с коллегой Елинеком очнулись и наблюдаем, хотя из-за пурги видимость была довольно пло-

хая. Сначала оцепили кладбище: уж там было, милостивый государь, жандармов... Я до того времени не имел представления, что их в Барахолкове столько, а ведь я никогда не был оптимистом — правда, Эман? Оптимистов спихивают прямо в подвал, сюда ни один не попадает.

Потом разгребли снег, чтоб туда мог пройти сам Копецкий, поскольку он был ростом ниже 130 см и согласно распоряжению магистрата не должен был выходить из дому в такую метель. Потом расчистили могилу и начали копать. Экскаватор у них, к счастью, не работал, а то был бы я и с гробом — в мелкие кусочки.

Потом оказалось, что земля слишком твердая. Тогда на мне развели костер, чтобы глина помягчала. Тут им, видите ли, безразлично, не загорится ли от этого Брдечко, хотя как раз дул юго-западный ветер. Наконец стали копать, но снег, разогревание мерзлой глины, да еще то, что у них было запланировано рыть экскаватором, а вместо него пришлось лопатами и ломами, а жандармы-то, как выяснилось, почти все — левши, — всё это настолько их задержало, что меня с гробом вытащили наружу только к полудню, и Копецкий влез в могилу — провести расследование моей возможной загробной подрывной деятельности. И как раз тут ему принесли донесение, что украден районный диспетчер господин Гаек.

Копецкий выбрался из могилы и впал в бешенство.

— Это саботаж! — орал он на всё кладбище. — Почему его крадут именно тогда, когда у меня идет работа над Ведлейшем? Не могли подождать до вечера?

— Кто его украл? — спросил он посыльного, принесшего известие.

— Неизвестно, господин штабс-капитан, — ответил посыльный, перепуганный до дрожи. — Нас в управлении всего двое, и мы получили только телефонограмму.

— Чего он лез, кретин, на улицу? — спросил Копецкий, всё еще страшно злой. — Чего не грел задницу дома?

Посыльный еще больше растерялся.

— Мне неизвестно, господин штабс-капитан, — сказал он, стараясь сообщить всё, что знает. — Будто бы пошел выгуливать депутата Хуравца.

Копецкий чуть было не потерял сознания и не упал обратно в мою могилу. Потом все-таки опомнился, указал рукой на мою посмертную юдоль и сказал господину инспектору Ланде:

— Бросьте всё обратно и засыпьте, нет времени копать новую дыру. Надо искать районного диспетчера. Ведлейш подождет.

Вся боевая готовность отмаршировала в Вертухайку; и мы с коллегой Елинеком грустно наблюдали, как осиротевшая опергруппа господина инспектора Ланды сурово бросила меня обратно и с проклятиями засыпала. Осталось их для этой работы — вместе с господином инспектором — человек пятеро, потому что Копецкий погнал всех остальных в Вертухайку искать Гаека, но это уже, милостивый государь, не интересовало ни коллегу Елинека, ни меня. Поймите, я в первую очередь искал свои собственные труп и могилу, своя рубашка ближе к телу, и какое мне было дело до Гаека, даже если бы он и умер?

На несколько недель меня оставили в покое, несмотря на то, что свечи продолжали гореть по-прежнему и вердикт начальника пожарников был в силе, хоть он, плут, об этом не напоминал.

Но Копецкий глаз не смыкал и как только повернулся первый удобный момент, принялись меня выкапывать снова. Теперь они действовали продуманнее. Сначала вырыли новую могилу, совсем в углу, и для рытья принесли отбойные молотки. В половине шестого утра меня вытащили и сразу отвезли на тележке на новое место. Но не успели засыпать, как

опять примчался курьер с каким-то ужасным известием. Мои эксгумации не приносили жандармам счастья.

Копецкий снова был на дне моей первой могилы, и поскольку с помощью отбойных молотков ее разрыли немного поглубже, то он стоял как раз на дедушкиной ключице и разнюхивал следы моей подрывной деятельности, когда к нему дополз какой-то сильно помятый жандарм в одних подштанниках, из последних сил прошептал ему на ухо, что восстала Серая Чума, и потерял сознание.

Копецкий снова вылез по лесенке наверх и начал дико орать:

— Это саботаж! Почему они сходят с ума как раз, когда у нас Ведлейш уже выкопан? Неужели не могут подождать с этим до завтра?

Но в том-то и была штука, что Серой Чуме пришелся кстати момент, когда вся жандармерия была сконцентрирована на кладбище и не могла помешать ихнему путчу.

Не знаю, чем потом занимался Копецкий, — я всё еще присматривал за своим гробом. Не пробыл я в новой могиле слишком долго. Мне для маскировки поставили камень с надписью: «Ярослав Коржинек, агент горячей воды, в отставке». Но и туда приносили свечи и цветы, так что Ланду не спасла даже Серая Чума, он был к кладбищу прикован вплоть до горького конца Общественного Блага как такового.

И только тогда моя семья дала выкопать меня в третий раз — и на сей раз окончательно, и при участии всего Барахолкова похоронили меня на костях моих дедушки и прадедушек, потому что папочку при втором выкапывании затеряли.

Благодаря этому меня хоронили в общей сложности *четыре* раза, милостивый государь, а гроб мой должны были украсть подрывные элементы прямо под

руководством господина инспектора Ланды, моей клиентки!

Так смотрим на события мы, милостивый государь, — коллега Елинек и я. Так проходит мирская слава. Человек предполагает, а Господь располагает, милостивый государь. Отсюда лучше всего видно, как бесполезно помешать естественному развитию мира. Это всегда не долговечно. Но, с другой стороны, не надо быть нетерпеливым и думать, что и глупость так же скоропребояща.

Так нельзя, правда, Эман? Всему свое время. Я очень мучился из-за диспетчерской (Шеф — свидетель) и, будучи еще живым веществом, не дождался этому конца. Но мы с коллегой Елинеком наблюдали за всем отсюда хотя бы как туманные субстанции.

Знаете, Шеф не успевает за всем, у него в районе свыше пяти миллионов земных шариков и везде свои проблемы — ну, разве можно его упрекать, если он где-то не сразу наведет порядок?

(Окончание — в следующем номере)

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.
Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

СТИХИ

Анри Волохонский

ИЗ ЦИКЛА «ИОГ И СУФИЙ»

* * *

Мой суфий сердца трезв как тамплиер
Уста души — невинней баядеры
Смирения двугорбый дромадер
Берёт подъём не претыкаясь в еры

Червей моих могила — рыболов
Вздувает над костром шашлык из репы
Как Магомет люблю свинину — в плов!
— Когда смущен, алею, — будто трефы

Меж лебедей мне мил лишь тот угод
Кто ворона вороной назовёт
Кто этот миг блаженно проворонит
Кто весь падёт, но части не уронит.

НИКТО

Зовусь Никто. Ничем владею
Но знаю: тщетно жег суда
Затем что сам уже ладьею
Теку в попятное «туда»

Стригу овец валять туманы
Несу дарить на рынок сей
— Ну не довольно ли пространно
Чтоб петь отсутствующей ей?

Зовусь Никто. Моё богатство —
Ничто. Влюбленный в никогда
Я обручен его на царство
Вести как деву в никуда,

Где венчаны с ничем иным
В себетожественной повязке
Такие важные чины
Как орден Бани и Подвязки.

О, Русь! Как грудь Капитолийской суки
Питаешь ты взаимоубийственных близнецов
Но сколь высок их вой преследующих псов
Сколь локоны легки и сколь багряны руки.

СОНЕТЫ О ЧАЙНИКАХ

(Чайник — Чаю)

Торжественный сосуд для аромата
Я, Чайник, — храм. Ты, Чай, в нутре моём
Во мраке сферы паром напоен
Рождаешься фонтаном цвета злата

Взлетишь журча, так словно мы поём
Наполнишь чаши влагой горьковатой
И вот уже пуста моя палата
И хладен мой сферический объём.

Пусть так. Но тайну твоего рожденья
Мне много раз дано переживать:
Я глиной мог бы где-нибудь лежать

Кого ж благодарить за наважденье?
Кто дал мне жизнь? Кто дал мне наслажденье
Тебя во мне назначив содержать?

(Чай — Чайнику)

Знай: Мастер, — тот, кто ловкими руками
Великолепной формою облёк
Мои дары, на глиняные ткани
В огне накинув пламенный венок

В глазурный блеск преобразив песок
В цветах стекла взрастив растёртый камень
Окончил труд — и на ковре прилёг,
Меня смакуя мелкими глотками.

И вот тебе ответ на твой вопрос:
Кто ведают меня — те и тебя творят.
Ты дивен, друг, твой гордо вздёрнут нос

Как вензель крышечка, твоя как крендель ручка
Мужи безмолвствуют, а дамы говорят:
«Какая прехорошенькая штучка».

ПЕГАС

Конь — бабочка вся в перьях ветер сея
Куда мою зачем несёшь умчать Психею?
Но так и исчезает не сказав
Таинственная лошадь — стрекоза.

АЛЕШЕ В САЛЕХАРД*

Алешенька,
зачем же — в Салехард
Где в ледяной баян охрипший бард
Сосулькою орфической в струю
Должно быть лиру тренькает свою?
Чтоб на моржа науськивать песка

* Поэту Алексею Хвостенко. — Ред.

Гагарам, чай, не надобно певца
Чтобы менять свой ежегодный мех
К чему эфирный звук твоих помех
Баранам этих суток волчьих стай?
Алешенька, ну, будет, перестань —
Бежит олень, полярный эскимос
Тебе затылок кажется Канин Нос...
Зачем же Салехард — не Гибралтар
Где Геркулес алтарь поставил встарь?
Гляди — любая тварь бежит на юг
Дают ей это или не дают:
Бежит на юг тетёрка и дрофа
Бежит на юг полярная сова
Бежит на юг обрезанный енот
Вдруг оценив на вес свой древний род
И даже тот, кто более чем финн
Туда влачит судьбы своей графин
Все реки на которых я плыву
Туда направят влаг своих халву
Магнитный шприц освободив компас
Теперь свободно смотрит за Кавказ
И сам Кавказ, добыв подобья ног
К ним смазанные лыжи приберёт.

Ах, эти лыжи... Неужели снег
Тебе милее наших луж и нег
Берёзы — тополиного ствола?
Тебя любая из столиц могла
Держать как сердце бубенцом звеня
А ты — внезапно, не спросясь меня,
Не сверяясь даже с направленьем карт...
О ужас — в эту область юрт и нарт,
Где прямо в соль губу макает Обь
И свежий лёд её целует в лоб.

Вернись, я вновь и вновь молю, вернись
И отвернись от северных зарниц
Мир одноглаз без одного из нас
Верни же нам хотя бы пару глаз
Чтоб я от вологодских островов
«Алеша, жду тебя и будь здоров»
Сказать мог искренне.

1971 - 74 гг.

ВОЛОХОНСКИЙ Анри — родился в 1936 году, вырос в Ленинграде. Школу окончил как раз когда умер Сталин, а студентом был в либеральные времена. Тогда же начал писать стихи. Завершив высшее образование в Химико-фармацевтическом институте, изучал затем каббалистическую литературу приватно. Десять лет путешествовал в качестве ученого-гидрохимика — по Северной Атлантике и по карельским и русским озёрам.

В 1971-73 гг. опубликовал несколько научных работ о симметрии фундаментальных форм.

Всё последнее десятилетие сочинительствовал в дружеском общении с Алексеем Хвостенко. Несколько пьес, басен, стихов, около сорока песен — плоды совместных усилий. В СССР опубликовал лишь десяток строк стихов.

С 1 января 1974 года живёт в Израиле, изучает тивериадских рыб.

ИЗ ЦИКЛА «ЕВРОПА — ОСТРОВ»

РИМСКАЯ БАЛЛАДА

Шоссе пестрит, как черновик.
Мотоциклист мелькнет размыто.
И рыжим пластиком прикрыта
Физиономия-балык.
Лиловых выхлопов парик...
Но что там — стрижено ли, брито?
Синьор? Старуха? Синьорита?
Мотоциклетный шлем безлик!

Свирепый двухколесный бык
Рога в закат воткнул, как пики —
И тонет в мертвом, злобном рыке
Вечерний голос базилик.
Стекло швырнет мгновенный блик,
И окна станут множить блики...
Столбы, дорога, век — безлики,
Мотоциклетный шлем — безлик...

А мы, как прежде — чик-чирик —
Сидим в своей стеклянной Трое...
Но будет действие второе,
И Шлиман сроев Гиссарлык.
Раскопщики подымут крик,
Когда он что-нибудь откроет.
Ахиллов шлем? Да, нет — пустое:
Мотоциклетный шлем безлик!

Что тут подделаешь, старик?
Ты ошибешься непременно —
Кто тут Парис, и кто — Елена:
Мотоциклетный шлем безлик...

1975

СНЕГ В ПАРИЖЕ

Ночным десантом, саранчой
Над каждой лужей,
Над Эйфелевой каланчой, над углем кружев,
На зеркала, на фонари
В ночи речистой
Белея падали в Париж парашютисты
И возле каждого кафе
Заложниц брали,
В чертовок превращая фей — чтобы не ввали...

Снег предлагал антистриптиз,
Привычки рушил,
Ломился чистотою риз
В чужие души,
Он верил только сам себе...
О, как бесстыже
Хозяйничал в чужой судьбе
Тот снег в Париже!
Рябил чернильный сон воды,
Бродил садами,
Морозил груди и зады
В кинорекламе,
Как пьяный гангстер, ослеплял
Автомобили,
Химерам пасти залеплял —
Чтоб не завыли!

Хоть час, да мой!
Хоть до зари —
Грязь будет белой!
И старым липам в Тюильри
Прически делал...

Людовик, бронзовый старик,
Не веря в утро,
Надменно пудрил свой парик
Неверной пудрой,
А завтра — завтра хоть потоп
Все к чёрту слижет,
Зато сегодня он — зато...
Он — снег в Париже!

Снег, сотрясатель бытия
Афиш и спален —
Он был — мой брат, он был, как я,
Парадоксален,
Как знак «тринадцать» на часах,
Как в Ницце — лыжи,
Как хиппи в Муромских лесах,
Как... снег — в Париже!

1976

БЕТАКИ Василий — родился в 1930 году. Окончил в 1960 году Литературный институт. Как переводчик английской классической и американской поэзии участвовал более чем в двадцати книгах. Переводил Байрона, Шекспира, В. Скотта, Р. Киплинга, Л. Хьюза, а также немецких и курдских поэтов.

Единственный сборник стихов, выпущенный в Советском Союзе, — «Земное пламя» (Ленинград, 1965). В 1972 году исключен из Союза писателей. С 1973 года живет в Париже. Здесь опубликована его книга «Замыкание времени».

* * *

Что-то в белых снегах беспокойное,
Что-то в беглых словах непристойное.
Просыпаюсь с утра — и не хочется жить.
Вечерами я пьян — хоть не хочется пить.

Наказал меня Бог даже больше, чем мог —
Все, чем жил я, — отнял, а меня уберег.
Так зачем я Ему, да и мне белый свет,
Лучше снова в тюрьму или под пистолет.

Только знаю — за что меня Бог наказал,
Я когда-то кричал и в ночи повторял,
Что, мол, чашу свою до конца я допью,
Мол, чужие грехи и свои искуплю.

За свободу — кричал — я и жизнь вам отдам,
Хоть в Сучан посылай, хоть сейчас в Магадан.
Я не буду молчать, я не стал подлецом —
А ворье и конвой мне смеялись в лицо.

Словно ветром меня в лагеря понесло,
Никогда не жалел я о дерзости слов.
И вернулся сюда, где этапов не ждут,
Где считают года на копейки минут,
Где уюты блюдут, городят города,
Где других узнают, а себя никогда.

Я вернулся сюда, как из мира теней,
Думал — все отстрадал, думал пой, мол, да пей:
Но в глазах суета беспокойных снегов,
Лай собак и барак и тоска вечеров.
Я бы кинулся в крик — там остались друзья —
Только губы твои утешали меня.

Но за гордость мою Бог настиг, наказал,
И тебя у меня просто взял и отнял.
Как прикладом в висок, глухо грянул звонок,
Эх, зачем не за мной вы пришли на порог.

* * *

Ветер красной играет листвою,
Словно карты крапленные мечет,
И березы стоят над душой,
Как стоят над покойником свечи.

Звон протяжный не молкнет в висках.
Может, праведна кровь — я не знаю.
Так к отбою звонят в лагерях,
Ржавой рельсой над зоной бряца.

Только это не крик и не страх,
На словах и стихах не клянутся.
Просто я в подмосковных лесах,
Мне сюда никогда не вернуться.

Москва, 1975 г.

* * *

Воробы и грабители, посетители кладбища,	
Где могильные плиты —	черно-белые клавиши,
По которым ударят	пальцы Господа Бога
В час, когда засверкает	Страшный Суд у порога.
Воробы и любители похоронной процессии,	

* * *

И бьется, вьется пена паутиной,
цепляясь за песок, спасаясь тиной,
легко смеясь, с волной своей сливаясь,
в прекраснейшем из свитков воплощаясь.

На свитке том леса, моря, долины,
холмы, сады, озера, гор вершины,
пруды, ручьи, плоды, моря тюльпанов,
и ветер их колышет неустанно.

На свитке том ущелья, руки, плечи,
слова, следы, стекло, хрусталь и свечи,
пещеры, снег, холмы, кусты, валежник,
движение губ, цветы, среди них подснежник.

На свитке том окно, ключи и кручи,
крыльцо и свет в окне, испуг летучий,
зрачки и страх в зрачках, и дно, и стужа,
соломинка, волна, в волне весь ужас.

Свеча и встреча, хворост, пепел, розы,
огонь и воск, прожилки, пчелы, осы,
дрова и пламя близятся к разлуке,
дыханье, изголовье, веки, руки.

Висок горячий, жуть и перепутья,
кромешный мрак, и плоть, сухие прутья,
подробный шепот, волосы, обманы,
соломинка, осока и тюльпаны.

На свитке том отчаянье, удушье,
кромешный мрак, и жуть, в зубах подушка,
щемящие слова, часы без стрелок,
стальные отблески и ужас переделок.

Копье, подкова, гвоздь и получасье,
молчанья, ключ на дне, кольцо на счастье,
свеча, ее огарок, остров, море,
отчаянная чайка на просторе.

Огонь, кольцо, огонь, моря тюльпанов,
и ветер их колышет неустанно.
Слова, слова, слова и Воскресенье,
Сиреневая Купина и Песни Пенье.

И бьется, вьется пена паутиной,
цепляясь за песок, спасаясь тиной,
легко смеясь, с волной своей сливаясь,
в прекраснейший из свитков воплощаясь.

* * *

Долгим ОООО над могилой дружбы.
Плачь, о сердце! О сердце, плачь!
Многохолмием многодушье.
Раструбился на УУУУ трубач.

Оглуши себя! О, не слушай!
Обмани себя! Ослепи!
Бейся, сердце, о сердце, глуше!
И беги с тех холмов! Беги!

Урони себя навзничь в волны!
И омойся морской волной!
И не помни себя! Не помни!
И очнись! И пройди стороной!

ГЛАЗОВА Марина — родилась в 1938 году в Москве. В 1961 году окончила Институт восточных языков при МГУ. В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию по языкознанию. С 1961 по 1972 гг. преподавала вьетнамский язык в МГУ. В 1972 году эмигрировала с семьей из России. Сейчас живёт в Новой Шотландии (Канада).

Россия и действительность

А. Марченко,
М. Тарусевич

«Tercium datur» — третье дано

Возможно, наша работа не содержит ничего нового, ничего такого, что не было уже сказано. В этом случае авторы оправдывают себя тем, что они практически лишены информации, кроме случайных ее обрывков. И надеются, что работа может быть интересна хотя бы как заявление одной из неофициальных внутрисоветских точек зрения на актуальную ситуацию.

Конечно, мы хотели бы, чтобы эта точка зрения стала известна нашим соотечественникам — не для обращения всех в свою веру, тем более не ради влияния на политику своей страны (мы достаточно пессимистически относимся к возможным поворотам политики советского правительства). Нам было бы интересно узнать мнение независимо мыслящих людей по затронутым здесь вопросам. Но и на этот счет мы лишены оптимизма: в СССР такая работа не может получить широкого распространения.

Поэтому мы адресуем ее в основном западному обществу (что, конечно, отразилось на содержании). Мы критикуем не столько внешнюю и внутреннюю политику советского правительства — критиковать ее бесполезно, можно лишь фиксировать имманентно присущие ей свойства, — сколько политику западных государств, активно стремящихся к сближению с Советским Союзом.

Главный аргумент этой политики — обеспечение безопасности, устранение угрозы войны. Мы, как и все

нормальные люди, считаем эту цель благой и достойной усилий. Однако, по нашему мнению, избранный Западом путь не ведет к этой цели. Более того, нам кажется, что на этом пути, нисколько не уменьшающем военную опасность, Западу грозит постепенная утрата независимости, подчинение коммунистическому влиянию и, как следствие, ослабление перед лицом восточного блока, всегда готового воспользоваться слабостью «идеологического» противника.

Мы полагаем, что к реальному и длительному (а может быть, и «вечному») миру могло бы привести лишь изменение основных установок коммунистических правительств, действительное, а не формальное сближение Востока и Запада; но этого не произойдет без побуждений извне, а Запад упускает даже те небольшие возможности влияния на социалистический лагерь, какие предоставляются современной политической ситуацией.

Если западные сторонники разрядки напряженности надеялись на сближение с Советским Союзом за счет переговоров, взаимных компромиссов и шагов друг другу навстречу, то даже короткое время после Совещания в Хельсинки должно было развеять эти надежды. Никаких принципиальных уступок, никакого сближения, кроме чисто формальных, подконтрольных визитов, политика компромиссов не дает. Если бы сложность взаимоотношений состояла лишь в разном толковании слов — эту сложность можно преодолеть. Но у коммунистического руководства слова вообще не наполнены реальным содержанием, а точнее — произвольно наполняются любым, исходя из требований момента. Например, у Ленина слово «демократия» обозначало разгон Учредительного собрания, введение цензуры печати, «красный террор» (в относительно еще небольших масштабах). «Демократия» у Сталина значила кровавую расправу с народом и с соратниками по партии. Сегодня советская демо-

кратия — это всеобщее обязательное подчинение правительственному диктату. Точно так же девальвированы слова «сотрудничество», «сосуществование» и т. п. Для того, чтобы это понять и предвидеть последствия, не нужны испытательные сроки ни в два месяца, ни в два года. Невозможность *договориться* с коммунистическим правительством определяется самой сущностью *всегда правой, единственно верной* и поэтому *всегда диктаторской* системы.

Мы надеемся показать это, напомнив нашему читателю некоторые теоретические посылки ленинизма и их практическое применение в политике советского государства.

I

Период конфронтации ознаменовался созданием и противостоянием двух военных блоков: Варшавского и НАТО. Эра разрядки предполагает разоружение и роспуск этих блоков.

Но цели этих блоков совершенно различны. Блок НАТО — это добровольное объединение военных сил Запада против возможной агрессии с Востока. Задачи Варшавского блока иные: помимо нагнетания напряженности в Европе (в агрессию с Запада ведь никто не верит), он имеет чисто внутреннюю цель — удерживать в повиновении Советскому Союзу страны, входящие в этот блок. За всю историю НАТО войска этой организации ни разу не применялись против какого-либо из ее членов за непослушание и неповиновение — пример Франции подтверждает это. Не висит угроза вторжения войск НАТО и в страну, где на выборах вдруг победили коммунисты.

Может ли кто-либо из членов Варшавского пакта позволить себе то, что сделала Франция? Или Турция?

Народы Восточной Европы сегодня подчиняются силе оружия или постоянной угрозе «оказания брат-

ской помощи», то есть вторжения (Германия — 1954 г., Венгрия — 1956 г., Чехословакия — 1968 г.).

На Западе на всех уровнях постоянно ведутся дискуссии по любому политическому вопросу, в том числе и о разоружении. То в парламенте депутаты ставят на голосование вопрос о сокращении военного бюджета, военного персонала, о выводе своих войск с чужих территорий; то организуются демонстрации с подобными требованиями; то газета, не спросясь, публикует секретные документы Пентагона. Действия правительства находятся под постоянным контролем общественности.

В СССР и его вассальных странах картина обратная: не государство контролируется обществом, а общество государством. Смешно даже подумать, что вопросы, касающиеся военной подготовки, могли бы обсуждаться на собраниях, в прессе или даже в Верховном Совете. Ну, скажем, вопрос о военном бюджете. Нам сообщают, что военный бюджет СССР на 1975 год составляет 17 миллиардов рублей. А в США — около 100 миллиардов долларов! И утверждая этот бюджет, ни один наш депутат не воскликнул в панике: «Братцы, измена! Разоружаемся перед лицом мирового империализма!» Депутаты спокойны: сказано выше, что военная мощь СССР эквивалентна военной мощи США. Каким образом — при почти шестикратной разнице бюджетов? Не нашего ума дело.

Из сказанного следует, что как существование НАТО и Варшавского пакта, так и их роспуск (или любые другие аспекты разоружения) для двух мировых систем — демократической и тоталитарной — имеют совершенно различное значение. Для Запада роспуск НАТО означает действительную ликвидацию этого военного союза с его особыми функциями. Для Восточной Европы роспуск Варшавского блока равным счетом ничего не значит (кроме пропагандистского звона): контроль над зависимыми странами сохранит-

ся, тот же кулак, что и сегодня, будет маячить перед носом Западной Европы.

Миролюбивые декларации советских руководителей находят отклик у западного общества, хотя кое у кого и возникает сомнение в их искренности. Попробуем оценить их с точки зрения теории и практики самих коммунистов.

Основатель советского государства В. И. Ленин так сформулировал отношение этого государства к вопросу о разоружении: «Политики, говорящие о разоружении и борьбе масс за него — либо политические глупцы, либо наивные люди». Ну, правильно: ведь массы — собственно, руководящая массами партия коммунистов — не могут же разоружаться, раз им предстоят бои с империализмом за победу коммунизма во всем мире. Именно такова была цель, на которую ориентировались большевики при Октябрьском перевороте. Однако очень скоро выяснилось, что «научное предвидение» (выражение самого Ленина) насчет незамедлительной мировой революции не оправдалось; и в работах Ленина появляются слова о мирном сосуществовании, о мире с капитализмом — их любят цитировать нынешние «верные ленинцы». Они при этом умалчивают, что принцип мирного сосуществования разумелся как временный, как один из видов тактики лавирования: «О необходимости готовить революционную войну — в случае победы социализма в одной стране и сохранения капитализма в соседних странах — говорила наша пресса всегда. Это бесспорно» (т. 35, стр. 343-344). А потом: «Пока мы слабее, мы должны лавировать, сталкивать и стравливать эти государства между собой. Но как только мы укрепим и станем сильнее империализма, мы сразу же схватим его за шиворот»*.

* Между прочим, ленинская тактика сталкивания и стравливания между собой других стран на практике оказалась небезвред-

Говоря о мирном сосуществовании, Ленин всегда разъяснял: речь идет о передышке, необходимой Советской России для того, чтобы окрепнуть, чтобы «иметь вполне развязанные руки для победы над буржуазией сначала в своей собственной стране» (т. 35, стр. 244).

Ленинский принцип мирного сосуществования ни в коем случае не отменяет цель коммунистов России — мировую революцию, революционную войну с партнером по мирному сосуществованию («Победить все империалистические державы, это, конечно, было бы самое приятное...»), а лишь отодвигает ее на время («...но мы довольно долго не в состоянии это сделать») (т. 42, стр. 105).

Нынешние советские лидеры, вероятно, знакомы с изложенными здесь принципами ленинской внешней политики не понаслышке. И вот они, с одной стороны, именуют себя верными ленинцами, до буквы следующими ленинизму, оспаривают это почетное звание у соседних коммунистов и друг у друга. С другой стороны, они пытаются уверить весь свет, всё человечество, что ни о чем так не болеют душой, как о покое, о мире на вечные времена. Где-то здесь демагогия: либо советские лидеры упоминают имя Ленина всуе, либо насчет мира во всем мире высказываются ради пропаганды — как и учил их Ленин.

Те, кого называют сторонниками разрядки (если они не коммунисты), либо не знают и не хотят знать ленинского учения о так называемом мирном сосущест-

ной. Ленин лично руководил претворением в жизнь идеи о превращении побежденной Германии в буфер против Англии, Франции, Америки. Гениальный провидец не дожил до 41-го года, когда наш народ крепко врезался лбом в этот буфер и заплатил за ленинскую тактику лавирования 20-ю миллионами жизней. Создавался дорогой ценой еще один буфер против империализма — Китай; как бы не оказался этот буфер последним творением «ленинской внешней политики».

вовании, либо не принимают его всерьез. Иначе говоря, эти сторонники разрядки игнорируют партийную принадлежность, идеологию советского руководства. Сами же советские коммунисты пытаются сгладить противоречие между вечным учением и сегодняшней своей тактикой следующим образом: выражение «революционная война» заменяют выражением «идеологическая борьба», «борьба двух идеологий». Итак, с одной стороны, мы, верные заветам Ильича (первого), вели, ведем и будет вести непримиримую, бескомпромиссную войну, то бишь борьбу, с мировым империализмом; с другой стороны, в согласии с политикой Ильича (второго), война эта будет не атомной, а бескровной — то есть словесной, не насильственной, так надо понимать?

Скоро 60 лет последовательно сменявшие друг друга вожди советского народа непрестанно ведут идеологическую борьбу внутри страны. Идеологическими противниками в разное время оказывались: классово чуждые «элементы» (дворяне и дети дворян, кулаки вместе с древними их предками и грудными детьми, священники, интеллигенты по мере их ненадобности и т. д.); члены других партий; коммунисты-оппозиционеры; просто коммунисты — члены их же партии; инженеры; биологи; военные; писатели; предшественники данного вождя; латыши; коминтерновцы; немцы Поволжья и вообще русские немцы; калмыки; евреи — почему-то преимущественно писатели и врачи; крымские татары; баптисты; иеговисты; буддисты; вообще верующие; националисты — украинские, литовские, армянские и другие; сионисты; христианские демократы; юные коммунары; просто так люди, с убеждениями и без оных. Словом, идеологический враг в нашей стране то и дело меняет лицо и свой количественный состав — от десятков миллионов до нескольких тысяч. Но никогда этот враг не дремлет: никогда не пустовали политические лагеря, никогда

не бездействовали «идеологические» статьи уголовного кодекса. Вот на этот аспект внутренней идеологической борьбы мы и хотим обратить внимание — на методы ее ведения. Значит так. Идеологический противник написал книжку. — Оппонент ему возразил: «Семь лет строгого режима». Рассказал анекдот. — «Десять лет без права переписки». Изучал работу Ленина «Государство и революция». — «Расстрелять».

Цель идеологической борьбы, проводимой партийно-советским руководством внутри страны, — достижение абсолютного единодушия, то есть абсолютного подчинения граждан правящей верхушке. Подчинения не только действий, но и сознания, и воли; всех, до единого человека. Нет, это не борьба за насаждение коммунистической идеологии — это борьба за прочность своего места у кормила, за власть (впрочем, может быть, в этом единственно и состоит коммунистическая идеология). Достичь этой цели можно только одним способом — насилием.

Ну, а как обстоит дело с идеологической борьбой советских коммунистов против зарубежных оппонентов? Кто они, эти оппоненты, и каковы в этом случае методы дискуссий?

. Самые опасные идеологические противники советских коммунистов, оказывается, не империалисты Запада, а коммунисты Востока. Даже в период самой острой конфронтации с Западом советская пресса не обрушивалась на него с такой яростью, не обливала его такой грязью, такой почти нецензурной бранью, как Китай, Албанию, Чехословакию 68-го. Кем только ни был Иосип Броз Тито за недолгую историю взаимоотношений СССР с Югославией! — И верным учеником и соратником, и бандитом и наймитом, и снова — героем, вождем братского народа...

В социалистическом лагере господствует тот же принцип сосуществования, что и внутри СССР: жесткое требование абсолютного единодушия под дикта-

том Старшего Брата. И те же методы установления единодушия: «карыеты скорой братской помощи» — танки.

Могут возразить, что реальность не всегда соответствует представленной схеме: несмотря на диктаторские устремления КПСС, живет и здравствует независимая Югославия. Румыния и Албания не оккупированы подобно Чехословакии, да и с Китаем идет всё же в основном словесная, то есть «идеологическая» война. Можно и еще дополнить: в Советском Союзе сегодня не все инакомыслящие сидят за решеткой — нескольких выкинули вон из страны, одного шельмуют в печати, только и всего.

Но дело в том, что Китай огромен и силен, даже и не уравнившись еще в ядерном потенциале с СССР. Чаушеску в 68-м году заявил, что попросит военной помощи с Запада, если братские войска нарушат границу Румынии. Тито предупредил, что начнет партизанскую войну. Солженицын — всемирно известный писатель, Нобелевский лауреат, его втихаря не изведешь. Сахарова, создателя советской водородной бомбы, «законно» в психушку не упрячешь и т. д. То есть не право, не миролюбие, не гуманность, не этические принципы руководят внешней и внутренней политикой СССР. КПСС считается только с силой*.

Сегодня эра «мирного сосуществования», эра идеологической борьбы (взамен холодной войны) угрожает уже не только гражданам СССР, не только брат-

* Между прочим, она пасует и перед силою духа — не из уважения к этому качеству, а из мистического страха перед ним. Если бы о Чехословакии знали, что она будет сопротивляться, будет сражаться до последнего мужчины, как это было бы в Югославии, — еще подумали бы, вводить ли туда войска. Возможно, что это свойство личности играет свою роль и в судьбах Сахарова, Солженицына, нескольких других советских диссидентов. Правда, не будь внешних сдерживающих факторов, их уничтожили бы; но всё же основная цель режима — покорить, поработить, сломить.

ским странам, но всему миру. Сторонники так называемой разрядки, садясь за стол переговоров с СССР, не задумываются о том, что имеют дело не с обычным партнером, и не верят, что диктат СССР сможет распространиться на независимые государства Запада.

Заметим, что, например, Чехословакия до 48 года тоже могла считать себя почти независимой, но тесный союз с СССР довел ее до нынешнего состояния. Чехословакию, Венгрию, ГДР мы приводим к повиновению силой оружия. А Франции, Англии или ФРГ пока что это не грозит. Пока что СССР пытается — и иногда небезуспешно — навязать им свою волю другими способами. От внешней политики независимых государств до судеб отдельных их граждан — в этом широком диапазоне пытается Советский Союз добиться своего влияния (подробнее об этом будет сказано ниже), и нынешняя политика разрядки безусловно усиливает влияние СССР на страны мира. В нынешнем угаре разрядки демократические страны Запада наперебой заключают политические и экономические соглашения, соперничают друг с другом в экономическом и культурном сотрудничестве с Советским Союзом. Политика разрядки не объединяет, а разобщает западный мир, помогает Советскому Союзу добиваться — во имя разрядки — политических уступок и компромиссов со стороны Запада.

Киссинджер, наиболее полно и последовательно выражающий позицию западных сторонников разрядки, говорит: поскольку альтернатива разрядке — атомная война, выбора нет; что касается этических принципов и международных норм, мы от них не отказываемся, мы будем провозглашать их на всех международных форумах и протестовать против их нарушения (то есть оставим для словесности, а не для политических действий).

Формула «альтернатива разрядке — война» пред-

полагает агрессивные настроения партнера, во всяком случае его готовность развязать войну по любому спорному поводу. Если так — когда и какого агрессора удержали от войны договоры и переговоры? Уж сколько нянчился весь мир с Гитлером, Чехословакию ему скормили; куда уж бóльшая «разрядка» — СССР с Германией Польшу поделили на взаимовыгодных условиях, эшелоны с хлебом шли из России в Германию еще в июне 41-го года. Молотов фотографировался в обнимку с Риббентропом, чуть не накануне войны провозглашал: «Единая и сильная Германия — оплот мира и безопасности в Европе». Но Гитлер наплевал на все договоры и соглашения.

Можно, конечно, избежать войны, даже имея дело с агрессором: сдаться ему без боя, уступив свои позиции сразу или постепенно, шаг за шагом. Политика разрядки в теперешнем ее виде ведет по этому пути.

Пока сохраняется агрессивная, стремящаяся к доминированию в мире идеология — не коммунизма, но коммунистов, пока СССР настаивает на своей идеологической непримиримости, так называемая разрядка и мирное сосуществование останутся лишь фразами в пропагандистском арсенале. «Идеология», которая держится насилием, вызывала и будет вызывать локальные военные конфликты типа войны во Вьетнаме — а на очереди еще Корея и, несмотря ни на какие соглашения в Хельсинки, пожалуй, и Германия. Невмешательство Запада (то есть США, конечно, о других и речи нет) обеспечивает победу коммунистической диктатуры в таких войнах. Ведь СССР не стесняется оказать «помощь»: финансовую, вооружением, военными консультантами и специалистами. Итог — расширение (или насильственное сохранение) сферы влияния СССР. Вмешательство же США (при любом исходе конфликта такого рода) ослабляет их позиции, если не в отношении сфер влияния, то вследствие расшатывания собственной политической системы: в

самой стране неизбежно антивоенное движение, рост оппозиционных настроений. — Ничто подобное не грозит советской политической системе, где оппозиционные настроения подавляются чуть ли не до их возникновения.

Нет, альтернатива войне — не разрядка по-московски, а последовательное противостояние коммунистическому диктату во всех точках земного шара. Такая позиция не исключает переговоров о взаимной безопасности. И всё же, нам кажется, реальное равновесие сил может быть достигнуто не соглашением (когда партнер, как провинциальный купец, норовит тебя надуть, обмерить и обвесить), а независимой оценкой ситуации. Политическое же равновесие может быть обеспечено лишь единением США и Западной Европы, общим их отпором «идеологическому» наступлению коммунистов и их союзников. Чем тратить напрасные усилия на достижение бумажных политических компромиссов со стороны СССР, надежнее было бы Западной Европе и США приложить те же усилия для достижения согласованности друг с другом.

Политика противостояния не принесла бы сегодня ее сторонникам лавров миротворцев (но как быстро вянут эти лавры!). Зато она оградила бы политических деятелей от позорной славы Чемберлена и Даладье — мюнхенских миротворцев. Такая политика сняла бы и с народов Запада ответственность за соучастие в преступлениях против мира и против людей.

Настоящая, а не фальшивая разрядка напряженности может быть достигнута лишь при условии сосуществования идеологий; при условии идеологического мира взамен войны. *Это единственная действительная альтернатива войне.*

II

К настоящему моменту наивысшей точкой уровня шума вокруг разрядки напряженности стало Совещание глав правительств в Хельсинки, Заключительный акт этого Совещания. В центре Заключительного акта — декларация о неприкосновенности границ государств, о неприменении силы или угрозы силой, о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Отныне «государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга». «... Они будут воздерживаться от любых действий... против территориальной целостности... или единства любого государства-участника».

До разгрома фашистской Германии военное вмешательство в политическую карту Европы, насколько мы знаем, осуществляли лишь две страны: Германия и СССР. В результате такой политики Германия как территориальная целостность перестала существовать. Зато СССР завоевал кусок Финляндии; без боя, за счет сговора с Гитлером, отхватил от Польши Западную Украину и Западную Белоруссию, от Румынии — Бессарабию; «мирным путем», то есть путем свержения буржуазных правительств и ввода советских войск, заполучил прибалтийские страны — Литву, Латвию, Эстонию (а потом еще несколько лет отвоевывал эти территории у их народов). Ныне, загородившись полосой «братских стран», СССР не имеет непосредственных территориальных претензий к Европе.

Сегодняшние границы на европейском континенте окончательно проведены второй мировой войной. Мы не беремся судить, насколько исторически оправдано и справедливо это было сделано, но нам не приходилось слышать, чтобы государства Европы посягали на территории друг друга, пытались бы изменить границы военным путем (Кипр — единственное исключение, но конфликт в конце концов решается мирно).

Если все границы в Европе сейчас стабильны, то разделение Германии было до сих пор намечено пунктиром. Тридцать лет — слишком небольшой исторический срок для того, чтобы произвольно проведенная поперек единой страны линия воспринималась бы ее гражданами как граница между двумя государствами. Однако Декларация в Хельсинки никак не оговаривает ситуацию с Германией, и, значит, пунктир превращен в жирную черту, узаконившую существование двух Германий — то есть нарушение территориальной целостности и единства европейского государства. Два правительства — значит, две страны (да к тому же еще особый статут Берлина!) — к чему это может привести? Неужели Запад надеется, что в результате мирных переговоров, длись они хоть сто лет, Советский Союз согласится на объединение ФРГ и ГДР в действительно суверенное, не зависящее от СССР государство? Ну, уж нет. Либо немцам придется привыкнуть к разделу, к «неприкосновенной границе»* и в конце концов образовать две нации; либо, что вероятнее, при удобной ситуации объединение произойдет так, как это желательно для СССР, то есть по вьетнамскому варианту (в лучшем случае — путем «мирной» капитуляции Запада в этом вопросе).

Положение с Германией чревато войной в Европе, и никакие Декларации 75 года эту опасность ничуть не уменьшили.

Президент Форд перед поездкой в Хельсинки заверил американцев, что США не признают законности присоединения прибалтийских стран к СССР. Но при условии *уважения* имеющейся сегодня территориальной целостности СССР — в какой форме может реализоваться эта позиция США? В самой Литве, Латвии,

* «Неприкосновенность» Берлинской стены со стороны Восточного сектора испытали на себе многие, да лишь немногим удаётся рассказать об этом.

Эстонии — кто пытался добиваться их независимости, тех уже косточки сгнили по Воркутам и Норильскам. А кто сегодня всего только заявляет свою позицию, идентичную позиции США и лично Форда, для тех находится место в Пермских лагерях. Немало литовцев рассеяно — кто в Сибири и за Полярным кругом, кто в эмиграции (то же и другие прибалты). Прибалтика постепенно заселяется русскими. Случись снова народное движение — снова повторилось бы кровавое избиение этих народов при таком же невмешательстве Запада (плюс его контакты с СССР во всех областях на основе взаимного уважения).

Вообще, что касается принципов равноправия народов, их права распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела стран-участниц, то не только подписание Декларации этих принципов совместно с Советским Союзом, но даже само их обсуждение с ним выглядит пародийно, превращает Совещание в Хельсинки в шутовскую комедию. Не семь столетий, а всего лишь семь лет прошло со дня оккупации Чехословакии. Живы родители и друзья Яна Палаха; в эмиграции, в тюрьме или, в лучшем случае, не у дел — бывшие сторонники Пражской весны. Не реабилитированы семеро московских демонстрантов, выступивших в 68-м году в защиту того самого принципа, под которым сегодня поставили подписи Брежнев, Гусак и Форд. Понятно: невозможно сегодня вернуться к августу 68-го года, поставить на прежнее место Дубчека, возратить Чехословакии хотя бы тот уровень «суверенности», какого она достигла к моменту вторжения. Но хотя бы (в качестве гарантии провозглашенного принципа) только добивались — ну, скажем, полной реабилитации политических и общественных деятелей Пражской весны, возвращения им в своей стране доброго имени, чести, работы, наконец... Скажут: самый текст Декларации, сама детализация принципа невмешательства *содержит в подтексте*

осуждение вторжения 68-го года. Хорошо, пусть недавнее прошлое будет уроком, который «держат в уме». Ну, а если повторилась бы теперь, после Совещания, ситуация 68-го года — уважаемые дипломаты Запада, вы полагаете, вместо танков Брежнев послал бы в Прагу (Варшаву, Будапешт и т. д.) корпус туристов-пропагандистов? Вы действительно думаете, что вторжение не повторилось бы? Если так, то наивнее вас нет людей на всем земном шаре.

Если же Запад не столь непростительно наивен, чтобы надеяться на это, то тогда, значит, для Запада, как и для Москвы, вся эта шумиха вокруг Совещания, Декларации и вообще разрядки имеет чисто пропагандистское значение, провозглашенный же принцип невмешательства — это именно обещание Запада не вмешиваться и впредь в «спор славян между собой».

При этом Запад, вероятно, надеется, что ситуация 68-го года не повторится, то есть что ни одна восточноевропейская страна не взбунтуется даже в таких умеренных формах, как ЧССР. Тогда принципы Декларации не подвергнутся испытанию на прочность, и мероприятия разрядки не будут дискредитированы в глазах общества, как дискредитирована деятельность Организации Объединенных Наций.

Мы не призываем Запад ни к повседневному, ни к эпизодическому вмешательству в дела Восточной Европы. С 45 года она предоставлена своей судьбе. Вмешательство осуществляется постоянно, повседневно, во всех сферах жизни «суверенных» Чехословакии, Польши, Венгрии, ГДР, Болгарии. Оно осуществляется Советским Союзом через полностью зависимые правительства этих стран. Теперь же эта судьба может стать еще горше из-за того, что Запад рьяно участвует вместе с Москвой в переименовании понятий: «вассальный» называет «суверенным», «угнетение» — «свободой», «вмешательство» — «невмешательством».

Советский Союз, в соответствии со своей марксист-

ско-ленинской идеологией, не просто переименовывает понятия, но трактует их диалектически. Согласно его диалектике, принцип невмешательства, как пьезокристалл, обладает в разных направлениях совершенно различными свойствами. Вот что считается не только вмешательством Запада во внутренние дела СССР, но и подрывной деятельностью: листовки в защиту политзаключенных; западные радиопередачи на русском языке*; «Вестник РСХД»; книга Конквеста «Большой террор»; книга Реддюза «Подпольная Россия» — тем более; «Башня стражи» (журнал свидетелей Иеговы); даже Библию почтовая таможня СССР не пропускает в страну. Задача для первоклассников: что будет с иностранным туристом, привезшим в СССР для Рабиновича 10 учебников иврита (мы уже не спрашиваем, что будет с самим Рабиновичем)? Чем подобное просветительство кончится для иностранного журналиста? Для дипломата? Ответ, как в школьном задачнике, однозначен: за подрывную деятельность вышлют из страны.

А вот принцип невмешательства в обратном направлении, с Востока на Запад. Начнем с широко известного исторического эпизода.

1918 год — первый год советской власти. 4 ноября на вокзале в Берлине разбился ящик советской диппочты — он был наполнен листовками на немецком языке, отпечатанными в Москве и предназначенными для передачи немецким коммунистам. Листовки призывали к революции в Германии. Советская Россия и Германия были в то время связаны Брестским договором, один из пунктов которого содержал взаимное обязательство сторон не вести враждебную пропаганду и не поддерживать антиправительственных сил

* В обвинительных заключениях нередко встречается формулировка: «Будучи антисоветски настроен, слушал передачи «Голоса Америки», «Би-Би-Си»...

внутри страны. Мы не знаем, как реагировала советская власть на ноту протеста Германии. Зато известно, что Ленин очень веселился: «Германское правительство будто раньше не знало, что наше посольство вносит революционную заразу...» (т. 37, стр. 173). По мере того как «научное предвидение» Ленина относительно близкой мировой революции отодвигалось на неопределенный срок, революционная деятельность СССР в чужих странах всё менее афишировалась и одновременно всё более превращалась в инспирацию беспорядков и заговоров, теряя характер помощи братьям по партии. В 1918 году — листовки в дипломатической почте, в последующие годы — деятельность агентов Коминтерна.

Ныне проблема снабжения компартий революционной литературой, как и проблема засылки агентов из Москвы, — для Запада неактуальна. Вполне легально западные компартии печатают и распространяют свои газеты, самую разнообразную пропагандистскую и агитационную литературу (вот только нет уверенности, что финансовая основа этой пропаганды — исключительно членские взносы). Члены ЦК зарубежных компартий приезжают в СССР — на съезд ли, на отдых, для обмена опытом, для выработки единой тактики*. Это всё никто — ни Запад, ни СССР — не считает вмешательством во внутренние дела ни в период «холодной войны», ни в эпоху разрядки. Весь мир, включая американскую общественность, кричал о вмешательстве США во вьетнамские дела. Правитель-

* Представим себе хотя бы евангельских христиан-баптистов, отправившихся из СССР в Америку для обмена опытом; ненаучная фантастика! Да любого инакомыслящего в СССР и без поездок обвиняют в связях с Западом, и нет обвинения весомее не только в глазах «правосудия», но и в представлении общества — так уж приучили. Вас напечатал «Фонд Герцена», «Посев», Гедройц — и уже Шаламов или Окуджава спешат откреститься от публикации, а то и от самих произведений.

ство США под давлением собственной общественности должно было прекратить свою необъявленную войну (и в итоге Южный Вьетнам завоеван Северным с помощью советского оружия).

Палата представителей Конгресса США, вопреки пожеланиям президента, во вред военным интересам своей страны, продолжила эмбарго на поставки вооружения Турции, союзнице США по НАТО. Так расценила американская общественность роль Турции в кипрском конфликте, и таковы последствия общественного мнения в США. Но вооружение Северного Вьетнама против Южного Советский Союз не считает «вмешательством», и, кажется, никто во всем мире не обвинил СССР во вмешательстве во внутренние дела Ирака, хотя курдов там выслеживали советские станции слежения, расстреливали ракеты советского производства. Против этого выступил только А. Д. Сахаров, которого советская пресса именует «противником разрядки», «сторонником холодной войны». Надо помнить, что в Советском Союзе голос А. Д. Сахарова слышен на такое же расстояние, на какое был слышен человеческий голос до изобретения радио и книгопечатания: его аудитория сужена до размеров жилой комнаты...

Можно ли, имея перед глазами такое сопоставление, говорить о равных возможностях, о равенстве партнеров перед провозглашенными «Принципами взаимоотношений»?

Заклучим второй раздел исторической параллелью (просим прощения у читателя за банальность сравнения, но обойти его невозможно). Вместо собственного пересказа событий приведем несколько больших отрывков из книги А. И. Полторака «Нюрнбергский эпилог» (М., 1965).

«...Когда возник вопрос, направляло ли германское министерство иностранных дел деятельность чехословацких нацистов генлейновцев, он (Риббентроп)

стал категорически отрицать это, осторожно посматривая на обвинителя... Но обвинитель спокойно вынул какой-то документ и передал Риббентропу. То была секретная директива германского посла в Праге, из которой с полной очевидностью явствует, что от имперского министра иностранных дел шли прямые директивы генлейновцам, как вести подрывную работу против пражского правительства... для дальнейшей совместной работы Конраду Генлейну было дано указание поддерживать по возможности тесный контакт с господином рейхсминистром...» (стр. 279-280).

«Вечером 14 марта Риббентроп пригласил в Берлин президента Чехословакии Гаху и министра иностранных дел Хвалковского. Лишь после полуночи (в 1 час 15 минут 15 марта) их провели в имперскую канцелярию. Там они были встречены Гитлером и Риббентропом... Нацистские заправилы были безжалостны. Они буквально терроризировали президента и министра иностранных дел суверенного государства: бегали за ними вокруг стола, совали им ручки и угрожали, что если Гаха и Хвалковский не подпишут предложенный им текст, то Прага завтра же будет в развалинах.

В 4 часа 30 минут утра Гаха, поддерживаемый только впрыскиваниями, решился наконец поставить свою подпись под документом, гласившим: «Президент Чехословацкого государства вручает с полным доверием судьбу чешского народа и чешской страны в руки фюрера Германской империи».

«... Советский обвинитель обратился к Риббентропу с завершающим вопросом:

— Согласны ли вы со мной, что этого документа вам удалось добиться при помощи самого недопустимого давления и под угрозой агрессии?... Какой же еще больший дипломатический нажим можно было оказать на главу суверенного государства?..

— Например, война» (ответ Риббентропа) (стр. 281-283).

«...Ни в чем другом нюрнбергские подсудимые не были так едины, как в том, что Гитлер не силой завоевал Чехословакию, а получил ее в дар от Лондона и Парижа» (стр. 273).

«Смертный приговор независимости Австрии был приведен в исполнение при полной поддержке Лондона... Даже когда в Лондон поступило сообщение о вступлении войск в Вену, английские лидеры продолжали беседы с немецким послом «в чрезвычайно дружеских тонах». Настолько дружеских, что Риббентроп пригласил британского министра иностранных дел посетить Германию. И тот принял это приглашение...» (стр. 272-273).

«...Пока германский генеральный штаб разрабатывал план нападения на ту или иную страну, министерство иностранных дел должно было убаюкивать общественное мнение ширококестовыми заявлениями об уважении Германией суверенитета и территориальной неприкосновенности этой страны» (стр. 283).

Мы не предлагаем читателю вместо «Гаха и Хвалковский» подставить «Дубчек и Свобода», заменить «пригласили» на «привезли» и т. п. Мы просто напоминаем, что сценарий с уважением суверенитета, территориальной неприкосновенностью, невмешательством во внутренние дела уже был поставлен и роли распределялись подобно нынешним.

III

Нынешняя «разрядка напряженности» характеризуется стремлением решить взаимосвязанные проблемы в комплексе. Кроме проблемы безопасности (в которой, каждая по-своему, заинтересованы обе стороны), в программу разрядки входят экономические

и прочие контакты между двумя мировыми системами. Считается, что контакты: а) обеспечивают «мирное сосуществование»; б) взаимовыгодны; в) дают возможность людям и народам лучше понять друг друга.

Как бы отлично ни узнали некоторые рядовые советские граждане Запад — не от них зависит военная или экономическая политика, не от них зависит даже та информация о Западе, которая получит распространение в нашей стране. Речь идет даже не о туристах, а о журналистах, писателях — людях, которые должны были бы формировать общественное мнение. Сколько наших писателей ездили в Китай, как размазывали сусальным золотом и народ, и его руководителей, и достижения! А потом, чуть не в один день, по команде «поворот все вдруг» стало всё наоборот. Путешествовал писатель Виктор Некрасов по Америке и по Италии; его впечатления оказались несозвучными линии партии в тот момент — плохо это обернулось для Некрасова (так это еще в те времена, когда жив был «Новый мир», а теперь и до публикации несозвучных впечатлений дело не дойдет). А что увидят и узнают в СССР западные визитеры? — Парадный фасад. Посетила Фонда первомайский парад в Москве — эта театральная постановка перевернула ей душу, с тех пор Фонда считает себя знатоком прекрасной советской страны. Да не ей чета — Леон Фейхтвангер в 37 году (!) умилялся энтузиазму счастливых московских граждан (сколько из них ночами ждали неурочного стука в дверь?). Со Сталиным беседовал, на одном из знаменитых процессов присутствовал — много он узнал и понял? А Орвеллу и Кестлеру и «железный занавес» не помешал узнать и понять сталинскую Россию. Чтобы понимать друг друга, надо *хотеть понимать*. А не *хотеть торговать*. Для понимания Советского Союза больше всяких контактов Западу дало бы чтение советской публицис-

тики и периодики — включая самиздатскую «Хронику», самиздатскую публицистику.

Насколько можно судить по скудной информации, на Западе есть и сторонники, и противники экономических и прочих связей с социалистическими странами. Возможно, что и внутри советского правительства имеются разногласия на этот счет. В целом в линии советского правительства ощущается двойственное отношение к контактам с Западом: как говорится, и хочется и колется. В экономике, в технике сотрудничество с Западом Советскому Союзу не просто желательно — необходимо. Это золотая мечта социалистической системы хозяйства с самого ее возникновения. Пусть этот, загнивающий на корню, эксплуататорский, стоящий одной ногой в могиле (куда мы его и столкнем со временем) капитализм поможет нам вытянуть нашу экономику — разрушенную империалистической и гражданской войной; подрываемую вредителями-инженерами, наёмниками проклятого капитала; понесшую неисчислимый урон в войне с Гитлером; не преодолевшую вековой отсталости по вине царизма; сожженную засухой; затопленную проливными дождями и вообще непрерывно преследуемую судьбой... По странной случайности, вместе с СССР на краю экономической пропасти оказывается любая страна, присоединяющаяся к мировой системе социализма, — будь то экономически развитая, не обремененная злокачественным наследием царизма Чехословакия или климатически благополучная, не пострадавшая от второй мировой войны Куба. Социализм непрерывно достигает невиданных успехов, выполняет пятилетку в четыре года, без потерь убирает небывалый урожай, там и сям затевает стройки века и при этом руководится самым передовым и единственно верным марксистско-ленинским учением. А в это время капитализм потрясают кризисы, съедает стихия неуправляемого рынка, настигают всё более глубокие экономи-

ческие спады, разлагают национально-освободительные движения, день ото дня крепнущие классовые бои, раздирает борьба партий, и нет у него компаса в развитии — и всё он не рухнет, проклятый! Черт ему ворожит! Так вот пусть этот вымирающий капитализм дает нам машины, заводы, хлеб, вообще построит нам материально-техническую базу коммунизма. Мы расплатимся — золотом за хлеб (до революции — хлебом платили), нефтью (если нам построят нефтеперерабатывающие заводы), газом (если дадут трубы), лесом (было бы чем вывозить его), да мало ли у нас добра, земля наша велика и обильна. Итак, СССР крайне заинтересован в экономическом содействии Запада. Кроме экономической необходимости, тут, возможно, есть и военный расчет. Связав себя с СССР множеством связей, Запад, если и не будет ему союзником, то во всяком случае сохранит сочувственный нейтралитет в будущей войне Советского Союза с Китаем.

Возможности торгово-экономических отношений с СССР (и со всем соцлагерем) привлекают многих деятелей Запада: соцлагерь — громадный, далекий от насыщения рынок — может стать стимулом для оживления хозяйства, и непрактично пренебречь этим в период спада. Соображение, на наш взгляд, недальновидное, не учитывающее важных особенностей советской экономики: ее хаотичности и безалаберности, произвольного характера ценообразования и зарплаты — и поэтому повышенной конкурентоспособности, и т. д.

Но мы не беремся здесь обсуждать экономические выгоды или невыгоды сотрудничества с СССР для Запада. Нас интересуют другие аспекты контактов, и не только экономических.

Программа разрядки предусматривает контакты Востока и Запада в области науки, культуры, контакты между людьми, обмен идеями и информацией. Обещания обмениваться идеями и информацией бук-

важно вырваны Западом у советского правительства — и к этим обещаниям сводятся почти все «уступки» со стороны социалистического лагеря.

Обмен идеями подразумевает, что мы должны допустить у себя свободное функционирование разнообразной немарксистской идеологии, согласиться на конкуренцию в этой области, но для того, чтобы в идеологической борьбе победила «самая передовая», «самая научная» коммунистическая идеология — победила хотя бы в собственных вотчинах, — необходимо, чтобы она была единственной. Лучше всего было бы, чтобы даже идеи естественных наук не пересекали границу, а только бы их практические результаты; ведь неизвестно, к какому нестандартному мышлению могут привести бредни этих физиков-механиков. Но говорят, что без развития науки не построишь бомбу и не полетишь в космос. Так вот поневоле пришлось снять запрет с теории относительности, кибернетики, генетики — этих «буржуазных лженаук», «мракобесных идеалистических теорий» (заодно пришлось выпустить из лагерей физиков и генетиков — тех, какие уцелели). Но уж если с наукой ничего не поделаешь и приходится согласиться, чтобы там у них было дважды два четыре, то в области идеологии дважды два должно быть ровно столько, сколько приказывает сегодняшнее начальство. Сама эта идея — «дважды два — сколько прикажет ЦК» — не экспортируется, зато можно экспортировать метод ее получения; но этот экспорт достигается не гуманитарными контактами.

Еще более нежелателен для Советского Союза обмен информацией, «широкое распространение всех форм информации» («Заключительный акт»). Леонид Ильич Брежнев, во избежание недоразумений, высказал на Совещании в Хельсинки свое отношение к этому делу: «Не секрет, что средства информации могут служить целям мира и доверия, а могут разносить по

свету отраву розни между странами и народами», — умолчав при этом, кто будет определять кондиционность информации и по каким критериям; и каковы будут последствия — для информации, не подошедшей под мерку, и для информаторов. Впрочем, последствия советские люди легко могут рассчитать: Валентин Мороз («Репортаж из заповедника имени Берия») — 6 лет тюрьмы плюс 3 года лагеря плюс 5 лет ссылки; Владимир Буковский (информация о психбольницах) — 7 лет заключения плюс 5 лет ссылки; Габриэль Суперфин (обвинялся в передаче «Дневников» Э. Кузнецова и в участии в «Хронике») — 5 лет заключения плюс 2 года ссылки и т. д. Это — информация с Востока на Запад. Рогатки на обратном направлении носят менее личностный характер: таможенные запреты, радиоглушилки, дипломатические представления и соглашения, опирающиеся на... разрядку. Не может же, на самом деле, советская власть допустить, чтобы ее подданные узнали о закупках зерна в Америке (пусть верят, что русский Иван весь мир кормит, — и верят!) — эта информация «разносит по свету отраву розни»... Так было — так будет, какие бы обещания ни давал на этот счет очередной наш вождь.

Еще легче, чем отбор и контроль идей и информации, осуществлять отбор и контроль людей. Ничего нет проще, чем отказать в выездной визе даже крупному советскому ученому (артисту, писателю) с сомнительной «идеологической» репутацией, — вместо него на международную конференцию поедет «искусствовед в штатском». С Запада к нам — милости просим «всех людей с открытым сердцем, с добрыми и чистыми намерениями, соблюдающих законы, традиции и обычаи дома, в котором они гостят» (выступление Тодора Живкова на Совещании в Хельсинки). Если вы не уважаете нашу традицию держать инакомыслящих в сумасшедшем доме, наш национальный обычай сажать в тюрьму критиков режима, наш закон о цензуре

литературы, тогда, будь вы хоть Нобелевский лауреат, стремящийся на неофициальный научный симпозиум, хоть известный психиатр, движимый профессиональным долгом, — вы нежеланный визитер. Приезжайте к нам посетить Большой театр, осмотреть новый Ташкент, поразиться экзотике современного Академгородка в тайге, оставить свои избыточные доллары в магазине «Березка». Докладывайте на конференциях, выступайте на семинарах, проводите беседы — в предложенных вам официальных рамках; если вы вздумаете сунуться не туда, сказать не то — в лучшем случае вас (как сенатора Кеннеди на студенческом собрании в МГУ) объявят внезапно заболевшим.

Самое выдающееся и самое перспективное достижение советской политики контактов состоит во внедрении самоконтроля и самоцензуры в поведение западных деятелей культуры и науки, а тем более западных журналистов и политиков. Андрей Амальрик выразительно рассказал о советизации журналистов свободного Запада («Иностранные корреспонденты в Москве»). В большей или меньшей степени то же самое происходит почти с каждым, кто вступает в контакт с советской идеологической системой, — будь то человек, сообщество, государство. Стремление к контактам постепенно начинает диктовать вам линию поведения, причем не только в момент контакта, но заранее, авансом. Если вы хотите получить въездную визу — заранее побеспокойтесь о чистоте своей репутации. И юный аспирант *не публикует* у себя дома свою магистерскую диссертацию, косвенно касающуюся теневых сторон Советского Союза, — он рассчитывает учиться в Москве по соглашению об обмене в области образования. Известный писатель *воздерживается* от резких высказываний в связи с вторжением в Чехословакию ради возможности приехать в СССР*.

* Оба примера вполне конкретные, авторам известны эти люди.

Финские издательства *не публикуют «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына**; эта книга *снимается с продажи* в помещении ООН. Президент США *отказывается принять гостя страны*, Нобелевского лауреата Солженицына, — как бы не обидеть советское правительство**. Чем не советское поведение, чем не советская психология? Ну, а если завтра СССР выскажет категорическое неудовольствие сенатором Джексонсом, профсоюзным лидером Мини — не постигнет ли их, при развитии разрядки в том же направлении, участь Сахарова или Солженицына? Сегодня это предположение кажется чудовищной гиперболой. Но вспомним:

Несколько лет назад западные радиопередачи на русском языке («Голос Америки», «Би-Би-Си», «Немецкая волна») содержали обширную информацию о советских диссидентах, о произведениях Самиздата, подробные материалы из «Хроники текущих событий». Вряд ли западный гражданин в состоянии понять, что значат — значили — западные радиопередачи на русском языке для глухонемой России. Главное, чем могла держаться духовная оппозиция, — гласность — была отнята у нас Лениным в 1918 году. После этого правительству оказалось легко полстраны задушить, другую половину согнуть в дугу; кляп во рту жертвы даже надежнее, чем пистолет в руках насильника. Ситуация переменялась в 60-х годах, и, вероятно, без радио с Запада перемены не были бы такими значительными**.

Не претендуя ни на непогрешимость оценки, ни на

* В феврале 1976 2-й том «Архипелага» вышел в Финляндии (1-й выпущен по-фински в Швеции). — Прим. ред.

** Позднее Форд объяснил свой отказ недосугом, нелюбовью к чисто символическим встречам. Однако эти мотивы не помешали ему принять Байдукова и Белякова.

*** Самиздат — это всего лишь перепечатка на пишущей машинке в нескольких экземплярах и под угрозой лагерного срока за одно лишь это. Адский труд при смертельном риске. То ли дело радиопередача!

ее полноту, попытаемся определить роль западного радио на русском языке за последнее десятилетие.

1. Информация из СССР в СССР через радио с Запада помогла нашей стране осознать саму себя — вернее, начать осознавать; она создала (начала создавать) невидимое, неосознательное, не введенное ни в какие рамки духовное единство тех, кого Запад называет инакомыслящими, а Татьяна Ходорович справедливо назвала просто мыслящими гражданами страны.

2. О поддержке инакомыслящих Западом мы тоже узнаём только по радио, а как еще? Только радиоволны материализуют для нас единство добромыслящих людей вне государственных границ (не это ли цель настоящей, не фальшивой «разрядки напряженности»? Не это ли путь к мирному развитию?).

3. Неисказенная, да хотя бы дополняющая советскую, информация о мире помогает нам понять и мир, и роль нашего государства в нем (увы, непривлекательную), и свою личную гражданскую ответственность.

Но, правду сказать, натренированный советский читатель (из категории мыслящих) даже из советских газет ухитряется извлечь информацию, более или менее соответствующую истине: там сопоставит, там уловит пропуск... Поэтому наиболее ценными для России функциями западного радио мы считаем первые две: «мы сами о себе» и «Запад о нас».

В последние года два у западного радио появилась возможность (очень мало используемая) давать интересную для нас информацию нового рода. На Западе сейчас немало советских эмигрантов, и еще едут; среди них — такие, кто продолжает жить интересами родины. В Европе издается журнал «Континент», в США — «Хроника»; эмигранты и выступают, и публикуют свои работы. Нам, их соотечественникам, интересна их духовная жизнь, ведь они — это мы. Итак, тема «мы сами о себе» дифференцируется: «мы

здесь» и «мы там, на Западе». И появляется новая тема «мы о Западе» — очень важная; это способ для нас увидеть Запад пусть не собственными, но «своими» глазами, путь к его пониманию.

Включим же скорее приемники, настроимся на волну «Голоса Америки».

«Положение в Португалии» — слушаем; впрочем, в основном всё понятно и по «Известиям» или «Правде».

«Американская печать о советских закупках зерна в Америке» — в нашей печати об этом ни звука; зато по «Голосу» изо дня в день, вот уже больше месяца; может, сегодня будет что-то новое? — Нет, всё то же.

«Гроссмейстеру Спасскому советские власти запрещают жениться на француженке...» — что же предпринимает Спасский? Что он говорит в своем заявлении? Как реагируют его западные коллеги? «Голос Америки» сообщает об этом не больше, чем «Маяк».

«Киссинджер возвратился с Ближнего Востока»... — слышим об этом в пятый раз, итоги поездки уже известны.

«Советские власти потребовали, чтобы Андрей Амальрик покинул Москву». Что же те западные историки, которые так бурно вступились за него пять лет и два года назад? Или вымерли все за короткий срок? Совершают турне по маршруту Москва-Ташкент-Тбилиси, пока их коллегу вышвыривают пинком под зад из Москвы — от жены, из квартиры? Или же они вновь шлют петиции Брежневу и Подгорному, в Совет Министров и в Академию наук СССР? — тогда у Амальрика есть шанс получить свою законную прописку. Но мы ничего не узнаем о реакции западных коллег Амальрика, так как «Голос» переходит к следующему сообщению:

«На приеме космонавтов и астронавтов Брежнев был в прекрасном настроении, много шутил...» — тьфу! Да хоть на руках он ходи, вот уж ни одна душа

в СССР этим не затронута, разве что какой-нибудь брежневский поскребышев.

«Банк такого-то штата заказал своим служащим однотипные галстуки...» — какого чёрта?! С досадой выключаем приемники. Вышел ли новый номер «Континента», и что в нем? Продолжается ли самиздатская «Хроника»? Не собрались ли, наконец, западные биологи вступить за советского коллегу Сергея Ковалева? Но Брежнев расценил бы такую информацию как «отраву розни между странами и народами», и «Голос Америки» переменил свой тембр. В меньшей степени, но тоже в сторону бархатистости переменились голоса «Би-Би-Си» и «Немецкой волны».

Итак, Запад принял ограничение функций средств информации как осознанную необходимость. Оказывается, для того, чтобы сделать радио советским, по нынешним временам излишне занимать войсками радиоцентры и водружать на них красный флаг.

Нам бы не хотелось, чтобы сказанное было понято как *требование*, как *претензия* к Западу: мол, помогите нам, решите за нас *наши* проблемы. *Обязанность* эта на нас самих, гражданах своей страны. Но:

1) те, кто мотивирует политику разрядки в нынешнем ее виде заботой о смягчении нравов в СССР, должны лучше представлять себе нашу «либерализацию» и соразмерять плату за нее с ее истинной стоимостью; 2) даже чтобы отвергнуть «групповые интересы»*, и то

* Настаивая на политике компромиссов, Киссинджер говорит о необходимости учитывать интересы целых народов, а не узкие групповые интересы. Ну, так пусть сочтет эту «группу» инакомыслящих — не 20 или 100 известных ему имен, а всех тех, кто ловит «Голос Америки» и в Риге, и в Кишиневе, и в Архангельске, и в Красноярске, и в Магадане. Даже КГБ их всех не сосчитает. Как знать, не окажутся ли «групповыми» интересы, представляемые Брежневым или Громыко.

надо их знать и понимать; 3) нам представляется, что то, о чем мы ведем здесь речь, не только не ограничивается понятием «групповые интересы», но, напротив, выходит и за рамки интересов одного народа, одной страны. Разве объединение добродетельных людей против зла и насилия где бы то ни было — разве это внутренняя проблема одной той страны, где насилие свило себе гнездо?

Если курс нынешней политики разрядки состоит во взаимных уступках и приемлемых для обеих сторон компромиссах — то в области контактов уступкой со стороны соцлагеря является вообще согласие на контакты, а со стороны Запада — то, что он участвует в них на советских условиях, адаптирует к ним свое поведение и, в конце концов, свою психологию. А это ведет к эрозии общественной нравственности и морали.

Один из аргументов в пользу такого компромисса со стороны Запада — всё та же угроза ядерной войны. Однако не только мир, но даже соглашения по безопасности, надо думать, не оказались бы под угрозой из-за того, что Форд принял бы Солженицына, финны опубликовали бы «Архипелаг ГУЛаг», а «Би-Би-Си» информировала бы слушателей о содержании очередного выпуска «Хроники». С другой стороны, «советизация» поведения и психологии Запада никак не гарантирует безопасности в Европе и в мире, а уровень этой «советизации» не будет для советских властей достаточным до тех пор, пока не произойдет полного уподобления сознания, то есть пока мораль и нравственность не окажутся в полном подчинении у практической политики. Но для этого, конечно, нужно видоизменить и политическую систему Запада, внедрить в нее диктатуру государства над личностью.

Еще один мотив в пользу расширения контактов между двумя системами — это надежда таким путем смягчить жестокость наших нравов, расчет на либера-

лизацию нашего диктаторского режима или хотя бы на возможность спасительного влияния Запада на судьбы отдельных людей. Такие же надежды питает и часть советской интеллигенции, за десятилетия «железного занавеса» изголодавшейся по общению с мировой культурой. Сторонники этой позиции могут сослаться на то, что некоторая либерализация имеет место. Был «железный занавес» — и в лагерях погибали миллионы. А сейчас — Сахаров на свободе, его всего лишь облили грязью в газетах; Солженицына живым выкинули к его западным заступникам*; кого раньше бы измолостили в следственных застенках КГБ, как Белинкова, — тот без битья получает три года лагеря (и еще три — ссылки; например, Амальрик). «Самолетчикам» Кузнецову и Дымшицу отменили смертную казнь, Сильву Залмансон помиловали и отпустили из страны. То же и Кудирку. Стала возможна эмиграция из СССР — правда, по мотиву воссоединения семей, правда, лишь для некоторых категорий жителей СССР; но еще пять-шесть лет назад кто бы мог на такое надеяться?

В общем, помощи Запада нестандартные граждане СССР обязаны той ничтожной долей либерализации, какая явилась в нашей жизни. Но вот вопрос: какая позиция Запада тут сыграла роль — позиция компромиссов, уступок, дипломатической торговли, культурного сближения или позиция нравственной непримиримости, нравственной конфронтации в форме резких протестов, угроз бойкотом? Не дипломатические переговоры сократили лагерный срок Синявскому, а

* «Голос Америки» передал, будто бы это Киссинджер советовал правительству СССР «отпустить» Солженицына за границу. Благой же это оказался совет! — спасительный выход для властей из конфликта со всемирно известным писателем. Интересно: просил ли Ю. Андропов лично у Киссинджера совета, или тот сам вызвался?

многолетнее не стихавшее возмущение всей культурной мировой общественности, в частности, ряд отказов западных ученых и писателей сотрудничать с советской наукой и литературой. Демонстрации перед советскими посольствами, самые яростные формы протеста, прямое сопоставление советского режима с фашизмом — вот что заставило советские власти спешно, опережая установленные законом сроки, заменить Дымшицу и Кузнецову расстрел пятнадцатью годами заключения. Угроза бойкотирования Большого театра в Лондоне, пикеты актеров — вот что заставило советские власти выпустить из страны Панова с женой. Даже в тех случаях, когда протесты с Запада не приводят к желаемому результату (таких случаев, конечно, большинство), они всё же часто играют охранительную роль: иным облегчают участь, иных наперед уберегают от ареста. Советские власти твердят: «Мы не потерпим вмешательства...», однако учитывают общественное мнение Запада, прекрасно понимая, что оно влияет и на политику правительств*.

Безусловно, есть успехи и у «тихой дипломатии». Некоторые общеизвестны (в области эмиграции евреев, в отношении отмены выкупа за образование и т. п.), о многих мы, естественно, не знаем, а лишь можем догадываться. Ко всякой встрече Брежнева с президентом США, к другим дипломатическим встречам и важным переговорам некоторое число «отказников» получают выездные визы. (Правда, возможно, что

* Доверчивая Америка придает слишком большое значение словам советского правительства. Довольно было СССР отказаться от торгового соглашения с США из-за поправки Джексона («Мы не потерпим...»), как американские политики упали духом и стали думать о компромиссе: «Советское правительство занимает твердую позицию в этом вопросе». ...Неизвестно, так ли тверда была бы эта позиция, будь сумма предполагаемых кредитов заметно большей или решимость Конгресса США безусловно непоколебимой.

«отказников» специально прикапливают к таким случаям.)

Широкое общественное осуждение и «тихая дипломатия» — к сожалению, эти два пути не дополняют, а взаимно гасят друг друга. В атмосфере контактов, в угаре разрядки такие действия, как общественные протесты, демонстрации, бойкот, — теряют силу: с одной стороны — осуждение, а с другой — договоры о совместных научных программах, одни бойкотируют, а другие наперебой заключают соглашения с агентством по охране авторских прав... В самом западном обществе действия протеста теряют свою популярность, а для советского руководства они становятся — тьфу! растереть и забыть!

Президент Форд заверял американскую общественность, что подписание документа в Хельсинки не затрагивает нравственных принципов американского народа, не меняет его позиции; что по всем случаям нарушения прав человека Америка будет заявлять протесты на международных форумах. Но тихая дипломатия требует компромиссов, и Солженицына не приняли в Белом доме ради дружбы с Брежневым.

Не исключено, что твердая и последовательная позиция Запада в вопросах гуманистических (а именно — отказ обсуждать с советскими представителями проблемы прав человека, проблемы демократических свобод, *отказ от всяких культурных контактов на государственном уровне*, пока советское государство попирает права личности, пока оно остается страной насилия) в конечном счете могла бы оказаться и практически более перспективной.

О практических преимуществах одного или другого пути еще можно задумываться и спорить. Нравственный аспект этой проблемы очевиден. Нынешняя политика частичных уступок позволяет СССР спекулировать гуманистическими фразами и торговать на-

шими судьбами — судьбами своих граждан. Нельзя ставить в зависимость от сегодняшних политических условий принципы нравственности и достоинство ни народа, ни отдельного человека; они не должны быть объектом торговли — ни под каким благородным соусом. Та советская либеральная интеллигенция, которая ради контактов с западной культурой толкает ее носителей на путь нравственных компромиссов, тем самым понижает общий нравственный уровень человечества. Дорожа нравственностью, приходится быть готовым не приобретать, а жертвовать не только материальными, но и духовными ценностями — например, культурными контактами.

Если успех того или иного заступничества (соединение *некоторых* семей, разрешение на брак *некоторых* пар) достигается ценой предательства собственных принципов, а также ценой косвенного предательства множества других людей, нуждающихся в заступничестве и в помощи, то это, пожалуй, поражение, а не победа...

Сенатор Кеннеди выступает на собрании студентов МГУ. А ведь ему известно, что в этом университете, как и в каждом советском вузе, существует процентная норма по национальному признаку. Может быть, такие «контакты» не затрагивают принципов сенатора Кеннеди?

В СССР нередко случаи, когда у религиозных матерей отбирают детей лишь потому, что эти матери воспитывают детей в своей вере, противопоставляя таким образом домашнее воспитание государственному атеистическому. Не было об этом речи на конференциях, посвященных Международному году женщин! И о том, что советские политзаключенные-женщины исключены из «женской» амнистии 75 года, ни одна общественная деятельница Запада даже не заикнулась, приветствуя советских делегатов.

Международный Красный Крест, одна из задач

которого — помощь политзаключенным во всем мире, числит своим коллективным членом Советский Красный Крест; но положение советских политзаключенных международной организацией не контролируется, не было и попытки посетить политлагерь в СССР! — Даже в гитлеровские концлагеря приезжали комиссии Красного Креста.

Да что говорить! Генеральный секретарь ООН *ни разу не ответил* на многочисленные обращения к нему советских граждан — иногда поистине трагические.

...Представим себе на секунду такой невероятный поворот истории: в 1945 году война окончилась не поражением фашистской Германии, а ее победой. Немецкие кинооператоры во всех сталинских лагерях — от Темника до Магадана — засняли на пленку полуживых эзков в рваных бушлатах, на суд истории представлены их свидетельства, фотографии сотен безымянных могильников... В самой же Германии (изнуренной войной и потому отложившей идею мирового господства до лучших времен) через 30 лет, сослужив свою службу, не дымят крематории. Переоборудованные душегубки развозят туристов, в печах Майданека выпекают хлеб. (— Почему же нет? Ведь совершаются увеселительные поездки и в Соловки, и в Норильск, и по дороге Тайшет — Лена; а немцы куда практичнее русских.)

Ну, так вот что любопытно было бы узнать: вот при таком зигзаге истории — президент Форд преклонил бы колени в Катыни и «забыл» бы о жертвах Освенцима? Сенатор Кеннеди пошучивал бы в Берлинской студенческой аудитории (процентов на 80 «гитлерюгенд») перед детьми жертв и палачей Бухенвальда? Делегатки Всемирного женского конгресса обнимали бы немецких подруг, среди которых, может быть, наследница Эльзы Кох? Двойник бывшего канцлера Брандта (сам-то он, вероятно, уже сгнил бы в

концлагере) поехал бы в гости к преемнику Гитлера? Словом, каждого человека — писателя, ученого, врача, коммерсанта — хотелось бы спросить: забыл бы он о жертвах фашистского режима, отделенных от нынешнего дня лишь тридцатью годами и несколькими словами об ошибках и «нарушениях»? При сохранении на местах деятелей этого режима, его идеологии, его принципов в действии — забыл бы?

Конечно, да. И с досадой затыкал бы уши от голосов тех, кто помешался на этом Майданеке с Освенцимом и бубнит: «Осудить, осудить, осудить...» Надоело. — Однако зигзага, к счастью, не было. И президент Форд преклоняет свои колени в Майданеке (помнит!), а не в Магадане (забыл! да и памятника нет). И даже не перед Берлинской стеной.

Тогда остается задать последний вопрос: за что судили деятелей гитлеровской Германии в Нюрнберге — за преступления или за поражение? Вот так обстоит дело с нравственностью на пути компромиссов...

Медовый месяц Востока и Запада — первый месяц после Совещания в Хельсинки — показал Западу, что Восток отнюдь не намерен пунктуально выполнять основные принципы сотрудничества (а мы, на Востоке, это знали заранее). Разочарование Запада велико. Но не окончательно, ведь назначен испытательный срок в два года. Вот тогда Запад предъявит Москве длинный реестр нарушенных обещаний, и весь мир убедится в вероломстве социалистического лагеря... Как бы не так! Запад даже представить себе не может, какая лавина обвинений обрушится на него через два года, в каком океане вздорных мелочей, беспредметных выяснений, пустозвонной фразеологии ему придется барахтаться: Запад клеветал, разжигал, предоставил убежище, отказал в помощи и т. д.; что подтверждается — показаниями А., разоблачениями Б., обвинениями В. ... Имело место вмешательство в дела СССР: советолог А. извращал, кремленолог Б. воз-

вешал, «Нью-Йорк таймс» допустила выпад, «Монд» опубликовывала, «Ньюс-Уик» умолчала... И вообще на Западе силы «холодной войны» (временно, конечно) одержали верх над силами прогресса.

И снова завертится та же карусель — и будет вернуться до тех пор, пока мы либо сумеем одолеть Запад в войне, либо постепенно будем отрывать от него кусок за куском, либо — что тоже весьма вероятно — методами «разрядки» внесем в него экономический хаос, политическую неустойчивость, нравственное разложение — то есть, так или иначе, «схватим Запад за шиворот».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иностранцы, посещающие Советский Союз, — туристы, общественные деятели, политики — легко убеждаются в миролюбии советских граждан. Это впечатление не ложное: как бы глубоко вы ни заглянули в глаза русского, вы не увидите в них и тени агрессивности (разве что спьяну). Агрессивность не свойственна русскому национальному характеру.

Государство ведет активную антивоенную пропаганду: пресса, радио заполнены лозунгами о мире. Литература, хотя и героизирует ратный подвиг, в основном рассказывает о тяготах войны. Последняя война еще жива в памяти не только военного, но и следующего за ним поколения как время потерь, разрушения, голода, как причина многолетней нищеты и лишений.

Правовая норма предусматривает строгую кару за пропаганду войны как за тяжелое государственное преступление. И это, вероятно, единственная «политическая» статья уголовного кодекса, которая бездействует, — некого карать.

«Хотят ли русские войны?» — Нет, не хотят, на

самом деле не хотят. Мы, в общем, народ добродушный.

Но послушный.

«Мы готовы выполнить *любое* задание партии и правительства», — рапортуют космонавты после полета. Сегодня это задание — пожать руку и сказать по-английски «здрасьте» американскому коллеге; а завтра? Сегодня — обаять весь мир широкой русской улыбкой; а вчера?

Летом 68-го года газеты заполнились грозными окриками, адресованными чехам, угрозами применения силы (это не квалифицировалось как пропаганда войны). Несколько недель такой «артподготовки» оказалось достаточно, чтобы в стране создалось *всеобщее* мнение (то есть, конечно, не без исключений, но, как правило, негласных): чехов надо наказать за непослушание. Публика не вникала в вопросы о причинах «непослушания», о формах его проявления. «С жиру бесятся» — а ведь «мы их освободили», «мы их всех кормим».

Если бы чехи оказали вооруженное сопротивление — была бы мгновенная вспышка ненависти и озверения, как это было в Венгрии в 56 году. А так добродушный русский солдат добродушно убирал яблоки (как будто за тем и пришел в Прагу на танке), заигрывал с девушками и искренне недоумевал, почему чехи к нему недоброжелательны?

Так что пусть добродушие и миролюбие русских не слишком обнадеживают гостя, постигающего Россию на туристских маршрутах в эпоху разрядки.

Имея такое население, да к тому же еще под нынешней диктаторской системой управления, советское правительство может позволить себе любую мирную пропаганду. Оно уверено, что лозунги о мире задержатся в сознании подданных только до выдвижения официальных лозунгов противоположного направления, не дольше. А если кто обладает памятью чуть

большого объема — так «есть у нас, слава Богу, наше КГБ» (слова поэта С. Михалкова).

Однако коротка память и у тех, кто нашему КГБ неподвластен.

Вот уже несколько десятилетий Советский Союз является не только членом Организации Объединенных Наций, но и членом ее Совета Безопасности, входит во все ее международные комиссии, решает проблемы войны и мира, а также проблемы соблюдения и защиты прав человека в государствах земного шара. СССР требует применения санкций к «агрессору» на Ближнем Востоке; призывает к бойкоту диктаторских режимов в ЮАР и Чили; организует массовые международные кампании протеста в случаях, которые трактует как нарушение прав человека (например, кампанию в защиту Анджелы Дэвис). Советский Союз подписывал Декларацию о правах человека и другие международные соглашения, ратифицировал их — всему миру было в это время известно о советских концлагерях, о ссылке целых народов, о кровавом подавлении национально-освободительных движений. И ни разу ООН не потребовала санкций против СССР — скажем, за вторжение в Чехословакию — или бойкота советского режима как диктаторского, попирающего права человека в своей стране, нарушающего основные принципы Организации Объединенных Наций.

Естественно после этого, что ООН утратила всякий авторитет, что она бессильна в мире, а провозглашенные ею принципы девальвированы. Вот и возникают идеи новых международных мероприятий — идеи «разрядки напряженности», Совещания по безопасности в Европе, на очереди — в Азии. Но ведь они не учитывают печального опыта ООН — ну, так с этими мероприятиями будет то же самое.

А когда Совещание по безопасности в Европе обнаружит такую же несостоятельность, как нынче ООН,

— за какой новый стол переговоров с Советским Союзом засядут тогда западные президенты и премьеры? Какие очередные компромиссы и встречные планы будут предложены взамен всё тех же, и даже сильно урезанных, обещаний: невмешательства (после очередного вмешательства), суверенитета (для стран, которые к тому времени его еще сохраняют), уважения прав человека (с прежней оговоркой насчет национальных традиций)?

Слава Богу, Запад ищет не войны, а мира. Как следствие этого, западные политические деятели делают выбор — что угодно, «лишь бы не было войны».

Мы убеждены, что *tercium datur*. Кроме неоднократно испробованного и столько же раз скомпрометировавшего себя пути компромиссов и соглашений, есть позиция нравственного противостояния насилию. Эта позиция пригодна и для отдельных людей, и для любых объединений, и для целых государств. И задача правительств и общественности этих государств состоит в том, чтобы нравственное противостояние не ограничивалось декларациями, а определяло бы политические действия и было бы надежно защищено от подавления силой оружия.

Август 1975 — январь 1976

МАРЧЕНКО Анатолий Тихонович — родился в 1938 г., прозаик и публицист, рабочий, многолетний политзаключенный, автор первой книги о постсталинских лагерях «Мои показания», очерка «От Тарусы до Чуны», многих публицистических выступлений. Член Общественной группы по наблюдению за выполнением Хельсинкского соглашения. Сейчас находится в ссылке на ст. Чуна Иркутской области.

М. ТАРУСЕВИЧ — псевдоним. Полное и безусловное доверие к имени Анатолия Марченко, преклонение перед отвагой человека, который даже из сибирской ссылки свободно и открыто обращается к читателям России и Запада, — всё это позволяет «Континенту» пренебречь тем, что соавтор Марченко обозначен только псевдонимом.

ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭНТУЗИАЗМА

(Продолжение)

ИНДИВИДУАЛИЗМ КОНФОРМИЗМА

Однако вернёмся к Вашему письму. Вот его вторая фраза: «Я против геноцида (разрядка моя. — Н. К.), осуществляемого американцами во Вьетнаме». Ни больше, ни меньше — геноцида.

Исходя из этих слов, совершенно ясно, что Вам не нравится (теперь уже — замечание при перепечатке — не нравилось) американское вмешательство во Вьетнамскую войну. Это Ваше право. Кстати говоря, должен сказать, что и я от него не в восторге. Правда, по другим причинам, чем Вы. Считаю, что идиотизм — вести войну без стремления разгромить противника, тем более такого, который людей жалеть не станет, т. е. бомбёжками его не запугаешь. Сдерживать бандитов людьми — рационалистическая глупость. Но к геноциду это не имеет никакого отношения. Так откуда всё-таки взялся геноцид? Вы что, действительно считаете, что американцы во Вьетнаме убивали вьетнамцев за их происхождение? (Как нацисты убили бы Вас и меня, если б мы им попались.) Ну, а Южный Вьетнам кто населял? А южновьетнамскую армию кто составлял? Не получается что-то по-Вашему. Не кощунство ли это, не преступление ли перед людьми мира и в первую очередь перед еврейским народом — при-

давать этому страшному слову расплывчатые очертания*?

Или просто в Вашем кругу, когда речь идёт об Америке, стесняться в выражениях не принято? Что ж, Ваши бывшие товарищи не стесняются в выражениях, когда речь идёт об Израиле. Чего стесняться, если принято думать, что он — передовой отряд империализма. Спорить и с тем, и с другим по существу — глупо. Что такое Израиль, Вы сами знаете, а Америка всё-таки демократическая страна, где несогласных с властью в психобольницы не сажают, как в некоторых передовых державах. Но так же, как Вам не убедить Ваших друзей, мне не убедить Вас. Я и не пытаюсь сейчас. Я только о слове «геноцид». Но и то зря...

Вы — левый интеллигент, и реальные значения слов Вас интересуют меньше всего. Этот «геноцид» для Вас опять-таки не слово, а тот же пароль, дорогой символ причастия к чему-то, что Вам дорого, что возвращает Вас к некому смыслу жизни (Вы даже не замечаете, что это причастие к совместной лжи — хотя бы про Америку). А этот ложный смысл Вы пока цените больше, чем многое — чем жизнь и свободу других людей, например. Чем даже истину. Соображения о том, соответствует ли истине то, что Вы говорите, для Вас, судя по всему, пустяк по сравнению с тем, укладывается ли это в дорогую для Вас концепцию. В сущности, Вы включаетесь в глобальную работу по лишению слов и понятий их первоначального смысла. Это очень вредная работа. Ведь недаром её уже около шестидесяти лет ведёт советская пропаган-

* А что произошло в южновьетнамском городе Дуэ, захваченном северовьетнамцами, когда последние расстреляли в тамошнем овраге женщин и детей, бежавших из Северного Вьетнама в Южный, но застигнутых там северными войсками? Это вьетнамский вариант «Бабьего Яра». Это ужасающее преступление. Тем не менее и оно не геноцид. Во всяком случае, не больше, чем «ликвидация кулачества, как класса» в СССР.

да. И уже много лет с еще большей резвостью китайская. Например, советская пропаганда внушает всем, что Бабий Яр — дело рук сионистов. Её задача — сделать так, чтоб в угоду ближайшим целям реальный смысл таких слов, как «сионисты», «Бабий Яр» и т. д. растворился в фантастических толкованиях. Ваше заявление о геноциде американцев — такого же сорта. Употребление паролей вместо слов разобщает людей, увеличивает непонимание их друг другом и способствует победам мафий.

Между тем, употребление этих паролей — вообще характерная черта левого мышления. Тут есть противоречие. Кажется, левый интеллигент — такой крайний индивидуалист, требует свободы любых сексуальных извращений (чтоб только не подавлять личность!), требует полной свободы искусства от стыда и смысла, но в то же время, попадая в общество таких же индивидуалистов (а их теперь, кажется, больше, чем неиндивидуалистов), он начинает себя вести как все, думать как все и говорить как все. Разумеется, как все «индивидуалисты», как все в его кругу. И презирать всех, кто думает иначе. Короче, становится заурядным конформистом, а плод любого конформизма — торжество безответственности; безответственность одного придаёт мнимую основательность безответственности другого. Толпа вообще усиливает безответственность отдельного человека. Прогрессивная толпа — тоже.

Это очень хорошо видно из отношений американского писателя, бывшего коммуниста Говарда Фаста, с его родной партией и с советскими деятелями.

Вступил он в эту партию еще в 1943 году, видимо, на антифашистской волне. К тому времени он прочёл большое количество марксистских книг, и всё-таки не углядел, что собственно коммунистической

идеологии, из-за которой он вступал в эту партию, в тогдашнем коммунизме уже не было*. Этой слепоте способствовало то, что рядовым членам партии (не в СССР) ничто не мешало исповедывать эту идеологию интимно, — тем более, что коммунисты, отрицая это слово, на деле признают макиавеллизм, что на последующих этапах сильно способствует их гибели.

Можно даже сказать, что основной принцип этой партии — примат тактических соображений над смыслом деятельности. Поэтому рядовые члены этих партий в свободном мире, даже прямо выполняя противоречащие их идеям советские директивы, имеют полную возможность думать, что смысл их деятельности совсем не в том, что вытекает из их вынужденных слов и поступков, а в чём-то другом, что получится как-то автоматически из тех же действий, часто противоположных этому смыслу. Эта хитрая диалектика превращает левого интеллигента в бессмысленного и безоружного раба своего достаточно бессмысленного (если не считать смыслом жажду власти и места в иерархии) руководства.

Всё это приводило к, я бы сказал, насильственной инфантилизации взрослых людей. Ну, ладно! Пусть тактика. В конце концов, хорошо это или плохо, но это для посторонних. Но что происходит в своём кругу? Почему так странно ведут себя вожди? Фаст приехал из-за границы с важными сообщениями, а руководители отнюдь не торопятся его принять, заняты подчёркиванием дистанции между ним и собой. Для меня, как для советского человека, всё ясно. Секретарь

* Я говорю это для того, чтоб показать весь дьяволизм этой идеологии, а не для того, чтоб намекнуть, что в ней есть что-то хорошее. В ней нет и не было ничего хорошего. Уголовный дух сталинизма и власть Сталина как таковые выросли из этой идеологии совершенно естественно — из её преступлений и внутренних качеств. Да и прямо всё это утверждено теми, кто исповедывал эту идеологию, — хоть они потом от этого и погибли.

ЦК — начальник, Фаст — подчинённый, надо, чтоб он не забывался. Но ведь весь состав американской партии — раз, два, и обчёлся. Кого ж тут принимать или не принимать? Где было тогда ему, бедному, понять, что вся эта таинственность и недоступность восточных бонз, всё это подчёркнутое пренебрежение к рядовым — просто слепое копирование (вполне возможно, и по прямому приказу) московских порядков. (Я знал одного полковника, который получил от начальства выговор за то, что на фронте обедал вместе со своими офицерами.)

Еще более нелепое впечатление производят страницы о взаимоотношениях Говарда Фаста с советским писателем Борисом Полевым. Даже в момент, когда Фаст уже писал эту книгу (она называется «Голый бог»), эти отношения еще казались ему человеческими и дружескими, хотя и какими-то странными. Между тем, в отношениях этих, судя по его воспоминаниям, не было и ничего человеческого и ничего странного: просто Фаст общался, а Полевой — работал. Это особенно ясно проступает в переписке. Фаст старается уяснить, в чём тут дело, Полевой — как можно больше сбить Фаста с толку. Для Фаста Полевой — человек, для Полевого Фаст — объект, которого надо постараться удержать в сфере своего влияния. И еще: для Фаста коммунизм — коренной вопрос веры и бытия, для Полевого — официальная личина, в которую продолжает (особенно для заграницы) рядиться его начальство. Для Фаста СССР — база мировой революции и Полевой её представитель. Для Полевого же — это только песни пионерского детства и сказки для таких, как Фаст. Он прекрасно знает, что за слишком горячую приверженность к ней в СССР сажают.

На этом основании и ведут они друг с другом душевные разговоры. Впрочем, сначала они ведутся не с Полевым, а с Фадеевым. Дело в том, что в это время в лживой буржуазной печати стали появляться

сообщения об аресте всех более или менее видных деятелей еврейской культуры в СССР. Речь шла в том числе и о друге Фаста — поэте Льве Квитко. Разумеется, верный коммунистическому благочестию Фаст этим сообщениям не верил. Но некоторые сомнения его всё же терзали. Во-первых, уж слишком настойчивы были эти ложные слухи. Во-вторых, никому из навещавших в то время СССР, в том числе и Фасту, ни с кем из этих деятелей — каждый раз по непредвиденному стечению обстоятельств — встретиться не удавалось. В третьих, некоторые деятели советского посольства уж слишком ассоциировались в его представлении с людьми, способными такую операцию провернуть, а Фаст всё-таки в какой-то степени был художником, и люди для него не были чистой абстракцией. Короче — его терзали сомнения. Разумеется, поводов усомниться в советской добропорядочности хватало и до этого, но это уже другой вопрос. На то Фаст и был коммунистом. В его оправдание можно сказать, что на многих его собратьев (в том числе и евреев) и антисемитизм не подействовал.

Короче говоря, своими сомнениями Фаст решил поделиться с Фадеевым. Разумеется, тот их тут же, к великой радости Фаста, опроверг. Оказалось, что Фадеев — сосед Квитко, он видел его перед вылетом в Америку и знает о нём массу смешных историй, которыми не преминул поделиться. Вечер оказался очень приятным. Потом эстафету этой лжи принял на себя Полевой. Я не пишу здесь ни о трагедии Фадеева (хотя из этого факта видно, что ему было из-за чего кончать самоубийством), ни о личных качествах Полевого. Меня интересует Фаст, который не мог не знать, что это советские люди, которым (в отличие от всех других тогда) доверено бывать за границей, т. е. что в этих поездках они выступают как агенты своего начальства. И всё-таки добровольно лез им в пасть. Подавляя при этом в себе и естественное, и художничес-

кое чувство реальности. Это лишний раз говорит о том, что если сдать душу в партию, как в ломбард, она тебе уже больше не принадлежит.

Но вот Хрущев выступил на XX съезде, Фадеев застрелился, и ложь проступила наружу. Тем не менее Фаст долго не может уяснить, что происходит, и затевает нелепейшую переписку с Полевым, требуя, чтоб тот объяснил, почему врал. (Как будто и так не ясно.) Полевой ему отвечает, не выходя из принятого в их переписке тона. Он, как всегда, разговаривает с Фастом, как взрослый человек с ребёнком, не понимающим самых простых вещей. Этот тон раньше Фасту казался естественным, он действительно многого не понимал (не понимал только, что и его собеседники не понимают), теперь он этого тона не принимает. Но при этом он так до конца и не может понять, что вполне милый, добрый и внимательный Борис Николаевич Полевой при всех этих качествах никогда не обращался с Фастом как с живым человеком и что часы, проведенные с Фастом, были для Полевого рабочими часами. Но было — так.

Так уже много лет разговаривают представители советских руководителей с тонкими и рафинированными западными идеалистами, а те — терпят. В СССР накопился большой опыт таких бесед. Так что если у кого есть какие сомнения в чем-либо, приезжайте в Москву — Борис Полевой и иже с ним всегда к вашим услугам. Они угостят вас икрой и деликатесами (хоть ни того, ни другого нет в советских магазинах) и всё вам вмиг разъяснят. Конечно, только тем из вас, кому очень хочется или по каким-то причинам очень удобно — им верить...

Как видите, даже такая малочисленная компартия, как американская, не имеющая и намек на государственную власть и настоящее влияние, тем не менее способна так крепко держать в руках своих членов. Даже таких, как Фаст, которые не только не зависели

от неё материально, но даже собирали для неё деньги. Разумеется, многое объясняется её заговорщицкими традициями, создающими особую атмосферу, но в основном её члены сами себя одурачивают идеологией. Уйти из партии из-за такой мелочи, как непрерывные оскорбления и третирования со стороны руководства (или из-за того, что руководство не соответствует твоему представлению о том, каким оно должно быть), — да это же мелкобуржуазная распушенность! Та самая, к которой тебе успели внушить брезгливость и в которой тебя научили беспрестанно себя подозревать. «Разве ты не знаешь, что революция делается не в белых перчатках и не идеальными людьми? Чистеньким быть хочешь?» Нет, это не годилось.

Кроме того, человек, который ушёл бы из партии по таким причинам, обрёл бы себя на одиночество. Вокруг партии был очень широкий круг интеллигенции. В него входили и миллионеры (вот уж кого нельзя было обвинить в мелкобуржуазности) и особенно их романтические жены. Некоторые из них даже очень были непримиримы и без отрыва от своих миллионов изображали из себя фурий революции. Одна из них после появления в печати доклада Хрущева на XX съезде специально звонила Фасту и выражала уверенность, что тот не станет читать эту буржуазную фальшивку. Фаст эту «фальшивку» прочёл. Но другого круга у него не было.

Самое страшное в коммунизме — это то, что он привлекает иногда лучших людей и ставит их в положение, противопоставленное всему человечеству и всему человеческому. Человек остаётся активным, но инициативу, волю и ответственность он передаёт своему руководству, о котором даже не всегда знает, откуда оно взялось. Например, ни один французский коммунист не мог мне сказать, откуда взялся их вождь Жорж Марше. Ведь это действительно странно. Не пользуясь никакой популярностью (о нём даже ходят

слухи, что во время войны он был коллаборантом), он вдруг возник вторым человеком при Жаке Дюкло, а вскорости стал и первым. Его восхождение напоминает некоторые страницы из капитального и высоко оценённого КГБ (объявлен самой страшной антисоветчиной) труда А. Авторханова «Технология власти». Но А. Авторханов ведь писал только о порядках в КПСС [тогда ВКП(б)], а тут речь как-никак о Франции. Широко же шагнули эти порядки.

Французские коммунисты, не отвечая на вопрос, больше обычно упирают, что г-н Марше не играет в партии никакой роли. Но это уже — самоутешение. Скорее не играет никакой роли вся партия, а он — играет. Не для того его протаскивали на этот пост, чтоб не играл. Но даже если б они говорили правду, всё равно это странно. Зачем массовой партии терпеть во главе навязанную марионетку? Ответ только один: такая это партия.

И неудивительно, что прозревшего Фаста больше всего пугает мысль, что когда-нибудь так, как теперь организована компартия, будет организована вся Америка и весь мир. Он, правда, надеется, что этого не будет. Мы надеемся вместе с ним. Но, к сожалению, его тревога отнюдь не безосновательна. Этого не будет только в том случае, если люди осознают грозящую им опасность. И если интеллигенция поймёт, что между обществом и творческой лабораторией есть существенное различие.

В этом и состоит моё главное обвинение левой интеллигенции — что общественную жизнь она рассматривает как объект творчества, что эгоистические мотивы она воспринимает как мотивы крайне альтруистические (я уже отчасти писал об этом). В этом опасность всякого идеализма (в бытовом, а не философском смысле). Поклонение идеалиста Богу (добру, общему благу и т. д.) не освобождает его от близкого соседства с дьяволом, а доверие к своему идеализму

ведет к потере всякого контроля над собой. Благодаря этому, идеалист может принять за идеальные мотивы своих поступков нечто весьма от этого далёкое. Всегда есть искушение перестать различать границу между тем, что ты делаешь для других (для всех), и тем — что только для себя. Даже фанатическая верность идее и материальная бессребренность могут объясняться тем, что именно это возносит данного человека над другими хотя бы в собственных глазах, а также наполняет смыслом его жизнь. И совсем это не всегда альтруизм. Например, Ферапонт из «Братьев Карамазовых» Достоевского истязал себя веригами, но, тем не менее, у него было много гордыни и мало доброты или любви.

Среди коммунистов, как известно, люди физически храбрые встречаются (во всяком случае — встречались) довольно часто. Но людей храбрых морально, т. е. не боящихся заглянуть в бездну с риском увидеть там пустоту, — среди них нет совсем. А ведь многое, очень многое способен сделать человек для того, чтобы победить пустоту бытия. Но на этом, как будто бы очень высоком, пути нас и поджидают наиболее коварные соблазны. Главный из них — о нём я уже говорил — это допущение, что мир — объект творчества, т. е. что можно решать вопросы своего внутреннего бытия за чужой счёт (а это прямо вытекает из понятия конечной цели, из телеологии). Что значит любая эксплуатация труда (особенно если этот эксплуатируемый труд оплачен очень хорошо — лучше, чем когда-либо и где-либо) по сравнению с таким потребительским отношением человека к человеку, когда пот, кровь и судьбы одних людей превращаются в средство оплаты духовных благ других? Самый последний жулик и убийца — ангел с крылышками по сравнению с таким идеалистом. Да и опасен он для других людей меньше, чем Фидель Кастро и Че Гевара.

А не кажется ли Вам, г-н Кеннан, что, выражаясь любезным Вашему сердцу марксистским языком, идеология левой интеллигенции — это идеология не какого-то там мифического пролетариата (который этой идеологии никогда и нигде не придерживался — только подхватывал её лозунги в горячие минуты), а политической богемы (сперва — женеvской, а потом — мировой). Это до тех пор, пока соответственно не изменившись, она не становится идеологическим прикрытием откровенной политической мафии, впрочем, порожденной и приведенной к власти тоже этой идеологией, господством её поклонников. В этом последнем случае она внешне и эмоционально отличается от своей первоначальной формы. Но в обоих случаях она сохраняет свой сугубо люмпенский характер. Видимо, именно это и чувствовали в ней вышеописанные боливийские крестьяне, сторонясь от её носителей.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Из этого совсем не следует, что каждый левый интеллигент или коммунист — обязательно люмпен. Правда, некоторых из них сильное увлечение переустройством мира отвлекло от своевременного приобретения профессии, и разрушительная партия, в которой они состоят, — единственное их место в жизни. Это, конечно, накладывает отпечаток на их мышление и поведение. Но я сейчас говорю не об этом. Я говорю об общем духе, заставляющем их всех без различия вести себя по отношению к жизни с люмпенской безответственностью — как бы ничем в ней не дорожа и ни за что не отвечая.

Одним из видов этой безответственности я считаю и их безграничную способность к удивлению, которую я почему-то не воспринимаю как торжество непосредственности. После всего, что было (и что им

известно так же, как мне), я не очень доверяю удивлению итальянских коммунистических интеллектуалов по поводу того, что их советские «единомышленники» отнюдь не энтузиасты «свободной любви» и гомосексуализма (я тоже не энтузиаст, хотя некоторые в этих вещах видят чуть ли не символ освобождения человечества), а также по поводу «сюрпризов» (таких, как оккупация Чехословакии, подавление инакомыслящих или антисемитизм), регулярно преподносимых им советским руководством. Они не раз бывали в Москве, прекрасно знают цену нашему начальству и его «революционности», и удивляться им, по меньшей мере, странно. Правда, время от времени они проявляют свою самостоятельность и, блистая марксистской эрудицией (как чехи в Черне-на-Тиссе), мягко увещевают своих советских «товарищей» отказаться от бюрократического извращения социализма. Это очень хитрая формула и очень хитрое поведение. Эти увещевания, как само собой разумеющееся, констатируют, что, во-первых, в СССР — социализм и что, во-вторых, социализм — очень хорошая вещь: просто в СССР допущены некоторые извращения, которые нужно и, конечно, можно исправить. Из этого же само собой вытекает, что у этого строя есть колоссальные преимущества перед свободным миром, ибо свободный мир (всё-таки дающий им возможность заниматься этими интересными играми и не сажающий людей в психушки) — порочен по существу. Так что их лозунг: «И поэтому мы всегда с СССР» — выглядит при этом совершенно естественно. И удивляться им не стоит — знает кошка, чьё мясо съела.

Разумеется, советских руководителей и такое отношение раздражает. И, если будет возможность, не миновать Берлингуэру дубчековских наручников. Но, с другой стороны, и они кое-чему научились, понимают, что и такая поддержка больше, чем ничего. На самом же деле, она больше любой другой, которую могли бы

получить советские руководители, ибо она вполне подтверждает коммунистическое лицо этих руководителей, придаёт какую-то идеологическую достоверность их власти. А это им очень нужно. На самом деле никакого лица ни дома, ни за границей у них нет.

Думаю, что советские товарищи итальянских еще и презирают. Вероятно, между собой они называют их назойливыми дурачками, которые неизвестно зачем суются под ноги, говорят под руку и своим марксизмом только работать мешают. «Пусть, — возмущаются они, наверно, — сначала возьмут власть, а потом уже умничают. Увидят тогда, каковó в нашей шкуре!». И они, конечно, правы. В их шкуре совсем не легко, и если их товарищи-итальянцы возьмут власть, они это почувствуют. Во всяком случае, желания соблюдать и марксизм, и демократию у них сильно поубавится (как это было и в Чили, и на Кубе). Тут уж не до марксизма (хоть и в нём хорошего мало). И вообще это как-то нелогично: самим стремиться захватить власть (пусть через выборы, но навсегда), а от кого-то требовать соблюдения демократии...

Впрочем, я думаю, что в глубине души итальянские коммунисты (во всяком случае, их руководство) к власти не стремятся. Им и так хорошо.

Так что не зря итальянские коммунисты не стремятся захватить власть. Зря они только требуют выхода из НАТО*. Неужели им до сих пор не ясно, что коммунистические идеи можно исповедывать только под защитой пушек этой организации. Ведь Дубчек и Смирковский попробовали без этого — известно, что получилось. Но положение обязывает. Революционная демагогия сама может их вынести к власти. Ведь молочные реки в кисельных берегах уже обещаны, и соблазненные могут потребовать исполнения обещаний.

* Теперь как будто они уже против выхода из НАТО. Хотят, войдя в правительство, разрушить эту организацию изнутри.

Дьявол легко не отпускает. Кстати, эта проблема остаётся и после захвата власти. В связи с этим как раз и приходится применять неодобряемые методы.

Между прочим на Америку тоже всё-таки не стоит так сильно ополчаться — всё-таки на ней всё держится. И что вам всем так эта Америка далась? Страна как страна*. Всё символы вам, как демоны, не дают покоя, мутят зрение и логику. И от этой самоубийственной логики Вы не можете освободиться даже тогда, когда речь идёт о жизни и смерти Израиля. Вот Вы с пафосом называете Голду Меир и Эшкола — милитаристами. Психологически это понять не трудно. Официальная левая пропаганда называет милитаристским весь Израиль, включая Вас, Вам и хочется отмежеваться — сказать, что нет, не весь, хоть милитаристы, конечно, есть и у нас. Вот они. Они плохие, а я хороший.

Я вполне понимаю, что в Израиле когда-нибудь будут и милитаристы, возможно, они даже есть и сейчас. Но вопрос в другом: как Вы их отличаете от всей массы населения воюющей за жизнь страны? Разве Вам надо рассказывать, что Израиль хотели, хотят и будут и дальше хотеть уничтожить? Почему же его руководители — милитаристы? Потому что не хотят без всяких условий возвратиться к границам 1967 года? Но Вы, кажется, и сами не очень этого хотите. Трудно забыть, что тогда, когда эти границы существовали, Израиль всё равно считался агрессором, только военное положение его было хуже. То, чего сейчас требуют от Израиля, — это изменение линии фронта в пользу противника, не желающего заключать мир. С какой стати он должен это делать? Или они милитаристы

* Теперь, вдоволь попутешествовав, считаю её очень хорошей страной, может быть, лучшей в мире. Хотя и она — часть этого греховного мира. Но если и предаёт — то всё-таки в последнюю очередь. Франция — в первую.

потому, что вооружили страну? Есть ли у Вас дети, г-н Кеннан? Что бы с ними было, если бы люди послушали их папу и не вооружились? Или Вы этого не говорили? Тогда что Вы вообще говорили? Или логика — буржуазный пережиток? Но ведь иногда она стреляет?

АНТИСЕМИТСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Между делом Вы говорите, что, конечно же, поведение советских руководителей в ближневосточном конфликте не объясняется таким бескорыстным мотивом, как антисемитизм, что руководят ими какие-то более глубокие прагматические и циничные соображения.

Тут Вы, и не только Вы, говорите вещи, которых не знаете. Впрочем, и сами советские руководители вряд ли могли бы Вам объяснить, что ими руководит (в основном, я думаю, комплекс неполноценности и страшная инерция не ими начатого дела), но прагматизмом тут и не пахнет. Разумеется, они могут быть вполне прагматичны в достижении тех или иных целей, но все эти цели лежат или в стороне, или в направлении, противоположном тому, которое может интересоваться сегодня любое российское правительство, — в стороне от подготовки к отражению почти неминуемого китайского нашествия, от создания антикитайского блока держав. Вне этой цели любые успехи советского правительства, принося неисчислимые беды народам, только ухудшают положение нашей страны. Даже захват Европы ничего бы в этом смысле не дал и не был бы успехом, а ослабление Запада, которым только и занимается советское правительство (и в рамках которого находят прагматическое объяснение его ближневосточной политики), — это не что иное, как ослабление единственно возможного

тыла и единственно возможных союзников. Тем не менее эта работа ведётся все время — пусть спустя рукава, рутинно и т. д. Но ежедневно и без серьёзного противодействия. Ведётся не из каких-либо высоких причин, а по инерции, потому что есть люди, которым она поручена, и они должны проявлять активность. И доказывать свою необходимость и результативность. И они — доказывают. И из этого бюрократического недоразумения и происходит мировая политика сверхдержавы. Я сам понимаю, что моё объяснение выглядит примитивно. Но в наш сложный век многое объясняется иногда только примитивно, и это соответствует реальности. Поэтому нельзя заранее отказываться от того или иного объяснения только потому, что оно выглядит примитивно.

Например, Вы совершенно зря исключаете антисемитизм как объяснение советской ближневосточной политики. Я не утверждаю, что это единственное объяснение, но знаю, что антисемитизмом правящий слой Советского Союза пронизан сверху донизу. Кстати говоря, тот случай с подводной лодкой, который Вы описываете, трудно объяснить чем-либо ещё*. Рассказов об этом антисемитизме достаточно, некоторые, наверняка, доходили и до Вас. Правда, есть среди них и недоказуемые. Трудно доказать, хотя это происходит сплошь да рядом — что людей специально заваливают на вступительных экзаменах в вузы или не

* Случай это, действительно, из ряда вон выходящий. В Средиземном море затонула израильская подводная лодка. На её сигналы бедствия откликнулись английский, турецкий и греческий корабли. Но — опоздали. Находившийся же к ней ближе всех советский военный корабль на эти сигналы не откликнулся. А вечером этого дня московское радио издевательски поносило всех, кто пытался спасти гибнувших людей. Автор говорит, что даже во время второй мировой войны даже германские подводные лодки (кроме лодок СС), потопив вражеский корабль, всплывали на поверхность и оказывали помощь его команде. Я абсолютно убежден, что и

советские корабли в любом другом случае не позволили бы себе такого поведения. Безусловно, здесь есть и приспособление к арабской психологии (хотя и арабы сами вряд ли бы себя так вели на море). Но то, что позволило советским лидерам такого рода приспособленчество, — объясняется и их антисемитизмом, т. е. отношением к евреям, даже когда они воины, иначе, чем ко всем остальным людям.

Этот антисемитизм советского правящего слоя отличен от антисемитизма, основанного на предрассудках, хотя эти предрассудки стимулирует и на них опирается. Ярость его усиливается памятью об «еврейском засилии», имевшем место в двадцатых и начале тридцатых годов. Тогда, действительно, в советском аппарате и центральном руководстве было непропорционально много евреев. Но это никак не было результатом ставящего себе сознательно именно такую цель мифического «еврейского заговора», как полагают антисемиты по обе стороны железного занавеса, а результатом общей политики советской власти, которая всегда должна на кого-то против кого-то опираться. Тогдашней её тактикой была опора на инородцев против коренной нации. Инородцам («представителям ранее угнетённых народов») предоставлялись большие возможности (но не права — прав в СССР никто не имел и не имеет), чем представителям коренной нации. В силу многих причин (прежде всего большего процента грамотных) евреи могли легче, чем другие инородцы, использовать открывшиеся перспективы. Да и больше побуждений у них было к этому — после тех ограничений, которым они подвергались до этого. Впрочем, об истории этого вопроса я уже писал (см. «Континент» № 2). Хотелось бы только подчеркнуть, раз об этом зашла речь, что советский антисемитизм органически вытекает из советской люмпен-бюрократической психологии и её представления о мире, должном, возможном и допустимом. Согласно этим представлениям, любая точка приложения человеческой активности и инициативы является государственной собственностью и распределяется согласно государственным надобностям. И очень редко это распределение зависит от личного соответствия распределённому месту и даже «выходу продукции». Все роды занятий становятся синекурой. Почти все. Из такого положения антисемитизм (и вообще расизм) растёт сам собой. И в рамках такого отношения к вещам он не только оправдан, но и справедлив. Зачем раздавать синекуры «чужим», когда лучше — мне? И, тем более, зачем непопулярному государству выглядеть при этом еще и инородческим?

принимают на работу по расовому признаку. Тут всегда можно в ответ сослаться на личные пристрастия, частные случаи и т. д.

Но поскольку советское государство — государство идеологическое, лучше я коснусь именно этой, идеологической, — области. Итак, идеологические доказательства государственного антисемитизма:

1. До сих пор процесс врачей не осуждён как процесс, специально направленный против евреев в целях их компрометации в глазах остального населения. Не была осуждена и пропаганда, связанная с процессом.

2. Не была осуждена и так называемая «борьба с космополитизмом», когда евреи обвинялись в том, что у них нет родины, и на этом основании изгонялись со службы. Более того, этот термин всплывал в советской печати и после XX съезда КПСС.

3. Шум вокруг «Бабьего Яра» Евтушенко и 13-й симфонии Шостаковича. Ничем, кроме животного антисемитизма, он объяснить быть не может. Как и шум вокруг подлинного Бабьего Яра, где теперь вопреки всем русским, украинским и христианским традициям устроен парк культуры и играют в волейбол. Правда, в стороне от места событий стоит обелиск, на котором написано, что здесь погибли советские граждане (без указания национальности). Действительно в Бабьем Яру лежат не одни евреи, и все имеют право на память. Но только евреи здесь убиты исключительно за свою национальную принадлежность. Этот факт и затушёвывается.

4. Расширенное толкование слова «сионист» в советской печати. Этим словом называется не только любой еврейский деятель, но и просто любой деятель еврейского происхождения в свободном мире, если в данный момент он не очень выгоден советским властям. В то же время «сионистское» — это всё еврейское. Но в то же время — нечто, связанное или с сионскими мудрецами, или с чем-либо в этом роде. Обыч-

но считается, что сионизм — игрушка в руках американского империализма. Но печально знаменитый писатель Шевцов заявил, что всё наоборот: что американский империализм — игрушка в руках мирового сионизма. Его, правда, критиковали, но — напечатали. В подконтрольной печати. Собственно говоря, никакой крамолы он не сказал. Термин «сионистский капитал» употребляется вполне официально, а это — «марксистская» калька гитлеровского термина «еврейский» капитал.

5. В издаваемой во время чешских событий на чешском языке советской газете «Вести», вся «пражская весна» (а она, естественно, расценивалась отрицательно) объяснялась еврейскими (пардон, сионистскими) — происками. Такая же кампания велась и в открытой советской печати. Вообще, всех, кто ему мешал, советское правительство стремилось объявить (и на закрытых политинформациях объявляло — например, Сахарова и Солженицына) евреями, ориентируясь при этом на тех, для кого само это понятие — отрицательно, и ориентируя остальных на то, что так это и следует понимать.

6. Публикация в газете «Известия» письма мнимой или подлинной г-жи Шапиро из Лос-Анжелеса. В этом письме утверждается, что такие же плохие люди, как те, кто сегодня выступает против советского антисемитизма, и довели бедного Гитлера до того, что он стал таким как стал. Ни больше, ни меньше. И совершенно неважно, существует ли г-жа Шапиро на самом деле. В конце концов любая дура может написать, что ей взбрédёт в голову, а любая газета может это напечатать, как письмо читателя. Любая, но не советская. Контроль над печатью — добродетель, которую советские лидеры утверждают открыто (в дни Чехословацкого кризиса), и ни один редактор не напечатает ничего, что может оказаться «не в духе». Тем более, редактор официоза, тем более, в подборке

политических писем. Следовательно, кто бы это ни написал — г-жа Шапиро или выдумавший её работник «Известий» — это сознательный акт советского руководства. Акт антисемитский*.

Я отнюдь не утверждаю, что все советские лидеры — антисемиты. Но я утверждаю, что антисемиты среди них есть, что они влиятельны и с каждым днём всё время берут верх. Очень им помогает ближневосточный кризис, в котором руководство должно всё время отыгрываться, ибо и поражения, и победы в этом конфликте его компрометируют. Так отыгрываясь, оно и создало антисемитский интернационал, о котором мечтал, но который не мог создать Гитлер.

Произошло это следующим образом. В один прекрасный для арабских националистов день коммунист Тито нанёс визит коммунисту Хрущёву и, как один из создателей «третьего мира», поведал ему, какой прекрасный человек националист (и бывший гитлеровец) Г. А. Насер и как он ненавидит империализм. И Хрущёв вдруг понял, как он сможет (на кой только чёрт ему это нужно было? — но это другой вопрос) ущучить империализм в этом нефтеносном районе. Кроме того, имело, вероятно, значение и естественное

* Со времени написания этой работы произошло многое, позволяющее подозревать за этим письмом г-жи Шапиро подделку, ибо слишком оно вплетается в сплетения советской пропаганды. Во-первых, было сделано открытие, что Бабий Яр устроили сами сионисты (т. е. евреи). Во-вторых, был опубликован ряд статей откровенно антисемитского и даже расистского содержания (на пример, статья Бегуна в «Немане» № 1, 1973 г.), где даже организация «Джус фор Крайст» объясняется тайными замыслами её членов. А также ряд статей в «Вопросах истории».

Кроме того, о более грозных симптомах, см. М. Агурский «О неонацистской опасности в СССР», особенно приложения. Не надо забывать, что преследования Шевцова не имеют ничего общего по абсолютности с преследованием таких лиц, как Марченко. Осипов был посажен в тюрьму, когда чётко выяснилось его нежелание быть фашистом. Так что направление преследований — самоочевидно. Исключение ВСХСОН. Но ВСХСОН хотел не ассимилировать эту власть, а свергнуть её.

для примитивного (хотя и лично не жестокого) антисемита, каким был Хрущёв, желание помочь человеку, которого «жиды заели». И началась игра. Министр иностранных дел СССР Шепилов (тогда еще не «прикнувшийся», как его стали звать потом) тут же объехал все арабские страны вокруг Израиля, но отклонил приглашение посетить Израиль. И началась проарабская политика Советского Союза. Но поскольку СССР — государство идеологическое, то с этого мгновения Израиль (который до этого момента, несмотря на советский антисемитизм, пользовался некоторой поддержкой коммунистических, в том числе и арабских коммунистических, партий) автоматически стал форпостом империализма, а арабские страны (и жаркий арабский национализм) — форпостом мировой революции (это вовне, внутри СССР — ограничивались указаниями на антиимпериализм арабского движения, а о мировой революции не заикались даже). Разумеется, всё это стимулировало и окрыляло советских антисемитов. Можно было ругать жидов за то, что пьют кровь младенцев — но уже как бы и без нарушения марксистского декорума. И это действительно выглядело как антисемитский рай: с одной стороны, к евреям внутри страны относились как к гражданам второго сорта, с другой, вне страны — всеми средствами мешали им создать собственное государство. Правда, поначалу цель была не уничтожение Израиля, а его мучительство. Нельзя сказать, что сопротивления компартий Запада не было вовсе. Слишком резкой была переориентировка, которой от них требовали для единства. Они не могли, например, понять, почему в принимаемой декларации должен быть специальный пункт о борьбе с сионизмом, ведь борьба со всяким национализмом — альфа и омега коммунизма. Но их уломали, слегка уступив — рядом отметили еще и необходимость борьбы с антисемитизмом. Это успокоило совесть наиболее «самостоятельных» и окончательно легализовало практиче-

ский антисемитизм в международной коммунистической пропаганде. (Борьбы с антисемитизмом от компартий ничто, кроме резолюции, не требовало, а тут — другое дело). Конечно, какая-нибудь интеллектуальная «Унита» некоторое время пожалась, посложничала, но теперь уже полностью дует в общую дуду. И сегодня все коммунистические партии сообща честно трудятся над уничтожением Израиля. Сначала из-под палки, потому что так велено, а потом они нашли этому диалектическое объяснение и привыкли. И уже по логике неправой борьбы обрели настоящую ненависть. Ведь всё время приходится себя настраивать и уверенно опровергать неопровержимые аргументы. Поневоле озлишься...

За организованными партиями, отрицая их за недостаточную крайность, идут слепо другие левые группы. Они и здесь всё время стремятся перепллунуть «оппортунистов» в революционной ненависти к «империализму». Эти люди живут в мифическом мире, но, как показали убийства в аэропорту Лод, оружие в их руках вполне реальное. И можно считать, что каждый ребёнок, убитый в Израиле террористом, убит левыми или коммунистами: их сочувствие всегда на стороне убийц, хотя иногда они их осуждают за тактические просчёты или из тактических соображений. Это и есть антисемитский интернационал. А всё началось с того, что советскому правительству надо было оправдать свою политику...

Всё этим началось, но этим не кончается. Из этого возникают другие коллизии. Западный обыватель жаждет мира. Не столько потому, что он пацифист, сколько потому, что он не любит, чтоб его беспокоили. Евреи западного мира такие же обыватели, как все, но они болеют душой за Израиль и, как могут, поддерживают его. Тем более, что никаких оснований не поддерживать его у них нет: дело Израиля правое. Поэтому сперва, когда это ничем не грозило, запад-

ный обыватель скорее склонен был восхищаться Израилем и сочувствовать ему: он борется за жизнь. Шестидневная война, позорное поражение в ней советской политики поставили перед советским правительством задачу: завоевать западное общественное мнение. С этой задачей оно справилось блестяще — в основном, методом запугивания войной. Объяснялось и внушалось, что для СССР — «защита» арабов — дело чести, и что он в обиду их по каким-то высоким государственным соображениям дать не может. По каким — на этом внимание не останавливалось, но давалось ясно понять, что уступить должен обязательно Запад. И все это «понимали», ибо всё на Западе горит жаждой войти в положение и понять людоеда, который, конечно, ведь не может не питаться человечесиной. Дальше оказывалось, что на земле уже давно царили бы мир и благодать, если бы не «сионисты», у которых в западном мире такие сильные позиции и которые хотят заставить народы, среди которых они живут, воевать за своё несправедливое дело. (Разумеется, и западный обыватель догадывается, что сионисты — это евреи.) Таким образом стратегией советского правительства, а вместе с ним и находящегося у него на побегушках антисемитского интернационала стала стратегия глобального антисемитизма. Разумеется, как я уже говорил, она не целиком объясняется антисемитизмом советских руководителей, но он, безусловно, облегчает дело. И, конечно, фанатические крайние элементы подливают всё время масла в огонь.

Стратегия эта была не целью, а одним из тех грязных средств, которыми никогда не брезговало советское правительство. Но это средство, в природе которого есть всё, чтобы стать целью. И если этой стратегии не будет оказано должного сопротивления, она принесёт неисчислимые бедствия всем людям еврейского происхождения. И только ли им?

СУБЛИМАЦИЯ СТРАХА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Исходя из всего изложенного, трудно предположить, чтоб я питал какие-либо тёплые чувства к советским руководителям. Я их и не питаю. Но когда я слышу рассуждение о том, что всё это потому, что «они не революционеры, а могильщики революции, присвоившие её одежды» (а когда-то я и сам был этим озабочен), я не могу на это не возразить. Мне всё равно, кто революционер, кто могильщик, но должен прямо сказать, что к нашим родным советским вождям я отношусь гораздо лучше, чем, допустим, к итальянским образованным, верующим и либеральным коммунистам. Может быть, последние мне даже ближе (духовными грехами, в основном), но они — хуже. Хотя наши и опасней. Может быть, даже опасней, чем сама революция, чем они сами думают, ибо понятия не имеют, куда их несёт и занесёт. Но их — несёт, а эти поступают так — путём добровольного выбора.

Трудно заподозрить меня в духовной близости с советскими руководителями, но всё-таки нечто общее у нас есть. Во-первых, ни я, ни они — не коммунисты, а во-вторых (это вытекает из во-первых), ни я, ни они всего этого не устраивали, а только одинаково попали в это, как кур в ошип. Когда они выходили в жизнь, для того чтобы делать карьеру (даже в самом лучшем смысле этого слова), надо было как-то приспособиться к царившей тогда атмосфере левой идеологии и фанатизма. Не их вина, что они постепенно приспособили это к себе — это произошло незаметно от них самих, от их воли и сознания. Не их вина, что приспособленное к их потребностям всё это потеряло всякий смысл и что сумятица, образовавшаяся на месте этого смысла (как я всё время доказываю — довольно жестокого, хоть и романтического), и стала их внутренним содержанием на всю жизнь. Ведь в конце

концов даже Сталина, который их вознёс, выдумали и выдвинули не они. Да и возможно это стало только после того, что было сделано с Россией другими. И поэтому должен со всей откровенностью сказать, что к Брежневу, какой он ни есть и как плохо я к нему ни отношусь, я отношусь всё-таки намного лучше, чем к Ленину, а к Андропову — намного лучше, чем к Дзержинскому. Всё-таки не такие они одержимые палачи, как их романтические, верней, романтизированные предшественники.

Вам эти слова могут показаться непоследовательными, но это — правда. Да и нет здесь ничего удивительного. Просто к судьбе моей страны я отношусь гораздо ответственней, чем западная интеллигенция к судьбам своих стран, которые, мягко говоря, предоставляют ей гораздо больше возможностей для жизни и самовыражения. Не говоря уже о материальном уровне. Как ни отвратительно это государство, даже оно всё-таки лучше анархии и поножовщины. Правда, деятельность правительства направлена на то, чтоб лишить это государство последних опор и нравственных оснований, а это очень опасно — особенно после опустошений сталинского периода. Желание разогнать и подавить все сознательные (но отнюдь не экстремистские) силы страны — желание антигосударственное. Но это уже нечто другое. Да, у них не хватает ни сил, ни мужества, ни ума осознать положение и выбраться из ямы. Но, повторяю, эта яма — не была предметом их добровольного выбора. Только и всего. Ведь они не только носители несвободы, они прилежные её воспитанники, они не только терроризировали других, но с детства были терроризованы сами.

А террор, господин Кеннан, как я уже писал, — дело серьёзное. Разумеется, я говорю о терроре не индивидуальном, а массовом. В те времена, когда я учился в школе, террористов-народников даже в детских учебниках открыто осуждали за то, что они не

понимали разницы между порочностью индивидуального террора и благотворностью массового*. Массовый террор действительно даёт больше эффекта — конечно, после захвата власти. Террор тогда как бы творит мир, мир безграничного конформизма. Он действует в этом смысле и на терроризируемых и на терроризирующих и довольно успешно понижает уровень представления о себе как отдельных людей и целых народов, так в конечном счёте и всего человечества, которое вынуждено мириться с ним. Особенно если страна, в которой утвердилась власть террора, достаточно большая или значительная (как СССР, Германия или Китай). Мир, который творит террор, утверждается настолько естественно, что люди, которых не удаётся терроризировать, выглядят даже не совсем прилично: как монстры, чудаки или уж обязательно выскочки. Задача террора в том и состоит, чтоб тот закуток, куда человек загоняется, воспринимался последним как естественное жизненное пространство, в котором можно свободно жить и даже «дышать», быть счастливым. Человек, боящийся расстрела, еще не терроризован. Он просто в тяжёлом положении и это положение сознаёт. Он — еще свободен. Терроризованным он станет тогда, когда жить в этом закутке ему станет легко. Конечно, всему этому способствует и то, что террор так или иначе в значительной степени почти снимает весь активный и самостоятельный слой народа. Как хозяйка — пену.

Кстати, та советская романтическая литература двадцатых годов, которой до сих пор поклоняется революционный авангард на Западе, создана — я в этом глубоко убеждён — только сублимацией страха**.

* Во второй половине тридцатых годов писать это перестали, но, как известно, это не означало, что террор к этому времени смягчился.

** Разумеется, к этому не имели или почти не имели никакого отношения подлинные большие писатели: Булгаков, Зощенко, Платонов, Ахматова, Мандельштам, Пастернак.

Интересно, что создали её отнюдь не сами большевики (последние не очень в этом нуждались, и даже «Чапаев» Фурманова — вещь не романтическая), а так называемые попутчики, участие которых в революции и в гражданской войне в лучшем случае носило случайный характер, было вынужденным и пассивным.

Революционная действительность была столь страшна и противоестественна, настолько пронизана открытым и жёстким аморализмом, что сознание отказывалось её принять. Тем не менее, это была действительность, а жить надо было. Оставалось только одно: убедить себя, что это не она неприемлема, как было на самом деле, а ты сам неприемлем со своими обветшавшими представлениями о добре и зле. А для этого — восхититься этой действительностью, распростёршись пред нею ниц, как перед иконой. Оставалось поверить, что она не уродлива, как было на самом деле, а прекрасна какой-то новой, недоступной тебе — вследствие твоей органической ограниченности — прелестью. Это было тем легче сделать, что она — иногда искренне — обещала все блага (материальные, которых он был лишён) народу, и протестуя против неё, ты как бы становился врагом этого по корыстным мотивам, отщепенцем, мелкобуржуазным интеллигентом, опять-таки.

Я сейчас не пишу об исторической судьбе этих людей. Некоторые зашли так далеко в своём восхищении, что отнеслись ко всей идеологии серьёзно. Однажды став на сторону невероятного, они в своём восхищении зашли так далеко, что уже самое эту действительность стали критиковать за недостаточную невероятность (революционность). И погибли на пресловутом следующем этапе. Но большинство перенесло своё умение восхищаться (и объяснять) и на Сталина, правда, не всегда встречая сочувствие в последнем (и следовательно не всегда спасая свою жизнь).

Сейчас я хочу сказать о другом. Я хочу подчерк-

нута, что первоначальной основой энтузиазма многих романтиков был страх (и радость, что есть какой-то порядок, что, как говорит Зощенко, «булки стали выпекать»). Но это — в духе времени не осознавалось, т. е. сознавалось как восторг. И очень жаль, что то, что в своё время было рождено страхом, сегодня продолжает рождать восторг. Шаткие всё-таки основания у этого восторга.

В этой обстановке воспитывались люди, которые сегодня стали советскими лидерами, и это — именно это, а не что-либо другое — несут они сегодня в мир, я бы сказал, с рутинной активностью: свой испуг, перекрытый, но не уничтоженный наглостью, свой цинизм, вынесенный из опыта, свою безжалостность, которую они переняли в детстве у людей, которым такие, как Вы, поклоняются до сих пор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тем более дорожу я свободой цивилизованных обществ. Во-первых, потому что мне вообще дорога свобода. Во-вторых, я знаю, что пока Запад свободен, у нас еще есть основания для надежды. Не потому, что мы рассчитываем на его активную помощь (достаточно просто расширить ту, которую нам и сейчас оказывают информацией о нас и заступничеством). Нам просто необходимо сознание, что где-то рядом свобода еще существует. Именно поэтому я так остро воспринимаю гибель свободы в любой точке земного шара. Если где-то погибла свобода, значит, её вообще на земле стало меньше, и она стала слабей. И еще безысходней стала жизнь, особенно наша.

Меня очень возмущают те «филантропы», которые утверждают, что голодным нужна не свобода, а хлеб. Странная альтернатива! На самом деле если

человека удаётся лишить свободы, лишить его после этого хлеба — проще простого.

Вспомните искусственный голод на Украине в 1933 году. Много ли выиграли украинские крестьяне от того, что не могли защитить себя, когда их в урожайный год морили голодом? — за то, видите ли, что они не хотели работать в колхозе...

Нет, со свободой шутки плохи. Она действительно сама по себе ничего не решает, не делает людей ни счастливыми, ни талантливymi, не уничтожает подлости и т. д. Но стоит её уничтожить, и все отрицательные качества становятся господствующими. Воздух тоже ничего сделать не может, но попробуйте прожить без него. Свобода — как воздух. Прежде всего для духовной жизни, но и для материальной тоже. И вообще, если нет свободы, в любой момент — примитивно — сочтут нужным, и убьют.

Свободой можно не дорожить только если живёшь в кругу разгорячённых и честолюбивых единомышленников, связанных с тобой общей безответственностью, которую, как я уже сказал, они поддерживают в тебе, а ты в них. Иногда это можно принять за вдохновение, но это — в прострации властолюбия. Впрочем, у этой прострации есть серьёзная культурная (верней, антикультурная) традиция.

Я уже писал, что большевизм — идеология жеванской эмигрантской политической богемы. Но надо помнить, что эта богема многими нитями была связана со многими другими — отнюдь не только политическими — богемами XX века. И традиция безответственного отношения к важнейшим ценностям у всех этих богем — общая.

Разве традиция обязательного новаторства, «современности» в искусстве (в смысле отрыва сегодняшнего дня от всей массы истории культуры), обязательной непохожести и ненависти ко всему обычному в человеческой жизни — идёт не оттуда? Разве горьков-

ское презрение к людям, выражающееся в строках «Ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют», — не оттуда же? Как будто о каждом достойном человеке поют песни и рассказывают сказки!

Этот дух бессмысленной гордыни, боязнь затеряться в истории и молве, одинаково живёт и в традициях интеллигентского большевизма, и в традициях художественных богов. Речь идёт не о подлинных художественных произведениях, которые создавались и в это время, а о той нездоровой обстановке, которая была вокруг, о традиции отношения к творчеству как к революции, а не как к откровению.

Именно в этой традиции — «набрасываться на «простейшие нравственные связи», как говорил по другому случаю знаменитый русский историк В. О. Ключевский: «Зачем любовь?», «Зачем семья?», «Зачем дети?». В этом джентльменском наборе вполне на месте и вопрос: «Зачем свобода?»

Впрочем, ответить на него просто: «Потеряете — узнаете, зачем». Мы — узнали.

Трудно назвать все причины этого бунта против культуры и духа, против здравого смысла. Может быть, человечеству, особенно интеллигенции, просто трудно приспособиться к условиям сытости и свободы — ведь несколько веков весь смысл её борьбы был именно в этом, в лозунге «Хлеба и свободы!» А теперь есть страны, где и того, и другого, вроде, достаточно. И вроде бы, интеллигенции теперь нечем стало жить. Почему же не протестовать! Тем более, если — что греха таить — человечество всё равно от этого идеальным не стало.

Конечно, не стало. Да и не станет никогда. Но лучше, чтоб оно было сыто и свободно, чем наоборот. Хотя, конечно, и свобода — не фетиш. И вовсе нет никакой нужды всё время безгранично её расширять — тем самым губя тот элементарный минимум свободы (ограниченной законом, т. е. свободой других людей),

без которого жить становится действительно невыносимо. Всем, а не только любителям сильных ощущений. Конечно, бывают несчастные обстоятельства, когда нет иных выходов, кроме бунта. Но на то это несчастные обстоятельства, и их не следует романтизировать. Их следует стыдиться и до них не доводить. Способствовать же созданию таких обстоятельств («революционной ситуации») с целью испробовать свой новый гениальный план превращения — после этих несчастий — всего общества в рай — преступление.

Кстати говоря, не кажется ли Вам, что человек, которого обычная человеческая жизнь не развлекает и которому она не даёт побудительных импульсов для творчества (конечно, кроме случаев, когда он просто по молодости еще не знает себя) — человек бездарный? Мне — так очень даже это кажется. Получается, что прогрессивное человечество весь XX век идёт исключительно за бездарными людьми, стремящимися морем крови залить собственную бездарность. Видимо, действительно как-то по-особому действуют в этом веке на нашу кровь звёздные лучи!

Взгляните на карту мира, господин Кеннан. Много ли места в мире занимают страны, на территории которых человека нельзя посадить в тюрьму только потому, что этого захотел глава государства? Мало. Очень мало. Неужели Вас это не пугает? Меня — так даже очень пугает.

Странные всё-таки заботы у теперешней интеллигенции. Один из её вождей, долго живший в СССР венгерский марксист Георг Лукач, хорошо знавший, чем это всё чревато и считавшийся среди марксистов либералом, вдруг перед смертью заявил, что несмотря ни на что, «самый плохой социализм лучше самого хорошего капитализма». Другими словами, получается: «Самая плохая диктатура лучше самой хорошей демократии, если та допускает частную собственность». (Ибо что такое социализм, никто не знает,

знают только, что к нему надо стремиться и ничего при этом не жалеть.) Единственное оправдание этих слов — если они вынуждены. Разумеется, на Востоке, где они сказаны, их влияние равно нулю, но на Западе они оказывают только вредное влияние — хотя и не имеют смысла. А ведь Лукач был человеком совсем не глупым и совсем не тёмным. Просто он не смог под старость лет вылезти из-под развалин той доктрины, которой служил всю жизнь.

Всё это вместе создаёт какой-то фантасмагорический мир ценностей. Попробуйте вникнуть хотя бы в смысл лозунга «социализм с человеческим лицом». Этот лозунг явно исходит из понимания того, что все социализмы, которые были до сих пор, такого лица не имели. Это правда. Он настаивает на том, что возможен и такой социализм. Я в это не верю, но допустим, что это так. Меня сейчас интересует не реальность или фантастичность этого лозунга, а направление его озабоченности. А направление это простое. Прежде всего обелить социализм. Поскольку социализм возможен (раз «мы» в это верим и это говорим) и с таким лицом, то — опять-таки — «Да здравствует социализм!». Т. е. что бы то ни было, главным в этой озабоченности остаётся абстракция (к которой все обязаны стремиться) и только желательным — человеческое лицо. А может быть, всё-таки главная ценность — это человеческое лицо, а социализм при нем может быть, а может и не быть — в зависимости от того, как он обеспечивает сохранение и проявление этой главной человеческой ценности? Разве не так? Почему ж этого не замечают?

Мне очень не хочется, чтобы наш страшный опыт не был учтён и пропал даром. Мне кажется, что мы живём в то время, когда надо стремиться не к какому-то новому небывалому миру, а только к спасению, распространению и духовному освоению хотя бы тех немалых достижений, которые уже есть у человечества.

Духовно освоить эти достижения — значит освоиться в мире, созданном ими. Допустим, не быть расточительным при изобилии («уметь самоограничиться», как говорит Солженицын) и не хулиганить, когда есть свобода. Это отнюдь не означает, что не надо заниматься практическими улучшениями жизни и управления, но это значит, что не надо убивать муху на лбу топором. Вперёд же — если возникнет такая потребность — можно двинуться и когда-нибудь позже.

Закончить — поскольку теперь в большой моде Восток — мне хочется тоже по-восточному:

— Слушайте, люди города, и не говорите, что вы не слышали.

Собственно, я не очень верю, что Вы или Ваши «друзья» последуют моему призыву и задумаются над моими словами и моим опытом. Но поскольку меня мучала совесть по поводу того, что никто из нас не говорил с вами об этом прямо*, я всё-таки хочу это сделать. Хотя бы для очищения совести.

Итак, пока еще есть время,

СЛУШАЙТЕ, ЛЮДИ ГОРОДА!..

*Москва-Рим-Бостон,
1970-1975*

* Это написано в 1970 году. С тех пор об этом уже, как я отмечал, писали Солженицын, Сахаров и некоторые другие авторы. В этом вопросе расхождений с ними у меня нет.

Редакция приглашает авторов и читателей принять участие в обсуждении проблем, поднятых в этой статье.

«ИНДЕКС»

Журнал по вопросам цензуры

№ 3 — 1976

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 1968-76

Вацлав Хавел:	Аудиенция (Пьеса)
А. Б. Новак:	Запрет на Марту Кубишову (Музыка)
О. Сойка:	Границы молчания (Литература)
В. Шимек:	Семь скудных лет (Театр)
А. Лим:	Торжество бесталанных (Кино)
А. Леви:	Тростник, который сгибается, но не ломается (Мемуары)

США

Розенбаум и Косси:	Мартин Состре — Вопрос справедливости

Южная Африка

Бенджамин Погрунд:	Пресса в Южной Африке

Аргентина

Мигел Кабезас:	Похищение Харолдо Конти

Редакция рада объявить о присуждении первой Премии имени Джорджа Орвелла Людвигу Вацулику за его статью «Неразрешённые Мысли», опубликованную в журнале «Индекс», № 4, 1975. Эта премия будет присуждаться ежегодно издательством Пэнгуин Букс за статью, эссе или серию статей, опубликованных в Великобритании и комментирующих текущие политические, культурные или общественные вопросы в какой-либо стране мира.

Годовая подписка: 5.00 ф. ст. (14 дол. США) за 4 номера.

Адрес редакции: 21 Russell Street, London WC2B 5HP.

Заказы на подписку направлять: Oxford University Press, Journals Dept., Press Road, London NW10 0DD, England.

В США и Канаде журнал распространяется по книжным магазинам издательством Рэндом Хаус Инк. 6 Нью-Йорк.

Random House Inc., New York.

Восточноевропейский диалог

Аделаида Л а м б е р г

Эстонские диссиденты — за независимость

В сентябре 1974-го года Эстонский Информационный Центр в Стокгольме получил, через нелегальные каналы, из Советской Эстонии два меморандума, предназначенные пленуму ООН и генеральному секретарю этой всемирной организации Курту Вальдхайму. Меморандумы были посланы от имени Демократического Движения и Эстонского Национального Фронта и датированы: Таллин, 24-го октября 1972 года.

В январе прошлого года в Стокгольм прибыли, также нелегальным путем, из Таллина два письма, датированные 23-м и 25-м декабря 1974 года. Одно из них, обращенное к Курту Вальдхайму, было подписано: «Эстонское Демократическое Движение», другое — западным газетам и радиостанциям — от «Группы эстонских патриотов».

Эстонский Информационный Центр переслал меморандумы и письма, несмотря на большое запоздание, адресатам и также, согласно желанию отправителей, издал в печати для распространения.

С 21-го октября по 3-е ноября 1975 г. в Таллине состоялся закрытый судебный процесс. На скамье подсудимых были пять человек, которых обвиняли в составлении и распространении вышеупомянутых меморандумов и писем.

Одним из подсудимых был инженер Сергей Солдатов (41 год), уроженец Ленинграда, переселившийся в Эстонию. Он был до 1966 года преподавателем машиностроения в Таллинском техническом институте, когда его уволили из Института из-за отказа вступить

в партию и назначили на низшую педагогическую работу в ремесленном училище. В 1968 году его имя было связано с делом офицеров Краснознаменного Балтийского Флота на базе в Палдиски в Эстонии*, и его сняли вовсе с педагогической работы. С тех пор он получал только случайные работы, и то не по своей профессии.

Солдатов был арестован 4-го января прошлого года. Кагэбисты, обыскивая его квартиру, нашли, между прочим, копию подпольного листка «Эстонский национальный голос» (мать Солдатова — эстонка).

Другие подсудимые, арестованные 13-го декабря 1974 г.: Артём Юшкевич (43 года), инженер, заведующий отделом технической информации промышленного комбината «Силикат», партийный; Арво Варато (40 лет), врач одной из таллинских поликлиник; Кальо Мэттик (41 год), преподаватель автоматики в Таллинском техническом институте (при обыске у него кагэбисты обнаружили рукопись перевода на эстонский язык «Архипелага ГУЛаг»); Матти Кииренд (36 лет), старший инженер термоэлектрической станции в Таллине.

Предварительное следствие длилось десять месяцев. Арестованных держали в заключении в таллинской тюрьме КГБ. Солдатова послали в Институт Сербского для психиатрического исследования, но, продержав его сорок три дня, отослали обратно в Таллин.

Судебный процесс тянулся десять дней. Обвинение состояло в антисоветской пропаганде, агитации и организованной деятельности против государственной власти. Солдатов и Мэттик были приговорены каждый к шести, Юшкевич и Кииренд — к пяти годам тюремного заключения. Варато был наказан условно.

* «За пять лет ... Документы и показания». Мюнхен, 1972, стр. 247 и далее.

У него был найден «некоторый обвинительный материал» против других подсудимых.

В чем их обвиняли? Чего домогаются Эстонское Демократическое Движение и Эстонский Национальный Фронт?

Они выступили за право эстонского народа на самоопределение и требовали его независимости от Москвы. В меморандуме, адресованном генеральному секретарю ООН, сказано:

«Мы руководствуемся тем фактом, что три балтийских государства (включая Эстонию) — это единственные государства — бывшие члены Лиги Наций, — которые после второй мировой войны не испытали реализации ст. 3 Атлантической Хартии, относящейся к восстановлению суверенных прав и самоопределения тех наций, которые были насильственно лишены их. Мы хотели бы обратить Ваше внимание на хорошо известный факт, что судьба балтийских государств была определена в 1939-1940 гг. не народами этих государств, а тайным сговором между двумя империалистическими державами, которые установили свои сферы влияния за счет их меньших соседей. Все последующее развитие в трех балтийских государствах (включая выборный фарс 1940 года, на основе которого Эстония была «принята» в Советский Союз) следует рассматривать как усилия придать более приличную и легальную форму акции, которая фактически представляла собой аннексию небольших государств великой державой, проведенную путем военной оккупации и грубой силы. Эта аннексия никогда не была признана демократическими государствами мира».

Одновременно в меморандуме указывается, что за последнее десятилетие увеличилась иммиграция в Эстонию из других советских республик, главным образом из РСФСР. Из общего прироста населения за годы 1961-1970 (152 000) это увеличение составило 92 500 человек, т. е. 61% от общего числа. Только в одном 1970 году

из числа общего увеличения населения (19 000 человек) число механического прироста (т. е. посредством иммиграции) составляло 12 600 человек!..*

Население Эстонии (по данным переписи 1970 года) — 1,3 миллиона. Из этого числа эстонцев — 68,2%. В Таллине, столице Эстонской ССР, было в 1970-м году 363 000 жителей, из них эстонцев — 202 000 (56%), а в Риге, столице Латвийской ССР, число латышей уже снизилось до 40% (из 732 000 общего числа жителей — 300 000 латышей). Во время самого тяжелого периода русификации в Прибалтике, при Александре Третьем, в границах теперешней Эстонии насчитывалось 4% русских.

Большинство иммигрантов поселяются в городах, где им предоставляются и квартиры и работа, от высоких должностей — директоров промышленных предприятий и заведующих в администрации — до младших почтовых чиновников и заводских рабочих. Они и составляют в Прибалтике значительную часть компартии.

Так фактически вводится инородный «гражданский гарнизон»**, который служит базой для последовательной русификации и советизации, составляя одновременно прочный политический противовес всякой национальной деятельности со стороны коренного населения.

Сохранение этнической идентичности своих народов и развитие их национальных культур, без запрета и повелений с чужой стороны, — есть одна из главных целей эстонских, латвийских и литовских диссидентов в их борьбе за право политического самоопределения.

* Народное Хозяйство Эстонской ССР в 1970-м году. Таллин, 1971.

** Программа Демократического Движения Советского Союза. Амстердам, 1970, стр. 58.

Весьма ценимый нами профессор Шафаревич, в своей статье в сборнике «Из-под глыб»*, критикуя меморандум эстонских демократов, когда он ставил вопрос: «Так разве мало учила нас история, что это не верх государственной мудрости — выбрасывать многовековые связи, как ненужный хлам, что начинать надо не с того, чтобы «разрушать до основания», а с того, чтобы *менять* и *улучшать*», — наверно, не вполне учитывал следующие обстоятельства:

Во-первых, положение Эстонии, Латвии и Литвы отличается от положения других союзных республик СССР. Сталин, при помощи тайных приложений к своему договору с Гитлером, разрушил эти самостоятельные государства. Об этом уже много написано, напоминаем здесь только, что действительными осуществителями этого гнусного плана в 1940-м году были тогдашние выдающиеся государственные функционеры: Жданов — в Таллине, Вышинский — в Риге, Деканозов — в Каунасе.

Когда последний акт этой трагедии разыгрывался в Москве (присоединение балтийских суверенных республик к СССР, 6-го августа 1940 года), Молотов в Верховном Совете сказал:

«Первостепенное значение для нашей страны имеет тот факт, что отныне границы Советского Союза будут перенесены на побережье Балтийского моря, у нашей страны появляются незамерзающие порты, в которых у нас такая большая нужда»**.

Комментарии здесь излишни.

Во-вторых, эстонцы, латыши и литовцы отличаются от других народов Советского Союза не только этническим происхождением, но и историческим развитием и вероисповеданием (эстонцы и латыши —

* Обособление или сближение. Из-под глыб. Сборник статей. Париж, 1974, стр. 108.

** История Эстонской ССР. Таллин, 1952, стр. 443.

в большинстве протестанты, литовцы — католики). Это последнее обстоятельство не потеряло актуальности даже сегодня, несмотря на атеистический нажим в течение тридцати пяти лет.

Развитие национальной культуры и бытового уклада этих народов всегда ориентировалось на Западную Европу. В течение столетия под чужими властями им удалось сохранять свой этнический облик и национальные элементы своей культуры. При этом у них накопился большой опыт подпольной работы и пассивной оппозиции. Культурная, а также политическая подпольная деятельность и пассивная оппозиция — одна из наиболее драматических глав в историческом и культурном развитии эстонского, латышского и литовского народов.

Остается вопрос: что случилось сегодня с этим опытом и имеются ли у балтийских диссидентов контакты с русскими инакомыслящими?

Мы не знаем объема движения эстонских демократов, но можно сказать, что судебный процесс в Таллине, о котором была речь в начале этой статьи, не оказался для них сокрушительным ударом.

Это доказывает совместное письмо Эстонского и Латышского Демократических Движений «17-го июня 1975-го года, в 35-ю годовщину оккупации Эстонии, Латвии и Литвы Красной Армией» (так оно было подписано).

Письмо было предназначено главам государств, которые 1-го августа собирались в Хельсинки для подписания Декларации Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Оно прибыло в Стокгольм вовремя, и Эстонский Информационный Центр направил его адресатам.

В этом письме диссиденты в Эстонии и Латвии утверждают, при помощи статистических данных, что в результате последовательной русификации эстонцы и латыши в течение следующих двух десятилетий ста-

нут меньшинствами в своих странах, потеряв всякую возможность развивать свои национальные культуры, и их родные языки превратятся в «ненужные реквизиты».

Можно говорить и о контактах с русскими диссидентами. Сергей Солдатов — яркий тому пример. Хотя его мать — эстонка, но фактически он принадлежит к русскому обществу в Таллине и в 1968-м году его подвергали допросу о связях с инакомыслящими в Москве и Ленинграде*.

Мы знаем, что эстонцы высоко ценят тех русских инакомыслящих, которые высказывали свои взгляды об особом положении их родины в составе СССР и стремлении к независимости. Имя Солженицына известно в Эстонии с выхода в свет его «Ивана Денисовича». О поездках Солженицына к своему эстонскому другу по Лубянке, ныне покойному Арнольду Сузи, во время собирания материала для «Архипелага ГУЛАг» свидетельствует, между прочим, фотография «Солженицын в Парк Отеле в Тарту»*.

О том, как эстонские диссиденты ценят Андрея Сахарова, говорит следующий эпизод.

Утром 1-го мая 1974 года математик Олев Меремаа, старший научный работник в научно-исследовательском институте строительства, ходил по улицам Таллина с плакатом: «Сахаров-Солженицын», «Осуществляйте Права Человека». Прошел более километра, и только тогда на него напали кагебисты. Его арестовали, на несколько суток задержали и выпустили. Но работу свою он потерял и новой до сих пор не получил.

Письмо его друзей в Эмнести Интернешонал с просьбой помочь ему переправили адресату из Сток-

* «За пять лет ... Документы и показания». Мюнхен, 1972, стр. 247 и далее.

** Solzhenitsyn. A Pictorial Record. London, 1974, p. 55.

гольма и, по желанию отправителей, оно распространено.

Доктор Бруно Калниньш, один из самых выдающихся деятелей латышской эмиграции, в своем интервью журналу «КОНТИНЕНТ» сказал, что предпосылкой для общей борьбы является декларация со стороны русских диссидентов о признании национальных требований латышей и других нерусских народов, которые борются за национальную свободу и демократию*. В программе Демократического Движения Советского Союза, которую также подписали демократы Прибалтики, оглашены, между прочим, следующие цели:

политическое самоопределение нации через общенациональное голосование, при участии наблюдательной комиссии ООН;

невмешательство СДР (Союз Демократических Республик) во внутренние дела выделившихся наций**.

Если эти принципы, вошедшие в Программу Демократов Советского Союза, действенны и в дальнейшем, то они вполне совпадают с сегодняшними стремлениями Эстонского Демократического Движения, выраженными в их меморандумах и письмах.

Стокгольм, январь 1976

ЛАМБЕРГ Аделаида — родилась в Эстонии. Окончила философский факультет Тартуского университета. Занималась журналистской работой и переводами художественной литературы. С 1944 года живет в Швеции. Редактор эстонского еженедельника «Театая» («Вести»), выходящего в Стокгольме.

* «Континент» № 4, 1975, стр. 463-464.

** Программа Демократического Движения Советского Союза. Амстердам, 1970.

Запад — Восток

Исаак Дон Левин

ГУЛАГ И ЗАПАД

После массового расстрела политических заключенных на Соловецких островах 19 декабря 1923 года на Западе раздались первые голоса протеста против рабского труда в Советском Союзе. Воззвание, подписанное 233 заключенными и адресованное II Интернационалу в Лондоне и неофициальному Красному Кресту в Москве (возглавляемому Екатериной Пешковой, женой Максима Горького), было тайно вывезено из России и циркулировало за границей летом 1924 г.

Пионером в деле сбора документов о положении в советских тюрьмах стал американский журналист Исаак Дон Левин, живший тогда в Берлине. Во время пребывания в Москве в 1923 — 24 гг. он поддерживал тесные контакты со вдовой Петра Кропоткина и Е. Пешковой (через Ивана Ладыжникова, близкого друга и издателя Горького). В конце 1924 г. Дон Левин подготовил сборник документальных материалов и разослал его ряду знаменитых интеллектуалов, прося выступить в защиту жертв коммунистического режима.

I

Я получил 22 ответа от европейских и американских знаменитостей, в том числе от Эйнштейна, Метерлинка, Бертрана Рассела, Синклера Льюиса и других. Они были воспроизведены в 1925 г. в книге «Письма из русских тюрем», вышедшей под покровительством американского Международного комитета политических заключенных.

В предисловии к книге я писал, что ее издание вызвано гуманными побуждениями, что она не носит

политического характера и имеет целью побудить к защите заключенных. В подавляющем большинстве авторы писем принадлежали к политическим партиям — социал-демократам, правым и левым эсерам, анархистам. Подчеркнуто документальный характер книги позволял избежать обвинений в пропаганде. Моя собственная позиция была довольно прочной: мне пришлось побывать в России пять раз в течение 1919-24 гг. и последовательно бороться против интервенции, блокады, белого террора, за признание советского правительства другими странами.

Передать в западную прессу сведения о положении в тюрьмах не представлялось возможным из-за советской цензуры. Первая часть книги касалась исключительно Соловецких островов, прежде всего кровавой трагедии 19 декабря 1923 г. — лагеря на арктических островах заслуживали особого внимания. Вторую часть составили письма из различных тюрем и мест ссылки.

Отзывы западных читателей-интеллигентов говорят сами за себя.

* * *

(Арнольд Беннет, английский писатель)

Не становясь на сторону одной из многочисленных революционных партий в России и не располагая данными, чтобы считать советское правительство хуже правительств других стран, я тем не менее убежден, что ради блага интеллектуальной жизни в России пришло время дать больше свободы той интеллигенции, которая не в состоянии политически сотрудничать с коммунистической партией. Ни одно правительство не сумеет избежать серьезных ошибок, если умолкнет всякая критика. И пока продолжаются суровые репрессии, западные страны будут считать, что советские власти ощущают непрочность своей позиции.

Сохранение царства террора, описанного в книге, создает трудности на пути сотрудничества с передовыми элементами Запада, особенно в связи с тем фактом, что многие жертвы — если не большинство — были такими же верными защитниками Ноябрьской революции, как и сами коммунисты.

* * *

*(Г. Н. Брейлсфорд, редактор журнала
«Нью лидер», Лондон)*

Подавление свободы в России можно было оправдывать как военную необходимость, пока общественные группировки и силы капитализма действовали с оружием в руках, бойкотом и блокадой. С окончанием гражданской войны и юридическим признанием советского правительства большинством великих держав ни один друг русского народа не может и дальше соглашаться с подобной аргументацией. Подавление свободы слова, печати и объединений под властью рабочего правительства угрожает его будущему; этот уродливый пример отсрочивает принятие советизма другими народами. Постоянное подавление свобод ведет к бесконечной жестокости, к бессмысленным смертям благородных людей; это будет означать также быстрое падение умственной и моральной жизни каждого человека. Люди не могут мыслить, если у них нет свободы дискутировать.

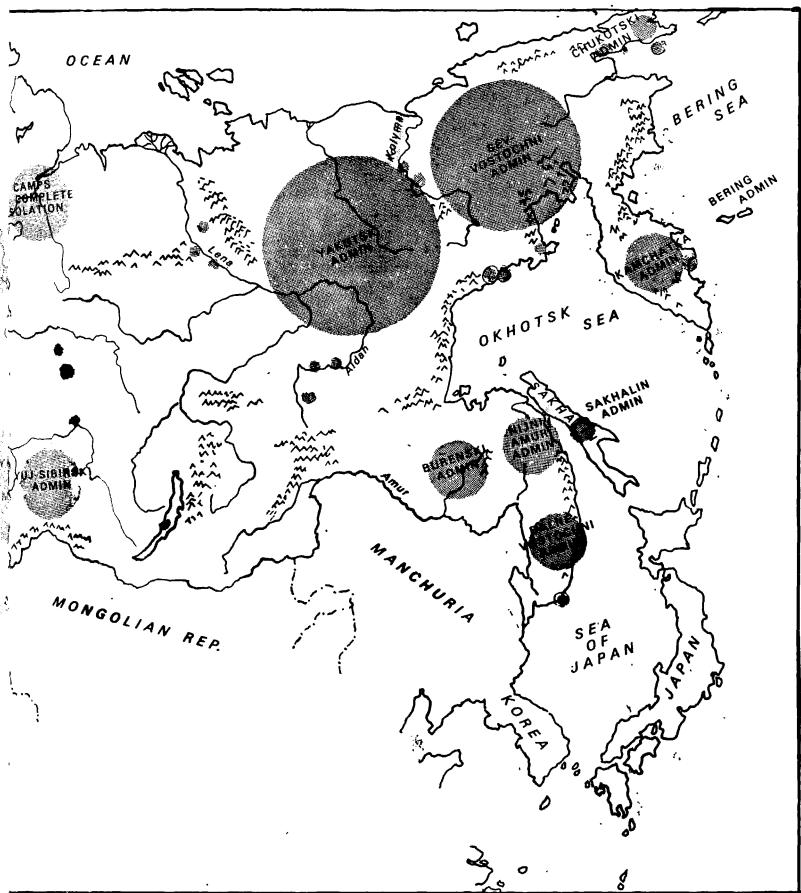
8 апреля 1925 г.

* * *

*(Георг Брандес, датский критик)
Копенгаген, 27 января 1925 г.*

Не проходит и дня, чтобы я не получил полсотни писем, настаивающих на ответе. Попробуйте понять меня. Мой день занят необходимыми делами. 60-70 че-





люди обращаются ко мне в письме или лично с просьбой уделить им час времени. Этого хватит, чтобы сойти с ума. Но Вам я отвечу.

Читая книгу г-жи Э. Голдман и письма русских заключенных, я с негодованием, но без удивления отметил, что русская революция ничего не улучшила. Жестокость и презрение к праву быть свободным остались теми же. Столетие ушло на то, чтобы сломать деспотическую власть царей. Это было достигнуто, и вот на месте прежней власти — другая, такая же глупая и трусливая, в тысячу раз более лицемерная.

Принесут ли Ваши усилия хоть что-нибудь? Дать ответ на это могут только интеллигентные русские люди с большим сердцем.

* * *

(Карел Чапек, чешский писатель)

Я внимательно прочел присланные документы, а равно изучил и другие источники, освещающие положение права в советской России. Я не могу сомневаться в этих свидетельствах, однако я не осмеливаюсь быть судьей в делах, проверка которых мне недоступна. По крайней мере, я могу направить запрос. В то же время я не позволяю себе быть несправедливым ни к жертвам, ни к гонителям. Я отдаю себе отчет в том, что в той или иной степени весь мир участвовал в создании положения, при котором человеческая жизнь, законность и человечность имеют столь малый вес в глазах представителей нового русского абсолютизма; мы прошли через войну, в которой погибли миллионы невинных, так что десять, сто или тысяча новых жертв выглядят лишь очередной каплей крови в море пережитых нами страданий. Настало время вновь обрести веру в человечество, увидеть в людях человеческие существа, а не врагов. Ужасна не только

смерть; каждый день тысячи людей умирают от рака и туберкулеза, и это не рождает у нас сомнения в ценности человеческой жизни. Ужасны именно несправедливость и ненависть. Могут ли те, кто организует и проводит террор против человеческих душ, верить в душу, совесть, в что-нибудь доброе и прекрасное в человечестве? Если нет, то они не имеют права быть правителями народа; если они верят в моральные нормы и, несмотря на это, продолжают действовать так, как явствует из весомого свидетельства мучимых людей, то горе им, ибо они предали человека в его исторической борьбе с жестокостью и атавизмом. Они говорят, что мировая буржуазия против них — нет, им противостоит бóльшая сила — совесть мира. А совесть есть и будет все более весомым политическим и международным фактором; они сами нанесли поражение своему делу, лишив себя этого союзника.

Я не могу судить, но я обращаюсь с просьбой. Я прошу пощадить жизни.

* * *

(Альберт Эйнштейн, ученый)

Живущим в условиях управляемого порядка и читающим эти письма не следует верить, что окружающие их люди — другие или лучше, чем те, кто насаждает в России режим страха. Вы будете в ужасе оплакивать эту трагедию. Вы будете в ужасе оплакивать эту трагедию в истории человечества, когда один убивает из страха быть убитым. Именно наилучших, самых склонных к альтруизму личностей подвергают пыткам и убивают — впрочем, не только в России — из опасения, что они являются потенциальной политической силой.

Всем серьезным людям следует поблагодарить издателя этих документов. Их публикация должна способствовать изменению ужасного положения дел.

Власти в России будут вынуждены пересмотреть свои методы после опубликования писем, если они хотят продолжать попытки приобрести моральный статус среди цивилизованных народов. Они потеряют симпатии, которыми сейчас пользуются, до последнего грана, если они не в состоянии показать широким и мужественным актом освобождения, что им не нужен кровавый террор для претворения политических целей.

* * *

(Кнут Гамсун, норвежский писатель)

Когда читаешь письма заключенных, то поражаешься не столько жестокостью и ужасами, сколько неуничтожимой верой, сохраняющейся в сердце людей при любых условиях. Именно невероятная вера дает человеку силы и надежду. Русская революция, как и все великие движения к свободе, родилась из глубокого чувства справедливости, присущего народным массам. Если в груди правителей России осталась хоть искорка от этого огня — а нам хочется верить, что так — то они не могут допустить, чтобы раскрываемое в этих письмах положение дел развивалось и укоренялось, пока последние черты человечности в революции не будут безнадежно искажены. Если дружественное расположение интеллигенции Западной Европы что-нибудь стоит в Москве, то тысячи заключенных идеалистов должны быть немедленно освобождены, а их энергия и знания направлены на общее благо. Конечно, систему административной ссылки, позорившую старый режим в глазах цивилизованного мира, необходимо упразднить. При нынешнем революционном правительстве каждому человеку следует предоставить право на открытое судебное разбирательство. Пусть публикация этих писем разбудит совесть советских вождей и даст им необходимое духовное мужество, чтобы показать: справедливость в России не умерла.

(Герхардт Гауптман, немецкий поэт и писатель)

Нетерпимость к мнениям несовместима с прогрессом. Эволюция Католической церкви знает периоды, когда души были закрепошены, а мыслителей сжигали на кострах. Слабое утешение для человечества было бы в том, что в такие времена у него вдоволь еды. Однако еды явно не хватало, несмотря на стеснение свободы мысли. Движение, словно паровой каток сокрушающее независимые души и умы или использующее потребность в свободе духа для того, чтобы заковать людей в цепи и бросить в темницу, если они виновны в свободном духовном проявлении, — такое движение вновь привело бы к дьявольскому затмению земли и неба. Убийство души — наихудший вид убийства. Какое возмещение можем мы предложить птице, свободно летающей в небе, если мы подрежем ей крылья? Спросите, как сделать ее счастливой, и она ответит: «Сверните мне шею».

Мыслительные процессы могут стать опасными только в том случае, если они становятся косными под влиянием отдельных догматических идей, набор которых жестко ограничен, принимаемых как абсолютная истина, короче, если они становятся идолом. Тогда подлинное мышление совершает самоубийство и распадается. При таком положении дел всякая мысль вызывает смертельную вражду. Государство, чей правитель отдал себя во власть подобных идолов Абсолюта, вообще не имеет кормчего: на его место вступает простой автомат. Горе, если этот автомат держит в руках машину власти. Он превратит государство в пустыню, пусть государство и кажется достигшим десятикратного процветания.

Мои высказывания носят самый общий характер, и я не могу судить, насколько они полезны для Вашей книги.

Рапалло, 7 марта 1925 г.

* * *

(Свен Хедин, шведский писатель и ученый)

Будучи чрезвычайно занят работой, я не имел времени тщательно изучить присланные Вами манускрипты.

Являясь другом Науки и Разума, а равно другом России и русского народа, я рад выразить искреннюю надежду, что русская интеллигенция, находящаяся ныне в тюрьме и ссылке, сумеет в ближайшем будущем вернуть себе свободу и докажет, что без прочной основы живой научной деятельности русский народ не сможет достичь процветания. Во имя человечества я надеюсь, что советское правительство сделает все возможное и употребит свою огромную власть в помощь страдальцам, заслуживающим лучшей участи.

* * *

(Бернгард Келлерман, немецкий писатель)

Вряд ли приходится сомневаться в подлинности документов, которые Вы намерены предать гласности. Вы приподнимаете занавес, скрывающий русские тюрьмы, где гибнут толпы несчастных — не реакционеров, не контрреволюционеров, а социалистов и революционеров, уже доказавших свою верность идеалам прогресса и социализма в царских застенках. Впрочем, мы не можем игнорировать тот факт, что царские тюрьмы и обращение с политическими противниками кажутся более гуманными, чем ныне. Прочтите, например, о жизни Ленина на поселении в Сибири.

Если это единственное место на земле, где поправны права людей — неважно, преступников или «всего

лишь» политических противников, — то долг всякого, кто еще верит в справедливость и человеческое достоинство, постоянно и энергично указывать на это место до тех пор, пока оно не исчезнет. Вы, г. Левин, это сделали. Ваша заслуга в том, что Вы — оставляя в стороне все другие соображения — привлекли внимание мира к положению в русских политических тюрьмах.

Не верится, что русское правительство, отождествляющее свои цели с гуманностью и человеческим достоинством, знает о тюремных условиях и о мученичестве политических заключенных. Может быть, комиссары и следователи бесстыдно обманывают его.

Ваша публикация достигнет цели, когда русское правительство проснется и направит в эти места страданий неподкупных комиссаров. Тогда можно с известной степенью достоверности предположить, что для немедленного улучшения ситуации меры будут приняты.

Берлин, 16 января 1925 г.

* * *

(Сельма Лагерлёф, шведская писательница)

Желаю тем, кто переслал в мир эти письма, удачи в деле помощи несчастным русским революционерам, погибающим в тюрьме и ссылке.

Меербакка, 4 февраля 1925 г.

* * *

(Гарольд Ласки, проф. Лондонского университета)

С глубоким чувством я прочитал документы, собранные в этой книге. Социалистическое движение надеется, что вожди русской революции сделают все возможное и люди, отдавшие годы на служение делу революции, получают ту свободу, за которую они столь

беззаветно боролись. Западные социалисты не могут не чувствовать, что отказ советского правительства предоставить своим товарищам-социалистам возможность творческой жизни позорит его, а это крайне затрудняет возобновление сердечных отношений. Многие в Англии, приветствовавшие революцию, остро ощутили, что великолепие ее целей вредит тираническое подавление людей, чье верное служение идеалам революции не вызывает сомнений. Любому коммунисту, приехавшему на Запад из России, увидел бы, что задача его товарищей-социалистов упростится, если бы он научился обращаться с русскими политическими заключенными великодушно и справедливо.

* * *

(Синклер Льюис, американский писатель)
Нью-Йорк, 25 июля 1925 г.

Собранные Вами документы относительно обращения с политическими противниками представляются истинными. Если это действительно так, то Советам надо изменить свои методы, иначе они потеряют симпатии огромной части интеллигентных людей, которые до сих пор считали Советы не только самым основательным, но и наиболее блестящим из известных миру экспериментов в деле управления государством. Несомненно, у них свой подход; несомненно, они испугались, что последовательный радикализм сползет в бледный примиренческий либерализм, процветающий в других странах; несомненно, они сочли нелояльных или даже четвертьлояльных членов собственного класса опаснее самых воинственных врагов.

Однако если спустя восемь лет после начала эксперимента они могут держаться лишь методами испанской инквизиции или уместными на поле боя, то они обнаруживают тем самым свою слабость; если же они действительно настолько превосходят в гордости,

благородстве и способностях тех политиков, которые стоят у обычной политической машины, как нам казалось, то им придется признать трагическое поражение и сдаться. Быть может, мнение посторонних наблюдателей для них неважно. Тогда они не должны возражать, если их поместят в ряду нетерпимых, бесчеловечных, мелких душ. Но я думаю, что они могут не знать происходящего в тюрьмах, подобно тому, как наши высшие чиновники в Америке часто совершенно не представляют, что делается в наших тюрьмах и трущобах, и они услышат призыв посторонних наблюдателей, не питающих никаких эгоистических соображений и страстно желающих доверять России.

* * *

(Морис Метерлинк, бельгийский поэт и драматург)

Думаю, никогда борьба между зверем и духом не принимала таких патетических форм, какие описаны в письмах русских интеллигентов, сосланных в Сибирь. Из глубин ада они осмеливаются бросить вызов окружившим их демонам, не имея другого оружия, кроме голодовки, хотя и так у них никогда не было столько еды, чтобы притупить чувство голода. Они умирают спокойно, героически, ни на что не надеясь, умирают один за другим, пытаясь хоть отчасти смягчить ужасную судьбу тех, кто, вероятно, последует за ними. Им приходится испытывать такие страдания, что временами это производит впечатление и на тюремщиков, едва ли сохранивших человеческие черты. В этот миг на другом краю земли совершается драма, а цивилизованный мир настолько устал, протестуя против советских мерзостей, что он больше и не стремится возвысить свой голос...

11 марта 1925 г.

* * *

(Томас Манн, немецкий писатель)

27. 2. 25

Я крайне признателен Вам за присылку «Писем из большевицких тюрем и мест ссылки». Я изучил сборник; впечатление от писем было тем ужаснее, что они несомненно подлинные. Вы не хотите какого-либо привнесения политики в эти материалы, и я тоже. Однако вопрос встает сам собой, его неизбежно зададут: что действительно изменилось к лучшему в России или что вообще изменилось сравнительно с прошлыми временами с момента основания этого Богосударства, названного Коммунизмом. Я читаю, что в одном из мест мученичества, где написаны письма и которое прежде было церковью, они убрали все иконы и религиозные символы, а вместо них водрузили изображения Ленина, Троцкого и Маркса. Не знаю, что думают Ленин и Троцкий, но уверен, что Карл Маркс перевернулся бы в гробу, узнай он об этом. Я желаю всяческого успеха Вашему гуманному предприятию, призванному смягчить насаждаемую русским правительством бесчеловечность, в чем оно видит условие собственного выживания. С радостью предоставляю Вам использовать эти строки так, как Вы сочтете нужным.

* * *

(Карин Михаэлис, датский писатель)

Прочитав письма мужчин и женщин, погибающих в большевицких тюрьмах, днем и ночью я испытываю ужасное чувство вины. Да, я в и н о в е н, если ничего не предпринимаю, не протестую и не пытаюсь освободить мучеников...

Я получил эту книгу в полдень, когда в небе сияло солнце. Стоя у фортепиано, я собирался просмотреть ее. Но мой взгляд упал на слова, заставившие про-

читать всю страницу. Я читал стоя. Читал до тех пор, пока солнце не закатилось. Буквы стали расплываться. В комнате стало темно, как в могиле. Глаза мои горели, сердце стучало словно молот, комом в горле застревал крик. И когда пришла ночь, мне не удалось заснуть. И когда начался день, я не видел солнца.

К моему стыду, не раз мне хотелось никогда не видеть этой книги. А теперь — теперь я хочу, чтобы каждый человек прочел ее и раз, и два, и три, пока он, как я, не знал бы больше ни отдыха, ни радости, если не сделает хоть что-нибудь, чтобы помочь своим братьям и сестрам.

Не говорите, что это невозможно. Не говорите, что это вмешательство во внутренние дела другой страны. Вы можете, вы должны возвысить свой голос.

* * *

(Ромен Роллан, французский писатель)
Вильнев, 2 февраля 1925 г.

Возвращаю Вам заказной авиапочтой присланные Вами документы.

Это позор! Кто-то ломает себе руки в отчаянии, от омерзения! Однако почти то же происходит в польских тюрьмах; то же вы найдете в калифорнийских тюрьмах, где мучают рабочих-докеров, Вы встретите это в Югославии, в английских застенках на Андаманских островах, куда брошены индийские патриоты. Еженедельно крики отчаявшихся и обвиняющих доходят до меня из ряда стран.

Я не буду писать предисловия, о котором Вы просите. Оно стало бы оружием в руках одних партий против другой, которые ничем не хуже и не лучше.*

* В сопроводительном письме к г. Роллану содержалась просьба написать «несколько строк, выражающих Ваши чувства, для публикации в качестве предисловия к этой книге». В письме не указывалось, какой характер должен носить ответ.

Я обвиняю не систему, а Человека. Никто не знает, что главное в нем — дикость или глупость. Последнее, быть может, самое страшное. Вы сумеете защититься от дикости, вы можете даже льстить себе время от времени, что Вам удастся одолеть ее. Но перед глупостью вы беззащитны.

* * *

(Бертран Рассел, английский философ)

Я искренне надеюсь, что публикация этих документов будет способствовать развитию дружеских отношений между советским правительством и правительствами западных держав. Введенные в заблуждение западными социалистами, государственные деятели Великобритании, Франции и Америки видят в нынешних властителях России идеалистов и потому считают их опасными. Прочтя эту книгу, они убедятся в своей ошибке. Как и всюду, властители в России являются практиками, готовыми пытаться идеалистов, чтобы сохранить власть в своих руках. Нет основания для ссор между западными империалистами и империалистами на северо-востоке; зачем же друзьям свободы на Западе поддерживать их, пока не произошли радикальные перемены в обращении с политическими противниками.

6 февраля 1925 г.

* * *

(Артур Шницлер, австрийский писатель)

14. 4. 1925

Документы о русских тюрьмах вызвали у меня чувство отвращения и горечи, — к сожалению, не могу добавить, что и сожаления. Сегодня террор признан

законным в качестве элемента политики не только мелкими исполнителями власти, но и лидерами правительств; в такие времена нет несправедливости, мошенничества или дикости, которые не оправдывались бы условно и лицемерно как политическая необходимость.

Вы желаете, мой дорогой г. Левин, призвать большевицких правителей отменить или ослабить режим для политических противников и просите меня и других присоединиться к этому призыву. Тот факт, что такое всеобщее обращение стало необходимостью, оставляет мало надежды на успех. Но если оно все-таки будет способствовать и самым скромным переменам, мы не должны воображать, что наше обращение тронуло сердце тюремщиков: для людей, мыслящих преимущественно политическими штампами, даже человечность — всего-навсего пешка в игре, а не моральная необходимость.

Разумеется, Вы можете использовать это письмо так, как сочтете нужным.

* * *

(Эптон Синклер, американский писатель)
29 июня 1925 г.

Мне удалось найти время просмотреть присланные Вами документы о положении политических заключенных в России. Я был потрясен, обнаружив, что их положение приблизительно такое же, как и в штате Калифорния, гражданином которого я являюсь. Я имел возможность посетить заключенных в Калифорнии и познакомиться с условиями их существования, поэтому Вы поймете, что я больше занят деятельностью в пользу этих, а не русских заключенных, с судьбой которых я непосредственно не знаком.

Я признаю право государства охранять себя от тех, кто действительно совершает насилие против него;

я понимаю, что такие политические преступления происходили в России, например, покушение на Ленина. Ничего подобного не случилось в Соединенных Штатах за последние годы, ни один политический заключенный в Калифорнии даже не обвинялся в актах насилия. По-видимому, штат Калифорния в этом отношении находится далеко позади правительства России, если иметь в виду уровень цивилизованности.

Что касается обращения с любыми политическими заключенными, то я остаюсь противником большей жестокости, чем та, которая необходима для их обуздания. Я протестовал против диких жестокостей, которым подверглись люди в штате Калифорния, — их обвинили в том, что они разделяют запрещенные взгляды, и заключили в тюрьму. Я протестовал безуспешно; быть может, мне лучше обратить внимание на положение в России и проверить, достигну ли я там большего успеха. Обращаясь как один социалист-агитатор к другим, я скажу моим товарищам в России: исходя из чисто практической точки зрения, гуманность к политическим заключенным будет способствовать вашей пропаганде гораздо больше, чем все затраченные на нее рубли. Я надеюсь, что правительство рабочего класса в России утвердит уровень гуманности более высокий, чем то капиталистическое государство, в котором я живу.

* * *

(Герберт Уэллс, английский писатель)

5 апреля 1925 г.

Сожалею, что не могу судить о подлинности Вашего собрания писем; равно я не понимаю, почему Вам так хочется получить от меня комментарии к книге. Подавление силой политической оппозиции, не прибегающей к силе, есть преступление, остающееся на совести правительства. Большевицкое правительство

кажется мне гораздо глупее и нелиберальнее большинства других правительств, за исключением, быть может, фашистских авантюристов в сегодняшней Италии; русские же тюрьмы так же отвратительны, какими были и прежде.

* * *

(Ревекка Уэст, английская писательница)

Те, кто любит человечество и озабочен его благополучием в будущем, с гордостью поддерживают советское правительство по многим причинам. Оно несомненно предпочтительнее царизма, отвратительного в политическом, социальном и экономическом отношении, приправлявшего свои мерзости особым романтизмом, доставшимся от очаровательной и преступной аристократии. Мы были с советским правительством, когда оно сопротивлялось вмешательству в его внутренние дела, возглавленному Великобританией, поскольку наш привилегированный класс пожелал обеспечить свои интересы по всему миру; нам было стыдно видеть, как набросились на него самые знаменитые политические лгуны нашей страны, прибегая к таким уродливым выдумкам, как декрет о национализации женщин.

Но если советское правительство воображает, что оно может рассчитывать на нашу поддержку, не выполняя основных правил порядочности, то оно ошибается. Действительно, в настоящее время многие участники Английского Радикального Движения испытывают чувство преданности, не знающее никакой критики, по отношению к советскому правительству, но это всего лишь прилив увлечения интернационализмом, который приходит и уходит, если предмет симпатий не создает реальной основы для энтузиазма. Эти чувства уходят корнями отнюдь не глубже тех, которые выпали на долю французского синдикализ-

ма и распространились по Англии 10-15 лет тому назад...

* * *

Среди писем, присланных знаменитыми лицами, была и легкомысленная записка от Бернарда Шоу; он обвинял задуманное издание в антисоветской агитации. Когда его старый друг Б. Рассел составил послание для предполагаемой книги, Шоу отказался его подписать. Я отправил ему письмо, оставшееся без ответа, в котором, в частности, говорилось:

Может ли быть контрреволюцией призыв в защиту тысяч мужчин и женщин, заключенных в тюрьмы за еретические революционные взгляды, раздражающие высших жрецов ленинского св. писания?

Неужели я становлюсь орудием тори, если я напоминаю г. Б. Шоу, г. Г. Уэллсу или г. Г. Гауптману, что поколение русских интеллигентов, во многом воспитанное на их произведениях и идеях, теперь за эти идеи сослано и посажено в тюрьму?

...Я разделяю Ваше мнение, что одно правительство является столь же идиотическим, как и другое; именно поэтому я не агитирую против советского режима. Больше того, мне все еще верится, что в Москве сохранились остатки гуманности и интеллекта. Именно по этой причине я послал Вам и другим признанным вождям мировой интеллигенции «Письма из большевицких тюрем» и просил что-нибудь написать в защиту жертв наипоследней догмы.

Гораздо более сложными оказались отношения с Альбертом Эйнштейном, с которым я познакомился в Берлине в конце 1924 г. Тогда он и написал вышеприведенное предисловие для готовившейся книги.

Взгляды Эйнштейна стали еще более критическими после того, как Сталин утвердился в качестве глав-

ного властителя в Кремле и начал безжалостную коллективизацию крестьянства. В феврале 1932 г. я подарил ученому экземпляр только что написанной биографии Сталина. Эйнштейн написал мне следующее письмо.

15 марта 1932 г.

Дорогой г. Левин,

во время путешествия наконец-то мне удалось прочесть Вашу книгу о Сталине. Несомненно, это наилучшее и самое глубокое из известных мне произведений о свершившейся трагедии. Я не знаю, чем восхищаться больше — драматизмом, с каким изображаются внешние события, или психологическим истолкованием характера. У меня такое впечатление, что Вы последовательно объективны. Я искренне признателен за те знания, которые я приобрел благодаря Вам. Ваша концепция пятилетнего плана как следствия скорее страха и лишений, чем творческого акта, оказалась для меня совершенно новой, как и многие другие факты.

Вся книга звучит для меня словно симфония на тему «насилие порождает насилие». Свобода является необходимым основанием развития всех истинных ценностей. Становится ясно, что без нравственности и доверия обществу не достичь процветания. С возрастом я испытываю все большее уважение к нашему Моисею; он понимал лучше всех и задолго до всех известных мне политических вождей, что имеет первостепенную ценность.

С наилучшими пожеланиями

Ваш А. Эйнштейн.

В огромной литературе о внеученой гуманистической деятельности знаменитого ученого существует странный пробел, который не позволяет проследить

эволюцию от сурового критика аморальной коммунистической диктатуры до фактического апологета сталинского царства. Воспроизводимая ниже переписка покажется многим поклонникам Эйнштейна откровением, но восполнит недостающие штрихи в портрете этого великого человека.

С приходом Гитлера к власти Эйнштейн поселился в США. В 1934 г. нацисты лишили его немецкого гражданства. В том же году произошло убийство Кирова в Советском Союзе, ставшее важной вехой в истории страны. Первым делом Сталина было уничтожение политических заключенных, уже давно находившихся в тюрьме. Москва сообщила, что 66 заключенных расстреляны без суда в отместку за смерть Кирова. Потрясающее известие вызвало протесты во многих странах. В Нью-Йорке состоялся многотысячный митинг. Мне случилось там выступить; главным оратором была графиня Александра Толстая, дочь великого писателя. Она совсем недавно приехала в США из Советского Союза.

Мы составили заявление, под которым должны были появиться подписи знаменитых интеллектуалов, таких как Джон Дьюи, Клэрэнс Дарроу, Эптон Синклер, с протестом против резни заложников в СССР. С просьбой подписаться я обратился 7 декабря и к Эйнштейну. В своем письме в «Нью-Йорк таймс», посланном 8 декабря, я так обосновал крайнюю необходимость подобного заявления:

«Где голоса сотен либералов и радикалов, с такой готовностью присоединившихся к буре протестов против кровавой «чистки», проведенной Гитлером в июне прошлого года? Почему эти мнимые защитники человеческих прав хранят необъяснимое молчание по поводу кровавой средневековой бани, устроенной Сталиным?

Где наши гуманитарии, прошлым летом наводнившие прессу письмами протеста против заключения без суда коммунистического вождя Тельмана? Мне вспоми-

нается длинное и энергичное послание Уальдо Фрэнка, появившееся на страницах Вашей газеты. Или эти рупоры общественной совести установили один стандарт для России и другой — для Германии? Готовы ли они подтвердить, что они признают красный террор и осуждают нацистский, но не колеблют тем самым основ цивилизации?

Неужели в нашей стране нет ни одного общественного органа, чтобы выразить отвращение американцев к варварской «чистке», только что проведенной советским правительством?»

«Я знаю, Вы согласитесь со мной о необходимости того, — писал я Эйнштейну, — чтобы громкий еврейский голос осудил террор в России: это сделает протест против нацистского террора более действенным». В ответ я получил такое письмо.

10 декабря 1934 г.

Дорогой г. Левин,

Вы можете себе представить, как я огорчен тем, что русские политики увлеклись и нанесли такой удар элементарным требованиям справедливости, прибегнув к политическому убийству. Несмотря на это, я не могу присоединиться к Вашему предприятию. Оно не даст нужного эффекта в России, но произведет впечатление в тех странах, которые прямо или косвенно одобряют бесстыдную агрессивную политику Японии против России. При таких обстоятельствах я сожалею о Вашем начинании; мне хотелось бы, чтоб Вы совсем его оставили. Только представьте, что в Германии много тысяч евреев-рабочих неуклонно доводят до смерти, лишая их права на работу, и это не вызывает в не-еврейском мире ни малейшего движения в их защиту. Далее, согласитесь, русские доказали, что их единственная цель — реальное улучшение жизни русского народа; тут они уже могут

продемонстрировать значительные успехи. Зачем, следовательно, акцентировать внимание общественного мнения других стран только на грубых ошибках режима? Разве не вводит в заблуждение подобный выбор?

С искренним уважением

А. Эйнштейн.

Обмен взглядами с А. Эйнштейном по советским и еврейским проблемам, в ходе которого он провозглашал такие вечные истины, как «насилие питает насилие» и «общество не может достичь процветания без нравственности и доверия», закончился 14 декабря 1934 г. В этот день я послал ему следующее письмо, оставшееся без ответа. Отношения, длившиеся более десяти лет, прекратились.

«Я благодарен Вам за теплый и правдивый ответ на приглашение принять участие в протестах против красного террора; мне кажется, что Вы затронули ряд моментов, требующих уточнения. Мне хотелось бы их обсудить в личной беседе. В то же время я прошу Вас серьезно отнестись к следующим соображениям...

Феномен современного государства, превратившегося в орудие социальной ненависти, как это видно на примере нацизма, стал возможен вследствие успешного большевицкого опыта по насаждению ненависти ко всем классам, кроме пролетариата, ничтожного меньшинства в России. Гитлеровский антисемитизм копирует, в сущности, преследование большевизмом государством всех элементов непролетарского происхождения.

Против ненависти и репрессий такого рода есть только одно эффективное оружие — англо-саксонская система права, теоретически единственная бесклассо-

вая система из всех существующих. Ее часто нарушают на практике. В теории она остается непревзойденной. Этот щит цивилизации был в западном мире спасением и для евреев.

С огорчением я прочел ваше утверждение, будто единственной целью советских правителей является улучшение условий жизни народа. Как можно в это верить, если учесть, что в 1933 году от 3 до 5 миллионов крестьян были умышленно доведены сталинским режимом до голодной смерти? (Книга У. Генри Чемберлена «Железный век России» содержит в основном авторитетные и бесспорные свидетельства последнего времени об этой искусственной катастрофе.) Главный мотив советских правителей — механистический, а не гуманистический, любовь не к народу, а к власти; если б они могли спасать, то скорее в духе Торквемады, чем Гюго, Золя, Толстого.

Именно страх потерять власть делает советских правителей такими жестокими. Их обуревают призраки: например, они верят, что другие державы вдохновляют Японию на агрессию против России. В тот момент, когда Соединенные Штаты продают советскому правительству секретные военные самолеты, когда Франция заключает соглашение (если не союз) с Москвой, здравому наблюдателю трудно поверить в утверждение пропаганды, будто Россия — жертва западного империализма. Годы прошли с тех пор, когда Бертран Рассел обнаружил, что для сотрудничества русского и западного империализма нет никаких препятствий. Его предсказание оказалось верным... Именно милитаризм является сущностью диктатуры. Сущность милитаризма требует состояния готовности внутри страны. А в таком состоянии склонны приветствовать войну.

Равно я не согласен с вами в том, что ужасная политика Гитлера против евреев не вызвала бури протестов в западном нееврейском мире. Если эта бу-

ря не была достаточно сильной, то это объясняется, возможно, тем фактом, что западная интеллигенция притупила чувство достоинства, принимая красный террор и склоняясь к догмам ленинизма — вместо того, чтобы поддержать старые лозунги о справедливости, правах человека и свободе.

Освобождение евреев началось именно с них. Своим нынешним статусом свободного человека еврей обязан английской концепции государства, которая превратилась в реальность на половине земного шара благодаря Американской революции. Даже относительные права, завоеванные евреями в кайзеровской Германии, и жалкие свободы, дозволенные евреям в последние годы царизма, — все они обязаны триумфу английской идеи свободного государства.

Как же еврей не станет сражаться за эту идею до последней капли крови? Как может еврей служить двум хозяевам сразу? Боюсь, что столь большое число передовых евреев, клянущихся свободой и принимающих диктатуру, — печальное предзнаменование для нашего будущего. Боюсь, что американские евреи могут повторить ошибку немецких: не предвидеть события, когда надпись от руки уже красуется на стене...»

II

Важнейшим делом, начатым после второй мировой войны, было составление карты ГУЛага, т. е. нанесение на карту Советского Союза всех известных лагерей. Основу рабочего варианта составили 14000 свидетельств, собранных во время войны Верховным командованием Польской армии. Их дополняли данные, предоставленные Нью-Йоркской Ассоциацией бывших политических заключенных советских трудовых лагерей и консультантами Американской Федерации Труда при Социально-экономическом совете ООН.

В приложении к карте воспроизводились оригиналы

нальные паспорта, выданные различными лагерями. Вот типичный текст такого паспорта.

С.С.С.Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ

Железнодорожного Стр-ва
и Сорокского Исправител.
Трудового Лагеря

15 декабря 1944 г.

№ 4/58024/16

гор. Беломорск, КФССР

Зам. Нач. Упр. СЖДЛ НКВД СССР

Капитан Госбезопасности подпись (Ключков)

Начальник 2-го отдела

Лейтенант Госбезопасности подпись (Георгиев)

По предварительным оценкам, в лагерях находилось свыше 14000000 заключенных. Установлено, что средний уровень смертности в ГУЛаге превосходил 8% в год; это значило, что каждые 8 лет весь первоначальный контингент заключенных погибал. Если бы соединить все лагеря воедино, то они покрыли бы целиком территорию Западной Европы.

175 колоний и концентрационных лагерей, отмеченных на карте, не охватывали все известные к тому времени подразделения ГУЛага. Не удалось также определить все виды деятельности, использовавшие рабский труд. Было известно, что он применяется при сооружении и ремонте железных и автомобильных дорог, каналов, на угольных, железорудных, золотодобывающих и других шахтах, при постройке аэродромов и подземных сооружений, в деревообрабатывающей промышленности, на строительных работах и

в каменоломнях, в рыболовстве, в консервной и кожевенной промышленности, на сооружении военных укреплений, на портовых работах.

Публикация карты привлекла внимание наблюдателя от Американской Федерации Труда при ООН; это была Т. Сендер, в свое время депутат в Рейхстаге от социалистов. Подготовительный комитет, в котором работал и представитель АФТ, готовил тогда проект Всемирной Декларации Прав Человека. В письме от 14 июля 1947 г. Т. Сендер сообщила, что в проект включены следующие пункты.

Статья 2

Никто не может быть подвергнут:

- а) пыткам в любой форме;
- б) любым видам физического воздействия или медицинским и научным экспериментам против воли человека;
- в) жестоким и бесчеловечным наказаниям.

Статья 3

Никто не может содержаться в рабстве или быть принуждаемым к труду, за исключением общественных работ, одинаково на всех возлагаемых законом, или в качестве наказания, назначаемого компетентным судом. Никто не может быть заключен в тюрьму или содержаться в рабстве вследствие простого нарушения договорных обязательств.

Приблизительно в то же время картой заинтересовался Р. Морфи, чиновник Государственного департамента, который был тогда ведущим экспертом по советским делам и подрывным операциям. Р. Морфи издал книгу о нацистско-советских отношениях (см. «Континент» № 4, стр. 303-304). Благодаря его усили-

ям, Комитет свободных тред-юнионов АФТ стал проявлять активность. Но только к 1950 г. АФТ начала серьезно относиться к карте ГУЛага. В сентябре мне писал секретарь Комитета, сообщая о намерении издать карту большим тиражом. В январе 1951 г. он отдал соответствующее распоряжение.

30 января 1951 г. я получил письмо от А. Цуриченко, представителя Ассоциации бывших политзаключенных Советского Союза, пояснявшее ряд вопросов, возникших в ходе подготовки второго издания карты ГУЛага.

«...Никакая карта или описание «Исправительно-Трудовых Лагерьей» Советского Союза не могут быть достаточно полными в той степени, чтобы по этим данным можно установить точное их количество и географическое расположение.

Достоверных источников, откуда удалось бы почерпнуть недостающий материал, за рубежом не существует. Взамен этого Европа и Америка располагают обильными литературными воспоминаниями и пересказами на разных языках непосредственных жертв полицейского режима с середины 20-х годов до наших дней. Часть этого материала была изучена, и не подлежащая сомнению использована при составлении карты.

Кроме этого, вторая мировая война выбросила за границы СССР массу отсидевших и недосидевших в лагерях рабов коммунизма, истребить которых хозяева не успели из-за поспешного бегства. Эти живые свидетели-жертвы, строители пятилеток нищеты (объединенные в Америке в общество бывших советских политкаторжан), помогли в каком-то объеме обобщить данные о масштабах принудительного труда, узаконенного кремлевскими негодьями.

На карте совершенно сознательно указаны места и названия бывших лагерей: канал Москва-Волга, Беломорский канал, Свирьстрой, Березники, Соликамск,

Комсомольск н/Амуре и др., так как эти объекты служат большевикам образцом гордости социалистических достижений, а остальным должны напоминать о социализме рабов.

За целым рядом лагерей сохранено общее название, т. к. воспроизвести сотни названий и точек, входящих в их управление, не представляется технически возможным. К этой группе относятся: Соловецкие, Карельские, Дальстрой, БАМ, Колымские, Караганда и пр. На сотни миль вдоль названных железных дорог и рек разбросаны мелкие и крупные подразделения заключенных, ютящихся в бараках, палатках, землянках и под открытым небом. Многие из этих мест не имеют никакого названия.

Мы воздержались указать на карте десятки новых лагерей, т. к. еще не имеем их подробного описания. Последние перебежчики подтверждают об обилии принудительных лагерей в Донбассе, Белоруссии, на Северном Кавказе и в Крыму, — с помощью которых восстанавливается промышленность и транспорт, разрушенные войной.

Частичное строительство военных объектов — аэродромы, подземные склады, подъездные пути — производятся номерными отрядами заключенных, находящихся в распоряжении чиновников военного ведомства. Такие отряды продолжительное время работали в районах города Хабаровска, Читы, Благовещенска, Владивостока и др., а также вдоль персидской границы.

Каждый лагерь нанесен на карту после тщательной проверки его действительного существования посредством личного доклада его сидельцев или их письменного ответа, — материалы о чем хранятся в Правлении Общества бывших советских политкаторжан».

В феврале 1951 г. правительство Соединенных Штатов купило 1000 экземпляров карты. В сентябре

1952 г. Р. Морфи составил и издал официальный отчет Государственного Департамента о принудительном труде в Советском Союзе, в котором можно обнаружить следы влияния, оказанного моим журналом «Плейн толк». Раздел IV отчета описывает, как управляются лагеря:

IV. УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЯМИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

А. Историческое развитие

С самого начала организация и управление лагерями принудительного труда находились преимущественно в руках Чека и НКВД. Красный террор и соответствующий рост населения лагерей привели к созданию центральной администрации в рамках НКВД, ведающей лагерями принудительного труда. Она отвечала за общее руководство лагерями на территории РСФСР. В начале 20-х годов НКВД приобрел еще большую власть в этой области. Закон 1922 года, определивший структуру и принципы организации НКВД, учредил новое Главное Управление Принудительного Труда; в его ведение было отдано образование и управление лагерей и других мест, где применяется насильственный труд. Вскоре после этого, 25 июля 1922 г. Совет Народных Комиссаров издал декрет, согласно которому Отдел исправительного труда Комиссариата юстиции и Главное Управление Принудительного Труда НКВД были слиты в единый центральный орган. Он был создан 12 декабря 1922 г. под названием Главное Управление Мест Заключения (ГУМЗ) НКВД.

Все места заключения находились в ведении ГУМЗа до 1930 г., т. е. до упразднения республиканских наркоматов внутренних дел. Важное исключение составили лагеря для политзаключенных, управляемые

ОГПУ. Как мы видим, существенные перемены в советских пенитенциарных системах произошли приблизительно в конце нэпа и вскоре после него, отразившись в Указе от 7 апреля 1930 г. о передаче исправительно-трудовых лагерей под юрисдикцию ОГПУ. Затем было учреждено Главное Управление, известное как ГУЛаг. Декабрьский Указ 1930 г., ликвидировавший НКВД, определил передачу всех мест заключения в ведение республиканских наркоматов юстиции. Последним также поручалась организация принудительного труда ссыльных и трудовых лагерей без лишения свободы. Был создан новый отдел комиссариатов юстиции, носивший название Главное Управление Исправительно-Трудовых Учреждений (ГУИТУ).

Б. Начальный этап развития ГУЛага.

Двойное управление сохранялось до 1934 г., когда был организован новый Всесоюзный НКВД, а ОГПУ вошло в него как Главное Управление Государственной Безопасности. Лагеря, находившиеся под началом последнего, немедленно отошли к ГУЛагу, отныне подчиненному НКВД. 27 октября того же года исправительно-трудовые учреждения республиканских комиссариатов юстиции были подчинены ГУЛагу, называемому теперь Главное Управление Исправительно-Трудовых Лагерей, Трудовых Поселений и Мест Заключения. ГУИТУ было упразднено. Организация принудительного труда без лишения свободы также была подчинена ГУЛагу и его местным органам. Там, где таковые не существовали, наказание осуществляли областные, городские и сельские советы. Таким образом, с 1934 г. все пенитенциарные учреждения впервые стали прямо подчиняться всесоюзной организации.

В . Администрация лагерей: недавние перемены

С 1934 г. процедура контроля лагерей принудительного труда и других пенитенциарных учреждений не претерпела существенных изменений. Во время чисток в середине и конце 30-х гг. число задач ГУЛага и его структура весьма выросли в связи с расширением экономических функций НКВД. Эта тенденция сохранилась и в течение последующего десятилетия. Благодаря пятилетнему плану 1941 г. стало ясно, что ГУЛаг является одним из самых больших работодателей в Советском Союзе.

После войны деятельность НКВД (МВД) в сфере строительства была, видимо, урезана, хотя он все еще руководит рядом важных экономических начинаний. К сожалению, невелики данные для определения перемен в деятельности и структуре ГУЛага. Советские источники последних лет мало говорят о системе принудительного труда в СССР и практически ничего — об учреждениях, им управляющих. В настоящее время контроль за пенитенциарными учреждениями определенно принадлежит к числу функций МВД, осуществляемых на централизованной основе. Одно это указывает, что труд как наказание продолжает быть составной частью советского планирования и является, несомненно, важнейшим фактором развития советской экономики.

Г. Существующая структура ГУЛага

Она мало известна, хотя и соответствует, вероятно, в общих чертах структуре управления экономикой. Несмотря на то, что юрисдикция лагерей и других мест заключения принадлежит Москве, местный управленческий аппарат — за исключением РСФСР, где Министерство внутренних дел СССР действует прямо — является, надо полагать, частью республиканских

МВД. В эти местные органы несомненно должны входить отделы, контролирующие исправительно-трудовые лагеря и колонии, а также осуществляющие надзор за принудительным трудом лиц, не лишенных свободы. По-видимому, в республиках существует следующая структура:

Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний

Отделы

1. оперативный
2. охраны и режима
3. кадров
4. финансовый
5. производственный
6. плановый
7. регистрации заключенных
8. исправительно-трудовых работ (вероятно, ведающие в основном принудительным трудом лиц, не лишенных свободы)
9. медицинский
10. культурно-воспитательный
11. снабжения

Другие органы

1. пересыльный пункт
2. инспекция (принудительного труда, не связанного с лишением свободы).

Д. Лагерная администрация

Управление отдельным лагерем отвечает организационным принципам, повсеместно принятым в СССР. Начальник лагеря имеет в своем распоряжении следующие отделы:

1. административный
2. производственный
3. третий (или следственный)

4. учета и контроля
5. финансовый
6. технического снабжения
7. общего снабжения
8. культурно-воспитательный
9. медицинский.

Главной производственной единицей в системе исправительно-трудового лагеря является лагпункт, начальнику которого подчинены начальники производственного и административного отделов.

Третий отдел играет особую роль. Он наделен широкими полномочиями и устанавливает меру наказания для провинившихся заключенных. Прежде он даже располагал полномочиями на вынесение смертных приговоров. В работу отдела вовлечены секретные сотрудники (сексоты); он ответственен за политическую обстановку в лагере непосредственно перед Москвой и представляет, таким образом, МГБ внутри МВД. Начальник третьего отдела подчинен начальнику лагеря лишь номинально.

Видимо, для решения сложной проблемы судопроизводства в связи с увеличением числа заключенных, Указ Президиума Верховного Совета от 30 декабря 1944 г. учредил систему специального лагерного суда. Он был организован в каждом пенитенциарном учреждении и занимался на первых порах проступками заключенных, хотя ему были подсудны и гражданские работники МВД. Военизированный персонал МВД не подлежал лагерному суду. Значительность и размах системы лагерных судов подтверждает создание дополнительных подразделений в Верховном Суде СССР, Министерстве юстиции и Прокуратуре СССР.

Во всех больших лагерях заключенных привлекали к внутреннему управлению. Одно время поступали сообщения, что они занимают посты начальников отделов и начальников подчиненных лагпунктов. В середине 30-х гг. обычай назначать заключенных, особенно

политических, на ответственные посты исчез. Полагают, что уже в начале войны большинство начальников лагпунктов были из числа вольнонаемных работников НКВД.

Как и вся советская администрация, трудовые лагеря страдают от бюрократии. По имеющимся сообщениям, бесчисленные технические работники заполняют отделы лагерей собственным штатом. Большинство административных обязанностей, порученных заключенным, выполняют ныне уголовные преступники, что отвечает большевистскому делению на классы. Такое положение дел не ведет, естественно, к честности в административной среде; по имеющимся сообщениям, взяточничество достигло внушительных размеров.

ДОН ЛЕВИН Исаак — известный американский журналист и историк. Родился в г. Мозырь (Полесье). Учился в Киевском университете. В сентябре 1911 года выехал в Америку. Сотрудничал в крупнейших американских газетах и журналах. Первая книга — «Русская революция» — вышла в 1917 году. Весной 1919 года в качестве корреспондента газеты «Чикаго дэйли ньюс» приехал через Финляндию в Петроград. Впоследствии издал в Америке книгу «Письма из русских тюрем», которая была одной из первых книг по защите политических заключенных в СССР. Долгое время собирал материалы о советском ГУЛаге. В конце мая 1947 года опубликовал карту Архипелага ГУЛаг. Автор многочисленных книг, а также основатель Радио «Свобода». В настоящее время живет в Америке.

Звуковые барьеры радиовещания

Прощание с «Голосом Америки»

Мое решение уйти из «Голоса Америки» было не легким и, не скрою, мучительным. 15 лет моей жизни были связаны с «Голосом» и с вами. Именно поэтому я считаю своим долгом объяснить причины, побудившие меня оставить интересную и полезную работу, оставить многолетних друзей.

Приблизительно с 1965 года я стал все больше и больше включаться в работу, связанную с советскими внутренними делами, делами в Восточной Европе и в компартиях. Мой интерес к этим вопросам не случаен. Занимался я ими задолго до поступления в «Голос Америки».

Изучая довольно серьезно диамат, я понял, что советская система — прямое следствие марксизма, что иной она быть не может. Но на чем держится эта порочная система? Ответ на этот вопрос у меня стал выкристаллизовываться в последнее десятилетие, и в этом я многим обязан «Голосу». Ответ сложный, и тут я коснусь только одного его аспекта, непосредственно касающегося нас как органа информации. Не на одной диктатуре держится советская власть; не только на исторических особенностях России, не только на кастовой структуре советского общества, на инерции и долготерпении, но и на незнании собственной истории, исторических фактов, повседневных событий, на вопиющем и всеобщем невежестве.

Только работая в «Голосе», я по-настоящему осознал, насколько велики наши возможности, насколько

велико могло бы быть наше влияние в борьбе с невежеством и дезинформацией.

Меня могут справедливо спросить: причем тут «Голос Америки» и борьба с советским невежеством? Я думаю, что каждый из нас иногда задумывается и о собственной судьбе, о том, что разрядка или не разрядка, но многие понимают, что мы имеем дело со страшным врагом, который не отказывался и не отказывается от хрущевского «мы вас похороним».

Быть может, дурной тон — цитировать самого себя, но мне вспомнился один эпизод, происшедший в 1971 году. Меня тогда попросили провести семинар с недавно поступившими сотрудниками о технике и задачах новостей. Говоря о важности передачи новостей о диссидентах, я позволил себе сделать замечание, что оппозиция в России — наша единственная надежда на то, что мир станет другим; другая альтернатива — ядерная катастрофа. Присутствовавший на этом семинаре наш тогдашний начальник мне сказал, что он полностью со мной согласен, но что Государственному Департаменту не понравилось бы, в каком духе я пытаюсь «воспитывать» новых сотрудников. Спасибо ему и на таком добром слове.

От того, удастся или не удастся советской власти задушить оппозицию, может зависеть не только судьба России, но и всего мира и, в первую очередь, Америки. У нашей радиостанции, которую слушают миллионы, есть сильнейшее оружие — возможность предавать гласности то, что в Советском Союзе замалчивается. Мы не только можем, но обязаны делать все, что в наших силах, чтобы не дать советской власти задушить оппозицию, хотя бы потому, что это в наших же собственных интересах.

Если кто думает, что по отношению к повседневной работе в «Голосе» — это лишь громкие слова, тот ошибается. Проявляя инициативу, можно сделать многое, не выходя за рамки общих задач «Голоса».

Так как область моей работы была, главным образом, связана с советскими делами, то останавлиюсь только на ней.

Как в каждой редакции, у нас есть общее руководство для передач на СССР. Это руководство вполне обоснованно и в рамках «Голоса Америки» дает нам большую свободу действий. Не устанавливают никаких канонов, нет никаких цензурных ограничений, но предлагают соблюдать известные правила при передачах тематики, касающейся СССР. Например, говоря о советских делах, мы обычно говорим не от имени «Голоса», а ссылаемся на другие источники. На моей памяти эти правила радикально не менялись, но менялись начальники. Приведу несколько примеров, что в разные периоды совмещалось с этими правилами. Быть может, некоторые примеры покажутся сейчас курьезными, но они, тем не менее, типичны.

В первой половине шестидесятых годов главный упор был на развлекательную сторону наших передач. Мы, так сказать, внедряли джаз. К советским внутриполитическим делам мы относились с большой осторожностью и старались в эти дела, по возможности, не углубляться. Тогдашний начальник даже распорядился не называть КНР коммунистическим Китаем, по-джентльменски заботясь о том, чтобы не оскорбить чувства истинных коммунистов — членов КПСС. Так он и сказал, я ничего не добавляю. Это распоряжение вызвало, между прочим, немало забавных проблем: как же называть КНР? Китаем — нельзя, так как могут подумать, что речь идет о национальном Китае, но и КНР — нельзя, так как мы тогда Пекин не признавали. Называли или континентальный Китай, или — соразмерно богатству фантазии.

С этим периодом совпал процесс Синявского и Даниэля, о котором мы хоть скромно, но передавали. До Синявского и Даниэля было первое дело Михайло Михайлова за «Лето московское 1964». Тогда такие

темы были почти запретными, но все же первая часть моей статьи о Михайлове и его очерке, хоть и с купюрами, но пошла. Вторая была забракована, мною припасена на лучшие времена и пошла в эфир 8 лет спустя.

Чрезвычайно интересное и для меня плодотворное время в «Голосе» наступило после 1966 года. Тогда все громче и громче стали раздаваться голоса инакомыслящих в СССР, подхватывались иностранными корреспондентами и нами передавались. Все было ново, неизведанно, мы не имели опыта, как преподносить, боялись «уток», опасались провокаций. Если я имею право чем-то гордиться как журналист, то именно тем, что, по мере своих сил и способностей, участвовал в этой работе.

О чехословацких событиях могу сказать, что они освещались чрезвычайно широко и совершенно иначе, чем всеми другими, то есть нерусскими, отделами «Голоса». Но и это «самовольство» тогда как-то совмещалось с нашими правилами, и никаких возражений со стороны тогдашнего талантливого начальника не вызывало. Недаром его впоследствии выслали из СССР.

Взятый тогда тон и размах передач о советских внутренних делах продолжался беспрепятственно вплоть до половины 1973 года, то есть уже в условиях оформившегося детанта. Но с приходом очередного начальника дела изменились.

Помню, как на одном из первых редакционных совещаний он заявил, что инакомыслящих в СССР — горсточка, что ими в СССР мало кто интересуется, что никакого значения они не имеют и, следовательно, нам о них лучше говорить реже. Не буду спорить с этим начальником. Скажу лишь, что по неопытности он постоянно путал два понятия — дипломатию и информацию — и был полностью убежден, что мы выполняем не только информационную функцию, но и дипломатическую; что от того, что мы скажем или

не скажем, может измениться ход международных событий. Он взвалил на себя ответственность чуть ли не за судьбу нашей внешней политики. И немудрено, что даже сообщения чисто информационного порядка казались ему дипломатически опасными.

Приведу пример: как-то писатель Максимов, имя которого этот начальник никогда раньше не слышал (он пояснил, что люди, с которыми он годами общался в СССР, никогда не упоминали имени Максимова), написал, будучи еще в СССР, открытое письмо Вилли Брандту, обвиняя западногерманское правительство в новом мюнхенском предательстве. Начальник забраковал репортаж на эту тему нашего боннского корреспондента на том основании, что мы, «Голос Америки», не имеем права передавать столь враждебный выпад в адрес нашего союзника.

Другой пример. В разгар травли Сахарова и Солженицына в 1973 году в обзоре «Американская печать о Советском Союзе» я довольно подробно осветил историю интервью Сахарова ливанскому корреспонденту и дал выдержки из статьи Лидии Чуковской о Сахарове. Тогдашний начальник нашел мое описание раздутым, не заслуживающим такого внимания, не понимая, очевидно, что советская власть тогда пыталась в лице Сахарова и Солженицына обезглавить оппозицию. И не сделала она это только благодаря вмешательству Запада, в том числе и «Голоса». В приписке к моему обзору этот начальник отметил, что вполне согласен с Киссинджером, что для нас важнее внешняя политика, а не инакомыслящие. Опять-таки смешение дипломатии с информацией. Но обзор пошел прежде, чем начальник спохватился. А, как известно, из эфира слов не воротишь.

И это совмещалось с нашими правилами, и начальник вполне успешно проводил свою линию «дипломатической информации».

Вскоре после моего обзора, в котором я дал, по

«Нью-Йорк таймс», выдержки из первой книги «Архипелага», меня стали отстранять от писания этих обзоров и затем совсем сняли. Я тогда даже выговора настоящего не получил, но надеялся, что мне хоть по-товарищески скажут, что, мол, пережди, а со временем опять будем передавать, что надо. Но мне так ничего и не сказали, хотя я тоже имел непосредственное отношение к созданию этих обзоров. В конце концов, много времени спустя, я сам спросил и получил такой ответ: «Мы ждали, что ты исправишься, а так как ты не захотел или не мог, то решили, что лучше тебя снять». Вот уж этого «исправишься» я никак не ожидал. Немножко даже школьное детство вспомнилось.

И, наконец, пример из недавнего прошлого. Уже при последнем начальнике. Присуждение А. Сахарову Нобелевской премии мира мы передавали в объеме беспрецедентном для «Голоса Америки». Не считая репортажей нашего корреспондента, пресс-конференция Е. Боннэр заняла минут двадцать. Нобелевская лекция передавалась полностью, непосредственно из Осло, и даже перехлестнула через выпуск новостей. Решение нового начальника дать этому событию должное освещение было, на мой взгляд, правильным и отвечающим нашим задачам как средства информации.

Это тоже произошло в эпоху разрядки и уместилось в рамках наших правил; даже в рамках «невмешательства во внутренние дела».

О пресловутом «вмешательстве». Неужели до сих пор кому-то не ясно, что все, что мы передаем, от А до Z, — сплошное вмешательство во внутренние дела СССР; что невмешательство, с точки зрения советской власти, — только то, что пишет «Правда». Разве не проще было бы пользоваться более подходящей терминологией? А именно: вместо «мы не можем вмешиваться» — «мы не должны раздражать совет-

ских руководителей», а то они, чего доброго, нам пальцем погрозят или начнут нас глушить. Если нас сейчас не глушат, то не потому, что «Голос» последние годы часто говорит не своим голосом, а потому, что у них есть свои, более важные, соображения. Глушение и оккупация Чехословакии связаны только постольку, поскольку тогда изменилась советская конъюнктура, а вовсе не потому, что именно мы тогда говорили.

Но все же «Голос Америки» для советской власти — неприятное явление, и она вынуждена с нами бороться, если не глушением, то другими средствами, прежде всего — всякими мифами. Миф «вмешательства» особенно действенный. За неверие в этот миф уготовано даже наказание в виде мифа глушения. Из старых, уже отживших, но сделавших свое дело мифов можно упомянуть миф о том, что, передавая об инакомыслящих, мы им же вредим. Этот «гуманный миф» существовал в середине шестидесятых годов, и мои споры с начальством на эту тему прекратились только после того, как этот миф был разоблачен самими же инакомыслящими. Сейчас существует миф об огромном дипломатическом влиянии «Голоса Америки», таком, что мы влияем даже на решения Политбюро. Удивляться приходится тому, что все эти мифы срабатывают и имеют своих последователей.

Нас нередко обвиняли в цензуре, но эти критики неправы. Такой цензуры, как они себе ее представляют, нет или почти нет. Все важное мы правдиво передаем. Но есть самоцензура, подсказываемая мифами. Она отражается на повседневной работе и выражается в выхолащивании, в сглаживании углов, когда в этом нет ни малейшей необходимости, в сокращении объема той или иной «рискованной» статьи, чтобы, так сказать, хоть скромный капитал приобрести, но обязательно невинность соблюсти. Когда речь заходила о передаче на «рискованную» тему, то употреблялся почти всегда один и тот же аргумент: «это

шло в новостях? Если шло, то мы не обязаны возвращаться к этой теме».

Эффективность этой самоцензуры в передачах о советских внутренних делах в том, что она проводится сознательно и из наилучших побуждений предвосхитить все нюансы высшей политики нашего правительства.

Влияние начальников на уровне USSR Division очень велико. Но они сменяются слишком часто, не все обладают журналистским опытом и достаточными знаниями о Советском Союзе, хотя большинство имеет советский опыт, но изолированный, посольский. Все это отражается на наших передачах. Вместо того, чтобы прислушиваться к мифам, о которых я говорил выше, нам следовало бы придерживаться простого журналистского правила: без всякой оглядки передавать о Советском Союзе то, что важно, проверено, достоверно, авторитетно, интересно и малодоступно для наших слушателей. Я именно так понимал задачи «Голоса». Мне кажется, что и наш новый начальник их так понимает. Желаю ему у нас задержаться надолго.

Что же касается меня, то я думаю, что 15 лет — достаточно долгий срок работы в описанных мною условиях и при моих взглядах. От этого можно просто, по-человечески, устать. И я устал, хотя капитулировать не собираюсь.

«Голос Америки» делает огромное дело. Учитывая возможности, каждый день нашей работы — это удивительное чудо.

Желаю всем сотрудникам плодотворной работы и надеюсь, что никто мою прямооту не сочтет за обиду.

А. Петти
Вашингтон, 29 марта 1976 г.

РЕТТИ Алексей (Алексей Георгиевич Ретивов) — родился в 1926 году в Праге. Учился в пражской русской гимназии, потом в Мюнхенском университете. В 1956 году закончил факультет политических наук Колумбийского университета. Работал на радиостанции «Голос Америки» с 1961 до 1976 г.

Удручающее состояние западных радиовещаний на русском языке, всё более теряющих понимание того населения, которому передачи посылаются, в беспечном пренебрежении его горькими насущными потребностями, заставляет меня присоединить этот текст к нынешним публикациям «Континента».

О работе русской секции Би-Би-Си

*Соображения, высказанные при встрече с
руководителями иностранного вещания Би-Би-Си
26 февраля 1976 года*

Я хотел бы сказать, что придаю очень серьезное значение этому разговору. Это не просто визит вежливости. Я считаю себя тут как бы посланником тех радиослушателей, которые никогда не могут обратиться к Би-Би-Си. Те письма, которые вы получаете, которые прорываются через почту, несколько не выражают истинного мнения радиослушателей. Еще те из них, которые бросают за границы, в заграничные почтовые ящики, могут быть истинными. Но те, которые идут непосредственно из Советского Союза, — можете быть уверены, что они организованы, как у нас говорят, то есть проверены, пропускать или не пропускать. По этим причинам, вот по причинам такой исключительной редкости, чтобы вы услышали истинный голос радиослушателей Би-Би-Си, я просил бы рассчитывать наше время, ибо думаю, что вы будете мне что-то отвечать.

Так я хотел бы сказать, что я очень давний слушатель Би-Би-Си. Я начинал его слушать даже в тюрьме, на шарашке, случайно в 46-м году, когда его не глушили. Потом я слушал его сквозь глушение, полное

глушение, в 53-54-м году. Не говоря уже о том, что многие годы потом.

Би-Би-Си долгое время было для нас живительным и даже во времена глушения родным голосом. Оно отличалось от голоса наших палачей, которые наполняли весь эфир вокруг. Уже с тех давних пор я узнал и очень привязался к именам — Мориса Лети, и также очень любили у нас комментарии Ивлин Андерсон. Для советских радиослушателей каждый раз был праздник, когда вас переставали глушить. Если бы сохранялась примерно вот эта прежняя картина, то сегодня в моем визите, кроме вежливости и благодарности, не было бы никакой необходимости. Однако, к сожалению, положение изменилось к худшему, и мне хотелось бы совершенно откровенно вам об этом сказать. Передачи Би-Би-Си за последние годы стали ниже по уровню, во всех отношениях по уровню, и, как бы это выразиться, всё чужей по духу массе наших радиослушателей.

Вопрос этот чрезвычайно важен. Я бы сказал так: Би-Би-Си — не рядовая радиостанция мира. По какому-то историческому оригинальному ходу событий Би-Би-Си сохраняет в мире радиовещания такое значение, как раньше Британская Империя — в политическом строю.

Я только подчеркнул сперва особенность Би-Би-Си в мире радиовещания. А второе, что я хотел бы сказать, что русская служба Би-Би-Си — не рядовая служба среди иностранных служб Би-Би-Си. Русская программа — не просто одна из двадцати или тридцати, не знаю, программ. Это программа, обращенная к тому народу, от которого в ближайшие годы зависит судьба и даже жизнь самой Великобритании. И еще значение русской службы не было бы так велико, если бы масса нашего народа хорошо знала иностранные языки. Предположим — я не знаю, ну допустим, вы передаете для Франции или Германии,

но там понимают и по-английски многие. Если откажет какая-нибудь французская или немецкая служба, то по-английски поймет половина или треть. У нас практически могут понять только по-русски.

Так вот, работа сегодняшней русской службы Би-Би-Си не есть рутинная работа, но это единственная возможность говорить с нашим народом, пока не поздно для самой Англии. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что от ваших сегодняшних русских передач в значительной мере зависит ход мировых событий в ближайшие годы. Я не преувеличиваю.

Я иногда задаю себе вопрос, особенно в последнее время: для кого, для чего существует Би-Би-Си? Какие высшие принципы руководят ее деятельностью? Ну, теоретически, гипотетически здесь можно дать несколько ответов — ну, для постороннего человека, как я. Что, может быть, в основном, Би-Би-Си существует сама для себя и своего персонала. Безусловно, с этой целью Би-Би-Си справляется.

Вторая, более широкая возможность: Би-Би-Си существует для того, чтобы выражать, и защищать, и проявлять интересы Великобритании. Такая задача вызывает и полное уважение, и полное признание. Но боюсь, что даже с этой целью русская служба Би-Би-Си в последнее время справляется плохо. Я боюсь, что вот то исключительное положение ваших передач, о котором я сказал выше, недостаточно понимается вашим новым персоналом или кем там, не знаю, и упускаются очень важные возможности.

Наконец, гипотетическая третья возможность, которую я допускаю для существования работы Би-Би-Си, — это работа для народов СССР, и в том числе для русского народа. Мы, конечно, не можем требовать или даже настаивать, чтобы вы непременно имели в виду и эту цель. Но с другой стороны, почти невозможно ставить себе задачу в интеллектуальной области обращаться к какой-нибудь группе общества

или нации, не имея в виду ее интересов. Если обращаться совершенно со стороны, не будучи душевно заинтересованным в этой группе населения, то вы никогда не найдете с ней контакта и вы просто впустую будете работать.

Вот, например, я сейчас сделал два выступления по Би-Би-Си — телевидению и радио, — и в обоих я должен был всё время воссоздавать образ того народа и того рядового слушателя, с которым я разговариваю. Если я этого не сделаю, я потеряю контакт и бесполезно буду говорить.

Вот я сказал: для народов СССР или для русского народа. Я сразу должен задать один вопрос — не с тем, чтобы мне сию минуту отвечали. Почему в Би-Би-Си нет секций национальных, по народам СССР, входящим в СССР? Если вы имеете секции для Восточной Европы, то почему при переходе границы Советского Союза вы не считаете возможным продолжить это и иметь секции одинаково? Так сложиться могло, но я очень призываю вас критически пересмотреть эту ситуацию в том смысле, что, понимаете, вы сейчас заменяете русскими передачами обращение к очень разным нациям, с их очень специфическими интересами. Это всё равно, как если б, например, у вас исторически существовало общее вещание для Франции, Испании и Исландии — общее!

Я исхожу из того, что, если вы серьезно отнесетесь к тому, что я сегодня скажу, возможно, что вы войдете с ходатайством в те инстанции, от кого это зависит, с тем, чтобы расширили ваши возможности или переместили как-то акцент, открыли возможность национальных передач, хоть нескольких. Я бы думал: по крайней мере, Эстония, Латвия, Литва, Украина и какая-то из мусульманских наций, ну тюркский язык, какой-нибудь общий, ведь там же понимают друг друга, например узбекский.

Я хотел только сказать: если бы осуществилась

такая реформа, если бы появились национальные передачи, вы не только бы удовлетворили специфические национальные запросы этих республик, но вы бы могли более глубоко выявить контакт с русским народом. Тогда бы русская секция могла быть более специфически русской.

Теперь я перехожу — я так и собирался — к более практическим вопросам. Я понимаю, конечно, что при оторванности от слушателей вы не имеете точного понимания, какие потребности там наиболее вопиющие, наиболее жгут и просят. Если бы вы могли иметь под именем русской секции не просто передачи для народов СССР, а конкретно для русских, то ваши сотрудники могли бы более глубоко сосредоточиться на состоянии этого народа, связи с историей и нынешним духом. Ну, я для примера приведу передачу серии Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме». Одно дело, когда появляется такая книга просто среди других книг на Западе. Другое дело, когда Би-Би-Си выбирает ее из множества книг и дает серию. Эта книга написана не только не с сочувствием — но с искажением исторической перспективы. Это особенно опасно, потому что на Западе вообще существует весьма превратное представление о последних десятилетиях старой России и о нынешнем времени: насколько связано нынешнее духовное развитие нашей страны, и русских в частности, с нашей историей. Конечно, и тут Би-Би-Си, которое обращается непосредственно по-русски, имеет большие обязанности, чем рядовой английский читатель. Для того Би-Би-Си должно стараться вникнуть в истинную историческую перспективу. А трансляция такой серии, как Пайпса, даже оскорбляет русские национальные чувства и отталкивает слушателя, потому что такое впечатление, что автор относится не только с равнодушием к этой стране, но даже и с неприязнью к ней. А особенность еще состоит в том, что русская история — новейшая русская история, ну

с конца девятнадцатого века — есть в значительной степени ключ к сегодняшней ситуации на Западе.

Я хотел бы еще раз повторить, хотя вы это понимаете, что мы шестьдесят лет в основном лишены информации и, кроме того, вместо информации у нас не вакуум, не пустота, а усиленная пропаганда, ложь. Как же удовлетворяет Би-Би-Си наши эти потребности? Насчет информации: чистая информация русской секции, должен сказать, по объему значительно уступает, например, информации Голоса Америки. Я бы оценил ее примерно как одну треть по объему. И вот я слушаю рядом вашу передачу и ту, в одни и те же дни, и всегда, если я хочу полней узнать, я должен слушать Голос Америки. Это происходит отчасти потому, что в вашей информации весьма большое значение придается внутрибританским событиям. Это понятно для британской радиостанции, но, может быть, учитывая наше ужасное положение, что мы не имеем информации о мире, вы могли бы несколько уменьшить внутрибританскую информацию за счет общемировой? Психологически это для нас имеет такую окраску, как будто бы человек занят собой и много о себе говорит. Психологически.

Но однако замечу — а как вы даете информацию о внутрибританской жизни и британской прессе? Я должен с огорчением сказать, что и здесь выбор информации не вполне беспристрастен. Ну, например, у вас акцентируется — я не знаю, кто в русской секции заведует этим выбором, — но у вас акцентируются одни вопросы за счет погашения других. Я вам приведу пример. Я сам проверил: например, «Архипелаг ГУЛаг» вышел по-английски, том второй, вы даете обзор прессы по «Архипелагу» второму, а потом мне присылают все эти статьи газетные, и я их читаю, и я скажу, что ваш обзор просто неадекватен тому, что написано.

Теперь второй, более общий пример. Нельзя спо-

рить, что подавление, насилие в странах Восточной Европы и в СССР по своим размерам несравнимо с тем, что, например, происходит в Испании. И когда этой осенью я слушал — это недели две шло вокруг пяти испанских террористов — видите, такое внимание и такой гнев при довольно спокойном изложении или даже пренебрежении по поводу того, что происходит у нас, это оскорбляет наших слушателей. Это всё равно, как, скажем, голодному человеку рассказывать о том, что вот подали, ну бифштекс, и не так был положен салат.

Я, в частности, здесь скажу например: еще 12 лет тому назад вышло на трех страницах в «Новом Русском Слове», всего на трех страницах, великолепное статистическое беспристрастное исследование профессора Курганова. Без всяких эмоций, один научный подсчет, который доказывает нам, что мы потеряли от внутренней гражданской войны, от внутреннего уничтожения, 66 миллионов человек, и от пренебрежительного ведения войны, так, не считаясь с людьми, — 44 миллиона, вдвое больше, чем сказал Хрущев. Я удивляюсь, что за 12 лет Би-Би-Си не передало этого обзора. Я, например, сейчас в общих передачах Би-Би-Си сослался на это дважды, предлагая английской прессе для английского читателя опубликовать. И я также обращаюсь к вам с просьбой это передать несколько раз для нас.

Ну, как автор «Архипелага», я был бы нескромен, предлагая уделить значительное внимание чтению «Архипелага», но я рассматриваю «Архипелаг» как книгу, стоящую н а д о мной. Это как если бы не я написал. Эта книга с жадностью расхватывается там, в Союзе, и за то, что человек держит ее в руках, он сразу может сесть в сумасшедший дом или в тюрьму. И я думаю, что можно было бы довольно просторно передавать эту книгу, чтобы восполнить тем, кто никогда ее не сможет получить.

Ну, однако это два частных примера. Вообще же я должен сказать, что подбор цитат в обзорах английской прессы, хотя, может быть, он вам представляется такой английской традицией «всех представить равно», но понимаете, когда мы слушаем с утра до вечера только коммунистическую прессу, то я думаю, что вы могли бы нам «Морнинг стар» не передавать. Для английской прессы, может быть, это нужно, для уравновесия, но нас это просто... невозможно слушать, мы выключаем. И вы теряете слушателей с какой-то минуты передачи.

Вот, например, когда ваш диктор произносит фразу, что перед казнью террористов испанских происходили душераздирающие сцены прощанья с родственниками, и при этом голос диктора искренне дрожит, наша мысль одна: Господи, хоть вообще пустили прощаться! А у нас — сотни тысяч взятых «на одну минуту», а потом расстреляны неизвестно где и когда, и вообще не пустили ни на какие сцены прощания, даже душераздирающие, и через десятки лет люди не уверены, жив или не жив, как пропал?

Я хочу сказать, что вы не только оторваны сейчас от мнения радиослушателей, но вас специально дезинформируют вот этими письмами. Приведу пример. Какой-то мерзавец из Казахстана написал, что он Сахарова не одобряет, и вы передаете это. А у нас, вы понимаете, создается впечатление: да может быть, вы не понимаете, как эти письма составляются? Потом не раз были такие письма: передавайте больше джаза, передавайте больше музыки, передавайте больше спорта. Это есть работа КГБ, чтобы вас сделать безвредными, лишить вас всей силы. Я поставил себе вопрос: может быть, вы думаете так, что если вы будете передавать джаз и спорт, то вы будете привлекать к своим передачам молодежь? Но поймите, это совсем другая категория слушателей, которые остальной вашей передачей и не интересуются. Этим самым

вы их не втягиваете в главное русло ваших передач. И, кроме того, эта группа радиослушателей в общем может иметь достаточно прекрасную информацию и по советскому радио и о спорте, и даже о джазе. К такой весьма бесполезной или импотентной информации я бы относил передачу поп-музыки и даже музыкальные журналы. Но я не скажу этого о киножурналах и театральных журналах. Это действительно у вас интересно и дает нам то, что мы никак не можем увидеть.

Теперь я особенно хотел бы остановиться на религиозных передачах. Живя в Англии, нельзя оценить роли религии в Советском Союзе, среди русских. У вас религия в большой степени редуцирована, а в другом сведена как бы к такой подсобной сфере существования. У нас религия сейчас — главная форма духовного движения, это не только религия, это — духовное возрождение народа, которое дает твердость сопротивления советскому режиму. Стержень организующий, я бы сказал.

Я особенно бы подчеркнул потребности наши в религиозных передачах вот в таких отношениях. На первом месте я бы поставил передачу православных служб. И здесь я напоминаю мою просьбу отделить несколько наций, несколько национальных передач, потому что, естественно, религиозные формы не совпадают, но они все тоже нуждаются в религиозных передачах. А тогда был бы большой простор и возможность для передачи русской православной службы. У нас в Советском Союзе очень много таких местностей, где до храма доехать — двести километров. Поэтому невозможно пойти в воскресенье на службу, и даже в большой праздник. Максимум можно пойти — ребенка окрестить, или там свадьбу, или панихиду. Поэтому огромные пространства России, именно те, где не глушится, — сейчас вообще не глушится — они нуждаются в этих религиозных передачах, они

думают хотя бы в воскресенье десять минут послушать службу, как будто войти в церковь.

Однако должен с огорчением сказать, что у вас последнее время — это совсем недавно изменилось — сократились службы: даже по так называемым двенадцатым праздникам исключены, а уж по воскресеньям и совсем нет простой воскресной службы. По вашему сегодняшнему порядку у вас передается только Пасха и Рождество. Это чрезвычайно мало. Я всячески просил бы, чтобы эти религиозные службы — хотя бы по десять минут каждое воскресенье и каждый крупный праздник. И вы вовсе не нуждаетесь обязательно записывать сегодняшнюю службу — вот для достоверности, вот «как сегодня». Вы можете из года в год передавать то же, и это чрезвычайно нас насытит. Мистическое ощущение — как войти в храм.

На втором месте я поставил бы — вот, например, у вас сейчас цитируется книга, сводка по Евангелию. Это очень полезные передачи, хотелось бы их не прерывать, постоянно вести.

Затем, третье, я бы обратил внимание, что сюда среди других самиздатских материалов поступает много религиозных материалов. И вот наши религиозные мыслители, которых у нас сейчас можно уже насчитать более десяти, — они, понимаете, они там у нас не имеют возможности на всю Россию сказать, чтобы их все слышали. Чрезвычайно важно, если Би-Би-Си передавало бы вот эти религиозные самиздатские материалы. В настоящее время их здесь больше, чем может передать религиозная программа Би-Би-Си.

И, наконец, последний, еще один важный вопрос — я бы сказал, место религиозных передач в общей передаче. То, что вы можете включить в общую программу, не в выделенную религиозную, а в общую, — нельзя ли поставить по времени на более почетное, точнее переднее, место, ну скажем, после известий и

главных обзоров. А то получается так, что после ньюс и комментариев идут какие-нибудь научные передачи, спортивные, музыкальные, и серьезные слушатели, которые слушают и известия и религиозные передачи, — вы разрываете для них слушание, по вынужденности времени они выключают и теряют потом религиозную передачу.

Тут я бы особенно хотел сказать, например, вот научные передачи ваши по-русски очень тяжелы, как бы неудобоваримы. Я не против них, но они должны быть легче и короче. Даже мне нужно специально сидеть, а я физмат кончил, и я должен напряженно слушать, чтобы уловить. Так вот, значит, я бы думал, что эти научные передачи... видите как, потребность в научно-техническом мышлении у нас в Советском Союзе тоже не плохо удовлетворена. Она не запрещена, она есть во всех научных изданиях, и люди могут там читать. А когда вы ею заменяете наши духовные потребности, сердечные потребности, это очень обидно, потому что вы подавляете более высокие потребности для более низких.

Теперь я отдельно хотел бы подчеркнуть такую частность, как очень неважный русский язык, на котором сейчас передает Би-Би-Си. Разный уровень, конечно. Есть и очень хороший русский язык, а есть и акцент, и построение фраз не русское. Я здесь встречался достаточно, вот сейчас за несколько дней я встретил достаточное количество русских людей, великолепно владеющих английским и русским. Я не говорю, что именно кто-то из них бы работал. Но я здесь встретил — в Кембридже, Оксфорде и Лондоне.

Наконец, я немного скажу и о собственно политической части ваших передач. Если говорить об известиях, я думаю, что вам надо увеличить, если можете, сведения по миру и, может быть, если можно, немного пригасить внутрибританские события. Теперь, среди ваших комментариев «Глядя из Лондона»

у вас тоже очень неровные комментарии бывают. Там есть отличные комментарии и есть весьма мало-содержательные. Я думаю, что ваша собственная инспекция может это легко обнаружить. И если вы поставите перед собой задачу, что вы ответственны перед миллионами людей, не только в России, но и собственными британскими, если смотреть в будущее, — я повторяю то, с чего начал: что безусловно от судьбы, от того, как пойдут события в СССР, зависит и судьба Англии, — то, может быть, сумеете пожертвовать иногда комментариями, обидеть кого-то из аппарата.

В частности, я могу сказать о комментариях Анатолия Максимовича Гольдберга. Я должен сказать, что советская пресса иногда даже так играет: нападает на Гольдберга, какой он резкий антисоветчик. На самом деле это всё игра, такая же, как сейчас говорят, что НАТО до того вооружается, что уже Советскому Союзу надо защищаться, Брежнев сказал это. В комментариях Гольдберга, я бы сказал — вот прослушаешь пятнадцать минут и с огорчением видишь, что к концу знаешь ровно столько, сколько знал в начале. Вот он говорит — уверенно, убедительно, а информация — как вода между пальцев уходит, нету! И даже я сказал бы, у него — ну, может быть, это такой стиль западных комментаторов, ободрять слушателей, оптимистически... когда слушатель, простой слушатель видит, что дела идут в пропасть, что дела идут плохо, а Гольдберг дает такую радужную картину, надежды, вот-вот всё идет к лучшему. Такое впечатление: иногда такие второстепенные признаки Гольдберг выдает за предсказание поворота к лучшему. Вот, например: советские представители ВСЕ улыбались — хороший знак. А они ВСЕ делают так, как по команде им скажут.

Я еще раз вернусь к Морису Лети — не потому, что Морис Лети присутствует здесь и я хочу ему ска-

зять приятное. Это вы — отличные комментарии, всегда! Вот, действительно, Морис Лети видит вопрос в глубину и дает полновесный комментарий. Он дает нам душевное удовлетворение, что Запад понимает положение. Мы слушаем Гольдберга и думаем: «Ну что они, в с е не понимают ничего?!»

Теперь еще совсем маленькие частности. Вот вы давали в свое время обзор некрологов по Хо Ши Мину. А совсем недавно по Чжоу Энь-лаю. Примерно вы совершили одну и ту же ошибку или уклон в обоих случаях. У меня где-то было выписано по Хо Ши Мину, но сейчас этого нет здесь. Я вообще иногда, когда я сержусь на Би-Би-Си, я записываю. Но не все бумажки я сейчас собрал. А вот по Чжоу Энь-лаю я, разрешите, вам дам.

«Величайший борец за эмансипацию». Человек, который вместе с Мао Цзэ-дуном подверг угнетению 900 миллионов человек, — величайший борец за эмансипацию. Как Вашингтон. Вот, например, дает «Нью Стейтсмен» огромный поток похвал Чжоу Энь-лаю, и вы, Би-Би-Си, это передаете. А вот я спрошу: а если бы такими методами управляли в Чили, как бы вы реагировали? Вы не называете Пиночета величайшим борцом за эмансипацию? Однако он предложил Советскому Союзу выпустить всех заключенных, а Советский Союз ухом не повел. Вы знаете, промелькнуло, я не помню, по Би-Би-Си же кажется, — маленький-маленький такой хвостик передачи, маленькая замечка о том, что 17 чилийцев приехали в Румынию, пожили там и не знали, как сбежать, сбежали в Западную Германию. Это же потрясающий факт, который просится в комментарии: значит, они хотели установить в Чили такой режим, при котором сами жить не хотят.

Я возвращаюсь к Чжоу Энь-лаю. От этих комментариев происходит впечатление, что у британцев — чего нет на самом деле — уважение к грубой силе. Как

же можно? Вот человек действует грубой силой, и ему такие похвалы воспевают Би-Би-Си. Утверждает Би-Би-Си, цитирую, что «к коммунизму Чжоу Энь-лай привел патриотизм». Самое большее, что убежденный коммунист Чжоу Энь-лай с какого-то момента стал применять патриотизм как оружие. И вот Би-Би-Си передает от собственного имени: «Подлинная скорбь народа. (Это Чжоу Энь-лай!) Личная утрата каждого китайца. Оплакивает весь Китай». Невозможно слушать нам! Мы понимаем, конечно, что какие-то слои захвачены идеологией и оплакивают его. И по Сталину плакали. Но другие радовались, только не могли показать. Я думаю, что не может Би-Би-Си так восхвалять диктаторов. Ну, я очень бегло это всё сказал, торопясь. Я мог бы развивать отдельные положения, но у нас сейчас нет времени.

Последняя просьба: если некоторые-то из моих аргументов вас убедят, то, может, вы будете ходатайствовать перед другими инстанциями? Можно у правительства, вот насчет национальных передач, похотатайствовать. Я прошу вас, это самое главное: поймите, может быть идут последние годы, когда вы можете спасти Британию влиянием на русский народ.

НОВЫЕ КНИГИ

- А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг, т. III. «ИМКА-ПРЕСС», 1976, 582 стр.
- В. Ходасевич. Некрополь. «ИМКА-ПРЕСС», 1976, 279 стр. Переиздание.
- К. Мочульский. Духовный путь Гоголя. «ИМКА-ПРЕСС», 1976, 146 стр. Переиздание.
- М. Цветаева. После России. «ИМКА-ПРЕСС», 1976, 160 стр. Переиздание.
- Э. Голлербах. В. В. Розанов. «ИМКА-ПРЕСС», 1976. Переиздание.
- А. Солженицын. Рассказы. «Посев», 1976, 372 стр.
- В. Корнилов. Демобилизация. «Посев», 1976, 574 стр.
- Г. Свицкий. Полярная трагедия. «Посев», 1976, 300 стр.
- В. Максимов. Собрание соч., т. 2. «Посев», 1976, 512 стр.
- Н. Коржавин. Времена. Избранное. «Посев», 1976, 388 стр.
- А. Марченко. От Тарусы до Чуны. «Хроника», 1976, 124 стр.
- И. Одоевцева. Портрет в рифмованной раме. «Рифма», 1976.
- Е. Скрябина. Годы скитаний. «Пять континентов», 1976, 172 стр.
- Л. Бершадская. Растоптанные жизни. «Пять континентов», 1976, 135 стр.
- В. Иверни. Стихи. «Ритм», 1976, 80 стр.
- Е. Игнатова. Стихи о причастности. «Ритм», 1976, 80 стр.
- А. Терц. Прогулки с Пушкиным. «Коллинз», 1975, 178 стр.
- Ф. Сологуб. Стихотворения. «Сов. Пис.» (Большая серия Библиотеки поэта), 1975, 680 стр.
- Ф. Г. Лорка. Избранные произведения в 2-х томах. «Худ. лит.», 1975; т. 1 — 496 стр., т. 2 — 416 стр.
- А. Ахматова. Стихи и проза. «Лениздат», 1976, 615 стр.

Факты и свидетельства

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЛЕОНИДУ ПЛЮЩУ

Дорогой Леонид Иванович!

В течение нескольких лет мои душевные силы были сосредоточены на Вашем «деле», на «деле Леонида Плюща», то есть на том, чтобы вопиющее это дело — заточение психически здорового, душевно и духовно полноценного человека на бессрочное пребывание в спецпсихбольнице — стало известно советской и западной общественности. Я хотела (и доби-лась) того, чтобы множество людей охватили тот же ужас и то же возмущение, какими была охвачена я, чтобы этот ужас и возмущение привели (как и случилось, к величайшему счастью) к активной борьбе за Ваше освобождение.

Никогда не забыть мне дней, предшествовавших Вашей свободе, последних дней, которые Вы провели на земле родины, изгнавшей Вас, не предоставившей Вам иного выбора, кроме выбора между «психушкой» и чужбиной.

Часы, проведенные у ворот Днепропетровской спецпсихбольницы... Сколько их уже было, этих часов, когда я ждала Вашу жену, а она выходила после очередного свидания бледная, потрясенная, убитая: по-прежнему «лечат», тускнеет память, ухудшается речь, он гибнет.

Могла ли я надеяться, что настанет миг и Вы сами появитесь в дверях этого страшного узилища, оставив позади своих палачей, свои муки, своих несчастных товарищей, но не память о них, не душевный и духовный опыт, добытый ценой таких страданий?

И все же этот миг настал. Нас, Ваших друзей, лишили радости встречи, радости общения.

Мне это было особенно обидно: я ведь не знала Вас лично, Ваш облик был мне знаком и дорог только по рассказам Вашей жены, друзей, знакомых и, конечно, по Вашим работам, заметкам, письмам.

...Последние страхи, последние опасения: вдруг сорвется, обманут, не выпустят?

Первые радостные известия: граница пересечена, Вы и Ваша семья (четыре года она была и моей семьей) в безопасности, Вас встречают в Вене, приветствуют в Париже.

Наконец, я слушаю по радио, потом читаю Ваше интервью. Смешанное чувство радости и торжества, горечи и недоумения охватило меня и не покидает до сих пор.

Как не радоваться тому, что Вы свободны и свободно — свободным же людям — излагаете взгляды, за которые в своей стране были приговорены к пытке безумием?

Но вот сами взгляды...

Знала ли я, начиная борьбу за Ваше освобождение, что Вы — марксист, то есть человек, который исповедует идеологию, отрицающую все для меня святое: Бога, христианство, свободу как высшее, не отчуждаемое от человека благо, в отличие от марксистской «свободы как осознанной необходимости»? Конечно, знала. И все же боролась. Боролась прежде всего потому, что Вас бесчеловечно покарали за ненасильственные действия, за убеждения, воплощенные в словах и достойных поступках.

Но, ежедневно и ежечасно рискуя своей свободой, а значит, и благополучием своих 4-х детей, я боролась не только за абстрактную идею («ненасильственного действия», «права человека»), не только за

очередного «узника совести», но и за конкретного живого человека, чей духовный строй, чья этическая установка были не так уж чужды моим собственным.

Мне казалось, что Ваш марксизм, уважаемый Леонид Иванович, скорей инерция, дань молодости, да еще, быть может, органическая потребность ученого-математика в единой всеохватывающей картине мира, чем глубокое выстраданное мировоззрение, соответствующее Вашей подлинной человеческой природе, взыскующей чистоты и нравственности.

Мне казалось (и такие мысли поддерживались во мне и Вашей женой, и некоторыми Вашими письмами, и некоторыми суждениями в Ваших работах), что в последние годы перед арестом в Вас происходила большая внутренняя работа, направляющая Ваши размышления и чувства в сторону более общечеловеческих, гуманных и культурных ценностей, чем жестокие и бездуховные категории классовой борьбы и классовой морали.

Мне казалось, что страшный опыт, приобретенный Вами сначала в кабинетах ГБ, украшенных портретами основоположников учения партии и государства, потом — в камере пыток Днепропетровской спецпсихбольницы, должен был заставить Вас задуматься над связью между тем, во что Вы верили, и тем, что испытали: возможно ли, чтобы «чистые и светлые идеалы коммунизма» породили столь бесчеловечную систему, возможно ли, чтобы «человеческое лицо» коммунизма, за которое Вы теперь ратуете и которое до сих пор не имело иного выражения, кроме самого злобного, ненавидящего, угрожающего, действительно было задумано человеческим?

И вот я слышу — от Вас слышу, — что ужасы, перенесенные страной, ужасы, от которых все мы до сих пор не застрахованы, и Вами лично пережитые — только изъяны, «перегибы», отдельные недостатки, порочащие «светлые идеалы» коммунизма,

но по странной, непостижимой логике не задевающие их сущи.

Я не могу встретиться с Вами, поговорить по телефону, не могу даже, как испокон веков было принято у цивилизованных людей, затеять с Вами частную переписку, чтобы «выяснить отношения».

Но и отказаться поделиться с Вами своими мыслями я тоже не могу: слишком больно слышать мне Ваш «символ веры» и слишком связаны мы с Вами связью, для которой и слова-то подходящего нет. Дружба? Но мы даже не знакомы. Разрыв «на идейной почве»? Но ведь по-настоящему мы и не были единомышленниками. Связь спасавшего и спасенного? И это не то.

А вот что:

Оба мы выступали и выступаем против насилия над свободой совести и мышления, против поругания человеческого достоинства и духовной самостоятельности личности.

И, пока Вы находились в спецпсихбольнице, а я боролась за Ваше освобождение, «дело Леонида Плюща» было моим делом, нашим общим делом.

Но Ваше «дело» кончилось, «закрылось», мое — осталось. Теперь наши противоречия существенней того, что раньше нас объединяло.

Вы не вводите в заблуждение общественное мнение Запада — Вы честно передаете факты и честно, то есть искренне, провозглашаете свои взгляды.

Но я, в соответствии со своей этической установкой, не могу не считать Ваши взгляды злом, а их проповедь, усиленную Вашим авторитетом человека стойкого, мужественного, пострадавшего, — соблазном зла.

Каждому человеку изначально дана единственно реальная свобода — свобода выбора между добром и злом.

Я свое человеческое предназначение, смысл своей

жизни вижу в отрицании зла, в милосердии, сочувствии, сострадании и помощи тем, кто в этом нуждается.

Я отвергаю насилие, не признаю «диалектики» добра и зла, их относительности или «классового характера». Никогда и нигде я не стала бы проповедовать революцию.

Для меня добро, нравственность, совесть, милосердие и страдание абсолютны и вечны.

И в другой стране, и в другую эпоху я исповедовала бы тот самый «абстрактный гуманизм», который так презирает и осмеивает, уничтожает и оскорбляет официальная советская мораль.

Я защищаю погрязшие права не сотен тысяч и миллионов, а десятков и сотен людей; я не утверждала и не утверждаю, что уполномочена говорить от имени масс или хотя бы какого-то «молчаливого большинства», — я не знаю его, я никогда не пересчитывала своих единомышленников.

Если мой почтовый ящик полон приветственными и благодарными письмами, если в доме моем тесно от пришедших ко мне друзей, — я счастлива.

Если настанет день, когда дом мой опустеет, — это ничего не изменит ни в моих взглядах, ни в моих поступках.

Людям, для которых статистика тождественна морали, а убеждения заменяет магия больших чисел, такая позиция, наверное, должна казаться абсурдной (хорошо — не наказуемой).

Но не к ним обращены мое слово и мои надежды. Они обращены к тем, кто не проверяет истину арифметикой, для кого духовная свобода есть неотъемлемое качество жизни, священная суть ее и так же не может быть отнята у миллионов в пользу отдельного человека, как и не может быть отнята у отдельного человека якобы для пользы миллионов.

Таково мое главное и заветное убеждение.

Второе, тоже главное и заветнейшее: ненасилие, неприятие любой идеологии, любого мировоззрения, проповедующего насилие или его ценой оплаченное «добро».

И только этими двумя принципами я руководствуюсь во всех своих действиях.

Инакомыслящих («диссидентов») советская пропаганда именует «антисоветчиками» — словом, которое, по ее мнению, исчерпывающе определяет и одновременно морально уничтожает.

Меня это слово не задевает, не оскорбляет, но и не ласкает мой слух: оно попросту не имеет ко мне никакого отношения, как и любое другое «анти» («антимарксизм», или «антикоммунизм»).

Я люблю духовность, культуру, свободу, я утверждаю милосердие и доброту (универсальную, всех ко всем) и потому не приемлю все, что угрожает этим, абсолютным для меня, ценностям или стремится их уничтожить.

Мое мироощущение, мирочувствие породило мою идеологию, а не моя идеология — мою мораль.

Я не видела никакого противоречия между теорией классовой борьбы, которой нас обучали в школе, и повальными арестами, рыданиями подруг, в одну ночь лишившихся родителей, страхом, не отделимым от всего нашего быта, — словом, всей той атмосферой, которая уже так хорошо известна миру, благодаря Солженицыну, и которой у себя в стране мы еще дышим — не надышались.

Но потом появились (и все еще появляются) люди, которые говорили и говорят мне, что все, с нами случившееся, произошло неправильно, по чьей-то роковой или преступной ошибке, что марксистский коммунизм предполагает вовсе не бесчисленные жертвы, «страх и трепет», а, напротив, расцвет личности и свободы, что, если я прочитаю «раннего» Маркса или «позднего» Ленина, я смогу убедиться, что

на самом деле все должно было произойти совсем иначе.

Может быть, я и не поняла всей глубины экономического учения Маркса, но я поняла, что экономические отношения, положенные в основу всей человеческой жизни («бытие» определяет «сознание»), неприемлемы для меня, чужды, враждебны всему моему существу: я стремилась и стремлюсь к тому, чтобы мое сознание определяло мое «бытие».

Еще в детстве я поверила, что «не хлебом единым жив человек», и пронесу эту веру до конца дней своих.

Я читала и «раннего» и «позднего» Маркса и Ленина и убедилась в том, что все произошло правильно, «по науке», что иначе и быть не могло.

Вот пример.

В своем выступлении Вы, Леонид Иванович, выразили горячее сочувствие и уважение не только чешским коммунистам — лидерам «пражской весны», близким Вам по идеалам и политической программе, но и всему «героическому народу Чехословакии». Героическому — да, но несчастливому, трагическому народу, исторически обреченному на призрачную самостоятельность, иллюзорную независимость, ибо существование его зависит от алчных притязаний соседних хищников: в 30-е годы — фашистской Германии, в наше время — советской России. И тот самый марксизм, «светлые и чистые идеалы» которого Вы почитаете, а интернационализм, будто бы составляющий самую сердцевину, самую глубокую суть коммунистического учения, Вы наверняка особенно цените, этот марксизм устами Энгельса санкционирует, провозглашает закономерность, неизбежность, «историческую необходимость» поглощения слабых наций сильными, а столь уважаемый Вами чешский народ называет «умирающей чешской национальностью»:

«Но, как это часто бывает, умирающая чешская национальность — умирающая, судя по всем известным из истории последних четырех столетий фактам, — в 1848 году сделала последнее усилие вернуть себе свою былую жизнеспособность, и крушение этой попытки должно, независимо от всех революционных соображений, доказать, что Богемия может впредь существовать лишь в качестве составной части Германии, даже если бы часть ее жителей в течение нескольких веков все еще продолжала говорить не на немецком языке».

Слышите? — «...независимо от всех революционных соображений». Значит, революция выше нравственности, но сила (так называемая «историческая необходимость») выше и революции, если революция была настолько глупа, что оказалась слабой. И еще...

«Единственная и неизбежная участь этих умирающих наций (к ним Энгельс относит «чехов, каринтийцев, далматинцев и др.» — Т. X.) состоит в том, чтобы дать завершиться процессу разложения и поглощения более сильными соседями. ...Как могут они ожидать, что история возвратится на тысячу лет назад в угоду нескольким хилым человеческим группам..?» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., Госполитиздат, 1957, т. 8: Энгельс. «Революция и контрреволюция в Германии»).

«Хилые человеческие группы»... Вам никого не напоминает эта лексика, уважаемый Леонид Иванович?

Не кажется ли Вам, что такое рассуждение вполне могло принадлежать Гитлеру накануне и в теоретическое обоснование захвата Чехословакии в 1938 году? И что нет никакого противоречия между взглядами «основоположника» на судьбу малых наций и народов и вторжением в Чехословакию советских войск в 1968 г.?

Только ли в Чехословакию? И только ли в 1968 году?

Ведь «поглощение более сильными соседями» — «естественная и неизбежная участь» любой нации, оказавшейся физически более слабой и потому провозглашенной «умирающей».

В мире всегда присутствовало и присутствует зло, почитающее силу (насилие) самым веским аргументом: «победителей не судят».

Но человек, называющий идеологию, основанную на насилии и призывающую к нему, «светлыми и чистыми идеалами», берет на свою душу грех более страшный, чем само зло, ибо заменяет злом — добро, уничтожает пропасть между ними.

Вы, призывающий прогрессивные силы Запада к борьбе за освобождение И. Светличного, Е. Сверстюка и других представителей национально мыслящей украинской интеллигенции, какой духовный импульс обретае Вы в исповедуемом Вами марксизме, враждебном всякому национальному самоопределению и самосознанию, если только не принадлежит оно сильной нации, чья «физическая и интеллектуальная способность к покорению, поглощению и ассимиляции своих... соседей» (Энгельс) «доказана» историей? (А по-моему, история ничего не доказывает: она сама нуждается в осознании, она, как и реальная, сегодняшняя, текущая жизнь, подлежит нравственному анализу и моральной оценке.)

Как Вы — человек, не заглушая в себе идеолога, можете защищать интересы своего друга Александра Фельдмана, отбывающего трехлетний срок заключения в лагере усиленного режима за не совершенный им хулиганский поступок, а на самом деле за то и только за то, что по глубоко продуманным и прочувствованным национальным побуждениям (значит: по сионистским) хотел уехать в Израиль?

Благодаря газетам, радио, телевидению, Израиль вышел сейчас на первое место по «вражести», опередив и международный империализм вообще и американский — в частности. Да и в самом деле, можно ли представить себе врага более привычного, «своего», «домашнего», чем «жиды»?

Как христианка, русская, как человек с памятью и сердцем, я не могу не прийти в ужас от того, что моя родина, Россия, в чьи чернейшие страницы в прошлом вписаны еврейские погромы, лидирует сегодня в травле народа, завоевавшего себе ценой крови и мук право на государственность и самостоятельное национальное бытие.

Я не могу без отвращения читать, как в советской прессе оправдываются погромы, поскольку-де они носили «классовый характер», и евреям, единственной из всех существующих наций, предлагается ассимиляция, «научно обоснованная» классиками марксизма.

«Еврейский вопрос стоит именно так: ассимиляция или обособленность? — и идея еврейской «национальности» имеет явно реакционный характер не только у последовательных сторонников ее (сионистов), но и у тех, кто пытается объединить ее с идеями социал-демократии (бундовцы)... Карл Каутский, имея в виду специально русских евреев, выражался еще энергичней. Враждебность к инородным слоям населения может быть устранена «только тем, что инородные слои перестанут быть чужими, сольются с общей массой населения. Это единственно возможное разрешение еврейского вопроса, и мы должны поддерживать всё то, что способствует устранению еврейской обособленности» (Каутский)»... Ленин, т. V.

Почему Ленин, отвергавший взгляды Карла Каутского буквально по всем вопросам политики, страте-

гии и тактики европейской социал-демократии, оказался абсолютно солидарным с ним только в одном вопросе — еврейском?

Не потому ли, что в марксисте-«ленинце» Ленине «сработала» самая характерная для марксизма «этическая установка» — тотальное неприятие индивидуально-духовного начала, противопоставляющего себя социально-экономическому детерминизму, безразлично, проявляется ли это индивидуально-духовное начало в отдельной личности или в отдельном народе.

Травля, которой советская пропаганда подвергает Израиль и сионистов (никого не вводящий у нас в заблуждение псевдоним евреев), как правило, вовлекает в свою орбиту инакомыслящих, или, прибегая к языку газеты «Правда», «...кучку так называемых «диссидентов».

В распространявшихся по Москве подпольных машинописных листках под грифом «смерть сионистским захватчикам!» Солженицын объявляется «прислужником мирового сионизма», а христианство — «предбанником сионизма».

В дни кампании против акад. Сахарова поползли слухи, безусловно, инспирированные ГБ, будто Сахаров — еврей. Грязный, разнузданный фельетон в газете «Труд» не преминул подчеркнуть еврейское происхождение жены Сахарова — Елены Боннэр.

Мне кажется, что все еще не оценен и не осмыслен тот факт, что неевреям из СССР можно эмигрировать, за редчайшим исключением, только по вызову из Израиля. Для людей совестливых, с высокими понятиями чести, небезразличных к тому, как и каким путем они вынуждены покинуть свою страну, этот установившийся порядок — источник мучительного, порой драматически разрешаемого противоречия.

Тяжело больной Анатолий Марченко обречен на

4-хлетнюю ссылку только потому, что почел для себя невозможным воспользоваться вызовом из Израиля, как ему неоднократно предлагала ГБ, потому что собирался жить не в Израиле, а в США, куда был официально приглашен.

Андрею Амальрику, получившему приглашение из Утрехта, также предложили уехать по вызову из Израиля.

Прагматические соображения (проблема гражданства, автоматически теряемого при выезде в Израиль, вынужденная «узаконенность» еврейской эмиграции и нерешенная советским правительством проблема свободного выезда из страны и въезда в нее) представляются мне несущественными, малоубедительными.

В сознание советских граждан усердно вколачивается мысль о тождестве инакомыслия с «еврейскими интересами». «Враг внутренний и внешний» приобрел четкие, легко распознаваемые черты «инакомыслящего сиониста».

Все это — опаснейшая гальванизация черносотенной психологии с ее звериной ненавистью к интеллигентам и евреям.

Это — моральное растление народа, ибо постоянная, грубая, незаконная и безудержная брань именем большинства в адрес национального или интеллектуального меньшинства, лишенного возможности защищаться, неизбежно ведет к ожесточению и нравственной деградации общества. А мы, к несчастью, до сих пор не страдаем от избытка гуманности и нравственной культуры.

В глубинах народной души, как и в душе отдельного человека, таятся и темные, бесчеловечные, аморальные силы. История показала, что ничто так легко не приводит эти силы в движение, как антисемитизм.

Я протестую против антисемитизма по тем же

мотивам, по которым протестую против творимых у нас насилий над религиозными и нравственными убеждениями, во имя достоинства и свободы человеческого духа.

Конечно же, Вы, Леонид Иванович, как и подобает порядочному и культурному человеку, ненавидите и презираете антисемитизм и, конечно же, считаете, что марксистский коммунизм несовместим с ним. А я опять-таки не вижу здесь никакого противоречия: в нынешней вспышке советского антисемитизма встретились, на мой взгляд, и прекрасно «совместились» две традиции — одна стихийная, погромная, черносотенная, другая — идейно, «классово» обоснованная марксистским учением. Ведь ни одна антиссионистская советская публикация не обходится без ссылок и цитат из «классиков» и «основоположников». Но не кажется ли Вам, что преследовать евреев как сионистов-империалистов и врагов пролетариата — ничуть не лучше, чем призывать к избиению «хриstopродавцев» и «хриstopубийц»?

Поток черной ненависти, угроз, бессмысленной злобы, разлившейся по страницам советской прессы и направленной против «диссидентов — психов — сионистов», свидетельствует об одном: явным стало то, что задумано было тайным, осветились закоулки и подполья советского образа жизни, особенно тщательно оберегаемые и охраняемые от дневного света, — и система будет — уже начинает — мстить.

Я говорю сейчас так для того и только для того, чтобы еще раз стал известен и ясен механизм чинимых у нас репрессий, — они распространяются по цепи, по системе заложников: каждый, вступивший за пострадавшего инакомыслящего, должен разделить его судьбу. Такова логика ГБ, ее неписанный действующий закон, хуже — то злое чувство, та личная ненависть, которой движима эта страшная в своем аморальном всеилии организация.

Ведь и Вы, Леонид Иванович, будучи арестованным в свое время ГБ и по ее указанию приговоренным советской психиатрией к пытке безумием, пострадали еще и за то, что мужественно и открыто выступили в защиту генерала Григоренко.

И так же, как несколько лет назад я вступилась за Вашу честь, за честь человека, заведомо ложно объявленного ненормальным, я вступаюсь сегодня за честь своих друзей и знакомых, по счастью, уже недостижимых для советского правосудия и психиатрии, хотя в гуманной и добросовестной помощи психиатрии некоторые из них, безусловно, нуждались.

Страшно не то, что «Литературная газета» в статье «Подлость» назвала среди других психически больными А. Якобсона, В. Файнберга, супругов Титовых. И даже не то, что в некоторых случаях это — правда, в некоторых — ложь.

Страшно другое: сознание советских людей воспитывается в убеждении, будто психическое нездоровье исключает для человека саму возможность нравственной, творческой или умственной полноценности и, что не менее страшно, будто «диссидентство», инакомыслие — следствие (а то и причина) отклонения от психической нормы.

Психическое заболевание — это именно заболевание и, как всякая другая болезнь, не разбирается в идеологиях, не причастно к ним.

Депрессии, подавленность, бессонницы, возбуждение, бесчисленные страхи (фобии, как их называют психиатры)... Ни один из наших современников не гарантирован от этого набора, как не гарантирован от рака ни христианин, ни марксист, ни безработный «диссидент», ни ответственный партийный работник.

И сколько еще новых болезненных вспышек породит господствующая в советской прессе тема: сионисты — шпионы — вербовка — «диссиденты»! Ведь

Советский Союз недвусмысленно предупредил, что он и в дальнейшем во имя чести, достоинства, душевного равновесия миллионов своих граждан будет преследовать единицы и десятки «заблудших».

Титов — Строева, о которых рассказала «Литературная газета» и которых я знала, были больными не потому, что «инакомыслили», и не потому «инакомыслили», что были больными.

В нашей глубоко нездоровой общественной атмосфере, наполненной страхом, скукой, разговорами обо всем и ни о чем, та степень внутренней свободы, раскрепощенности, которую отвоевали себе некоторые люди, неизбежно привлекала и будет привлекать и людей с неглубокими убеждениями, но из чисто эмоциональной потребности играющих в оппозицию и свободомыслие. Болезнь Титова и его жены — их большая трагедия, личное несчастье. И кто из нас позволил бы себе не принимать их в своем доме?

Подлость, — деля людей на «своих» — здоровых — и «чужих» — «больных», — закрывать перед действительно больными двери своего дома или своей страны. (Е. Строева и ее муж неоднократно обращались в советские инстанции с просьбой разрешить им вернуться на родину. Им в этом было отказано.)

Подлость — создавать вокруг одаренных натур такую чудовищную обстановку преследований и злобы, что они вынуждены, полные отчаяния и горя, уезжать на чужбину и погружаться там в глубокую ностальгию, ведущую затем к психическим срывам. (Так было с талантливым московским литературоведом, переводчиком и педагогом А. Якобсоном.)

Подлость — прямая и сознательная ложь: ни один английский психиатр никогда не признавал В. Файнберга душевнобольным. Об этом узнали английские читатели газеты «Морнинг стар» (коммунистической!), но об этом никогда не узнают мил-

лионы подписчиков «Литературной газеты».

Подлость — вообще закрывать двери страны перед любым человеком, пожелавшим вернуться на свою Родину.

Чувство Родины — неотъемлемое право человека, иногда оплаченное ценой трагического духовного опыта.

Подлость — держать под замком границу, превращая эмиграцию в подобие и репетицию смерти: необратимость отъезда, невозможность возврата, вечная разлука с любимыми оставшимися — разве не способны привести к душевной катастрофе?

Страна, издающая книги русского писателя и мыслителя Достоевского, страдавшего эпилепсией, книги гениального немецкого писателя Томаса Манна, посвятившего немало проникновенных страниц той колоссальной роли, которую сыграли душевные заболевания многих творцов в духовном самопознании и культурном богатстве человечества, не стыдится теперь — устами своей прессы — ставить знак равенства между психическими отклонениями и «третьесортностью» человека, открыто заявляя: «нам не нужны люди, подобные антисоветчику-психопату Плющу».

Но в том-то и дело, что Достоевского и Т. Манна читают десятки, пусть сотни тысяч, а газеты — миллионы.

Мы у себя читаем советскую прессу особым образом. Мы давно привыкли, торопливо пробегая «букву», всегда одну и ту же, распознавать продиктованный ее «дух» (увы! такой черный, злобный, нечистый); мы слушаем интонацию, видим «выражение» слов, их скрытый смысл, а не их привычное, обманчиво-стертое значение.

Мы слышим угрозу там, где кто-то склонен услышать надежду. В утверждении «судят за деяния, а не за взгляды» мы слышим директиву, призываю-

щую к духовному самооскоплению общества, а каждого мыслящего ее члена — к самоцензуре во имя личной безопасности, гарантированной только лояльным поведением, то есть — молчанием!

Здорово не то общество, в котором все его члены поголовно (или в пресловутом большинстве) физически и психически здоровы («гармонически развиты»), но то, которое руководствуется здравым смыслом, здоровыми критериями и полноценной шкалой жизненных ценностей. А это всегда критерии любви и свободы, сложности и глубины человеческой личности.

Вы, Леонид Иванович, назвали «больной» советскую систему. В контексте Вашего выступления «больная» и «прогнившая» система отделена от «здорового» марксистско-ленинского мировоззрения. Логично ли это?

Как может быть здоровой система, основанная на идеологии, делящей мир на лагеря и классы, система, контролирующая духовную, творческую и художественную деятельность, ибо, по главной заповеди марксизма, такая деятельность обязательно кому-то «служит»? Именно идеология побуждает систему кого-то постоянно разоблачать, клеймить, выводить «на чистую воду», создавать врагов и ненавидеть их.

Вы призываете общественное мнение Запада к более решительной борьбе за освобождение всех политзаключенных. Для меня же не безразличны поступки, которые люди совершают во имя своих убеждений. Я не только не стала бы защищать террориста, но и сочувствовать ему: пролитая кровь не искупается никакими политическими убеждениями.

Представьте себе, уважаемый Леонид Иванович (хоть это и маловероятно), что те советские политзаключенные, интересы которых Вы сейчас защищаете, будут освобождены. Представьте и вовсе неве-

роятное: их места незамедлительно не займут новые.

Вы, так хорошо знающий нашу жизнь и ее неписанные законы, неужели Вы думаете, что советское общество не найдет десятка способов расправиться со всеми видами и оттенками инакомыслия — от политического до религиозного?

«Воинствующий» атеизм, не отделимый от марксизма-ленинизма, все равно создаст (и создает) невыносимую духовную атмосферу для верующих, даже если государство («система») не будет преследовать их в «уголовном порядке».

Невозможность воплотить духовно-религиозный опыт в доступное для других слово, печатное или проповедническое, невозможность воспитывать своих детей в религиозном духе, не ставя при этом под удар их будущее; невозможность свободных, неконтролируемых сообществ людей, заинтересованных проблемами религии, философии, искусства, — все это есть и будет в нашей стране, пока она руководствуется «единственно верным» учением о классовой борьбе, бесклассовом (лишенном иерархии) обществе и «примате материального над духовным».

И все это порождает и будет порождать неутоляемый азарт охоты у одних и подавленность, апатию, бессильную злобу и отчаяние у других.

Как и где в таких условиях могут взяться «здоровые силы среди крестьян, рабочих, интеллигенции», о которых Вы говорили, — не знаю. Я их не вижу. Духовно здоровые силы у нас все больше по лагерям да спецпсихушкам.

Уважаемый Леонид Иванович, я не призываю Вас к перемене мировоззрения. У меня для этого нет ни прав, ни слов, ни сил, ни надежды. Вы пронесли свои убеждения через страдания, и это не может не вызывать глубокого уважения к Вам.

Но не к Вашим убеждениям.

Я призываю Вас к ответственности: ведь Ваше

слово, именно благодаря нравственной высоте Вашего человеческого облика, обладает теперь огромной силой и убедительностью.

Людям свойственно отождествлять идею с личностью, эту идею провозглашающей. К сожалению, они гораздо менее чутки к связи между идеологией и действительностью.

Но мы — Вы, я, все живущие и жившие в Стране Советов, обязаны обладать особо тонким слухом, особо острым зрением, недремлющей совестью во всем, что касается «светлых идеалов», «переустройства мира», «создания нового человечества» и т. п.

Уверены ли Вы, что Запад, спасший Вас и приютивший, останется тем же Западом, если и он вверит будущее своих народов марксизму-ленинизму?

Ведь Вы прекрасно понимаете, Леонид Иванович, что и в этом вынужденно открытом письме я не только полемизирую с Вами, но использую еще одну возможность рассказать Западу (свободному Западу!) о том, как мы живем, об атмосфере вражды, страха, подозрительности, которая становится все гуще и мрачнее. И намного чаще и активней, чем это было раньше, до Вашего заключения и эмиграции, уважаемый Леонид Иванович, советская пропаганда обращается теперь к той самой идеологии, верность которой Вы провозгласили и свободно проповедовать которую Вы считаете теперь своим правом и высоким долгом.

Тем сильнее, тем настойчивее мне хочется, чтобы как можно больше людей на Западе узнало и поняло мои истинные мотивы и побуждения, чтобы и к моим взглядам отнеслись с той же вдумчивостью и вниманием, какое проявили к Вашим.

Т. Ходорович

Москва, просп. Мира, д. 68, кв. 156.

ХОДОРОВИЧ Татьяна Сергеевна — лингвист, мать четырех детей, живет в Москве. В мае 1969 года была одним из членов-основателей Инициативной группы защиты прав человека в Советском Союзе и продолжает оставаться в ней после того, как почти все первоначальные участники либо были арестованы, либо эмигрировали (или были арестованы, а потом, выйдя на свободу, эмигрировали). Вместе с членами Инициативной группы Татьяной Великановой, Сергеем Ковалевым и ныне покойным Григорием Подъяпольским взяла на себя ответственность за передачу на Запад «Хроники текущих событий». Автор ряда самиздатских документов, издававшихся также на Западе, в том числе книги «История болезни Леонида Плюща». За активное участие в защите прав человека уволена из Института русского языка и лишена возможности работать по специальности.

Дорогая Татьяна Сергеевна!

Я показал Ваше письмо нескольким французам (не левым) и убедился, что нужно ответ Вам предварить несколькими словами солидарности с Вами, разъяснением смысла Вашего письма — для не эмигрантов.

Дело в том, что многое из того, что говорим мы Западу, непонятно ему («бытие» Запада отлично от нашего). А мы не понимаем их — в элементарном. Например, странными кажутся забастовки учителей и школьников.

И вот реакции на Ваше письмо.

Первая. Зачем такие острые нападки на «героя», «мученика» и «честного гуманного человека»?

Странно, почему героизм, мученичество и честная гуманность считаются гарантией от глупости и зла, являются щитом от критики? Мученичество — не заслуга, героизм чреват фанатизмом, а честная гуманность — лишь субъективная характеристика, объективно могущая обслуживать зло.

Вторая реакция — из-за взаимного непонимания Запада и Востока.

Почему человек не имеет права на убеждения, даже на глупость? Откуда такая нетерпимость? Не есть ли это «сталинизм» — антисталинистский?

Дело, видно, в том, что здесь далеко не всегда связано «слово» с «делом». Может ведь здесь «марксист» проповедовать революцию с кафедры буржуазного университета, на страницах буржуазной прессы и жить при всем этом тихой, мирной жизнью зажиточного буржуа.

У нас не так. Даже если слово лживо, оно претворяется в жизнь — навыворот. Сказали сверху «усилить дружбу народов» — значит, будет усиление борьбы с крымскими татарами, украинцами и евреями. Сказали, что повысят уровень сельского хозяйства, — придется закупить хлеб у империалистов. Слово «разоружение» приведет к вооружению, «расширение» демократии увеличит число лагерей и уничтоженных книг. Если же скажут правду: усилим борьбу с «отщепенцами» — значит, «дело» совсем плохо — усилят.

Даже французы подзабыли связь «слова» и «дела», которые они видели в 39-44 гг., и потому могут не услышать главного в Вашем письме — о реальной угрозе со стороны «слова» «социализм» для их свободы, независимости, благосостояния.

Мне бы не хотелось вступать с Вами в полемику — и не поймут нас обоих, и спекулировать будут, и будет лгать пресса, и невозможно сказать достаточно полно, чтобы не было кривотолков и было понимание. И главное — слишком уж легко мне сейчас говорить то, что думаю. А Вам каждое слово будет стоить годов тюрьмы или сумасшедшего дома.

Не очень-то морально мне отстаивать идею, передаваемую тем же словом, что и Ваша настоящая и будущая тюрьма — «социалистический» лагерь. А каково мне будет, когда Вас посадят — в частности, за «Историю болезни Леонида Плюща» и за Ваше письмо ко мне? .

Но неморальным был бы и отказ от полемики.

Я отвечаю только потому, что таково Ваше желание.

Я могу спорить с Вами, так как для спора у нас есть некоторая общность взглядов. Мне кажется, что этим общим у нас есть:

«правда — лучшая политика»; «не человек для субботы, а суббота для человека»; «человек, называющий идеологию зла и насилия светлыми, чистыми идеалами, берет на свою душу грех более страшный, чем само зло»; «пропаганда антисемитизма — моральное растрепывание народа»; «критерии здорового общества — это всегда критерии любви и свободы, сложности и глубины человеческой личности»; «пережившие тоталитаризм обязаны обладать особо тонким слухом во всем, что касается светлых идеалов»; «должно быть чувство ответственности за свое слово».

Я согласен с Вами, что наши этические установки не так уж чужды были (и есть!?).

Основная мысль Ваша та, что я, выступая с позиции неомарксизма, своим словом способствую распространению ГУЛага на весь мир. Вы считаете, что идеология, слово марксизма привели к ГУЛагу.

Я не по инерции, не из-за дани молодости и органической потребности математика в единой всеохватывающей картине мира, а из собственного опыта жизни в СССР, из изучения истории пришел к неомарксизму. То, что я вижу здесь, на Западе, укрепляет мою убежденность в справедливости научных принципов Маркса.

Один из важнейших принципов Маркса есть тезис о том, что не сознание, не идеология, не слова управляют историческим процессом, а бытие, т. е. материальная жизнь людей. Фрейд, в свою очередь, показал, что поступки людей диктуются борьбой противоречивых потребностей, подсознательных желаний. Струк-

турный анализ указывает на значение неявных элементов культуры в жизни людей.

Вы сами проводите параллель между дореволюционными русскими черносотенцами с их криками о «христопродавцах», «христоубийцах» и советскими «интернационалистами»-антисемитами. Но ведь черносотенцы не были марксистами. Их объединяет бессознательная идеология человеконенавистничества, ничего общего не имеющая ни с христианством, ни с марксизмом. Если встать на Вашу позицию, то вину за Святую Чрезвычайную Комиссию (инквизицию), за антисемитизм, за крестовый поход детей, за войны между христианами — за всю дьяволиаду исторического христианства нужно взвалить на Христа и апостолов. Я бы этого не делал.

«И намного чаще и активнее советская пропаганда обращается к той самой идеологии, верность которой» я провозгласил — пишете Вы.

В Иране полицейские насилуют пятилетних детей иранских коммунистов, а Брежнев ни словечка не говорит в их защиту, а коммунист Андропов посадил в Днепропетровскую психтюрьму сына иранского политэмигранта-коммуниста за попытку уйти нелегально в Иран.

В Бразилии «христиане»-помещики превратили в спорт стрельбу по индейцам. Брежнев же крепит дружбу с бразильским правительством.

Сочувствие дореволюционным погромщикам — отнюдь не марксизм. Уже во время второй мировой войны Сталин стал опираться на националистические чувства, стал расхваливать садистов-царей Петра I и Ивана Грозного, жандарма Европы и России Суворова, реакционера Кутузова и т. д.

Они обращаются не к идеологии марксизма — ничего хорошего для себя они в ней не видят, они ее боятся, — а к идеям, методам и даже символике царизма: погоны, министерства вместо наркоматов, прапор-

щики и мичманы, мессианство русского (то бишь советского) народа, «народность», «православие» (подчинение народа одной идеологии), «загнивание Запада», «античеловечность иудаизма» и многое другое.

Они обращаются к фразеологии марксизма, как святые отцы-инквизиторы обращались к отдельным «цитаткам» из Ветхого и Нового Заветов. Вытекает ли из марксизма то, что Фидель Кастро назначил три дня национального траура после смерти Франко, а министр иностранных дел Кубы доктор Роа отдал дань «политическим и человеческим ценностям» генерала Франко? Можно ли обвинить в марксизме Мао Цзэдуна за то, что он послал цветы на могилу испанского фюрера?

Есть ли ошибки в классическом марксизме, которые способствовали перерождению его в советский бонапартизм? Так же, как и в Библии (прошу меня извинить, но для меня Библия, как и «Капитал», не священна. Для меня мессианство личности, партии, нации и класса одинаково неприемлемы). «Кто не с нами, тот против нас» Горький почерпнул из Евангелия. Презумпция виновности взята у инквизиции.

Ошибки в идеологии или в словах вождей не определяют ход истории, они лишь способствуют перерождению революции в свою противоположность.

Марксизм для меня не «символ веры», я не поклоняюсь ему, а опираюсь на некоторые его принципы, в частности, на трактовку свободы. «Свобода есть осознанная необходимость» — означает лишь то, что нельзя быть свободным реально, если не знаешь законов окружающего тебя мира. У Гегеля — идеалистическая формула, которая приводит к пассивной, идеальной свободе «в себе» и к соглашательству с мерзостями истории на практике. Таким, как Сталин, она помогает оправдать свой волюнтаризм — «осознанная необходимость» построения социализма за пару пятилеток, из которых следовала «необходимость» уничто-

жения миллионов «врагов» трудящихся. Из одной формулы — два противоположных вывода, которые на практике сосуществуют: волюнтаризм невежественных вождей и подчинение масс п о л и ц е й с к о й «необходимости».

Маркс писал, что при коммунизме человек перейдет из царства слепой необходимости в царство свободы. Но это чересчур общая формула, так как есть элементы свободы и в эксплуататорском обществе, останутся элементы слепоты и при коммунизме. Маркс выразил лишь суть обеих форм общества. Человек из объекта истории должен стать субъектом истории.

Человеку н е д а н а изначально единственная реальная свобода — свобода выбора между добром и злом. Человек не рождается человеком, а делается им, благодаря данной культуре на ее современном уровне. Он впитывает в себя и все лучшее, что несет эта культура, и худшее.

Вы, как пример, — не исключение, так как у Вас вера с детства, вера, данная существующей культурой, одной из частей ее — современным христианством.

Но из «осознанной необходимости» не вытекает социально-экономический детерминизм. Классический марксизм считал, что в природе есть «случайности». Можно также использовать одни познанные законы природы для того, чтобы обойти другие (это возможно, так как природа диалектична). Ошибка Ленина как раз не в слепом следовании детерминизму истории, а в преувеличении роли партии как сознательного руководителя масс, исторического процесса.

Нет тотального неприятия индивидуально-духовного начала, как нет абсолютного примата материи над сознанием в марксизме. По Марксу, при коммунизме общество будет развиваться по законам не столько экономическим, сколько по законам сознания, по этическим, эстетическим и т. д.

Вы пишете, что Вы «стремились и стремитесь к тому, чтобы мое сознание определяло мое бытие». Маркс писал об общественных сознании и бытии. Отдельный человек может возвыситься над своим бытием, может определять свое бытие (увы, очень мало по сути).

Христос для меня — идеальный человек, он наиболее возвысился. Но определял ли Христос свое бытие полностью? Нет. Воля Бога Отца (для меня — истории, бытия) — была выше его воли: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты».

Толстой всю жизнь пытался определять свое бытие. И только смертью вырвался из-под власти его — растворившись в небытии (или, что то же, — в бытии).

Вторая важная проблема, Вами затронутая, есть диалектика добра и зла и классовость морали.

Диалектика морали может быть превращена в софистику аморализма. И КПСС постоянно это делает, расхваливая «прогрессивных» садистов — Петра Великого и Сталина, — объявляя одни и те же поступки добрыми или злыми, в зависимости то того, кто их делает.

Но ведь каждую идею можно вульгаризировать, довести до ее противоположности.

Исходя как раз из абсолютных моральных законов, Дюринг проповедовал антисемитизм и хотел запретить религию. По словам Энгельса, он «перещеголял самого Бисмарка», натравил «своих жандармов будущего на религию... Куда мы ни посмотрим — везде специфический прусский социализм». Этот прусский социализм, воспетый Шпенглером, превратился впоследствии в национал-социализм.

Идею классовости морали также можно вульгаризировать до уровня утверждения Ленина о том, что нравственно все, что служит делу социалистической

революции. В абстрактном виде эта формула справедлива. Но как определить, что служит, а что не служит? Сиюминутная ситуация может диктовать любую мерзость в качестве средства достижения успеха. Но именно из-за неполного «осознания необходимости» можно выиграть в данной борьбе тактически, а проиграть стратегически.

Безнравственными методами нельзя построить человеческое общество (но и это слишком абстрактная формула!).

Теоретическая ошибка абстрактной «классовой» морали в том, что абсолютизируется относительное, то есть это антидиалектическая, метафизическая ошибка. Мораль — исторична, национальна и классовая. Но с развитием человечества растет общечеловеческое в морали, вырабатываются абсолютные моральные принципы. Эта теоретическая ошибка способствовала практическому перерождению социалистической революции в советский бонапартизм.

Но и абсолютная, вечная мораль — метафизична. И она приводит к аморализму.

Абсолютная свобода — рабство для миллиардов. Это показано в «Бесах» Достоевского.

Что делать с параноиком-убийцей? А если перед нами проповедник прелестей труположества, сознательно развращающий подростков? Его нужно оставить на свободе?

Можно возразить на это, что нарушение свободы одного человека представляет угрозу для свободы всех. Увы, да. Опять диалектика. Приходится решать эту проблему практически, так как нет и быть не может единой моральной формулы на все случаи жизни.

Вы отрицаете насилие. Вы за сочувствие, сострадание и милосердие к людям, я тоже.

Вы за доброту универсальную, всех ко всем. А я не хочу быть добрым по отношению к палачу Андропову, к предателю не идей (Бог с ними, с идеями), а

людей — Дзюбе. Я их жалею за падение, но ненавижу. Без ненависти к злу добро — пустая абстракция. Абсолютизируя добро, Вы нарушаете заповедь Христа любить ближнего, даже врага: «Я не только не стала бы защищать террористов, но и сочувствовать им: пролитая кровь не искупается никакими политическими убеждениями». Вы здесь встали на позицию относительно морали, отрицая универсальную доброту, всех ко всем.

Я не призывал к борьбе за освобождение террористов. Я за з а щ и т у их человеческих прав, против пыток по отношению к ним (и к кому бы то ни было), против смертной казни кого бы то ни было (в мирное время).

Я не понимаю Вас, если Вы не сочувствуете террористам, уничтожающим палачей своего народа. Индивидуальный террор аморален, если направлен против невинных людей. Но как можно не сочувствовать убийцам Гейдриха, Ильину, стрелявшему по Брежневу? Ильин, видимо, стрелял из отчаяния, как и баски.

Толстой протестовал против акций народовольцев, но протестовал и против смертной казни им. К тому же, он делал различие между правительственным террором и террором народовольцев.

А Алеша Карамазов у Достоевского? Он, христианин, сказал о помещике, замучившем ребенка: «Расстрелять!» Мое моральное чувство подсказывает то же. Но я против «расстрелять» в данном случае, так как это убийство из мести. Оно лишь удовлетворяет чувство мести и ничего не дает для добра, как ничего не дала казнь гитлеровских преступников (после войны). Как бы страшно ни пытали, ни умерщвляли Эйхмана, это не уравнивает смерти шести миллионов евреев, да и мук одного еврея не уравнивает.

Если бы Эйхман представлял угрозу людям, если бы его казнь отпугнула других фашистов от новых злодеяний, — я был бы за смерть Эйхману.

Я против смертной казни кагебисту Надария, насильовавшему малолетних детей политзаключенных, против — только из соображений целесообразности, из соображений практической морали.

Пролитая кровь ничем не искупается. Но когда Гитлер напал на Польшу, Англия и Франция объявили нацистам войну и проливали свою и фашистскую кровь. Это была защита относительного добра злыми методами, насилием.

«Я защищаю поправленные права не сотен тысяч и миллионов, а десятков и сотен людей».

В СССР попираются права миллионов, и почему не надо их защищать? Потому что они молчат и не отстаивают своих прав? Они молчат как раз из-за отсутствия этих прав, из-за отсутствия правосознания, из-за страха. Часть из них может даже запротестовать против своих непрошенных защитников. Но если на Ваших глазах бьют человека, а он молчит — можно ли не защищать избиваемого?

Можно возразить на это — «не загоняйте в рай дубиной». Да, загонять не надо, но защищать тех, кого бьют, — надо. Это тоже диалектическая проблема, и ее часто приходится решать практически.

Опасная диалектика? Да. Но опасно все. И примат практики, и примат теории, и диалектика, и метафизика.

Евангелие диалектично. Во всех произведениях Достоевского видна эта диалектика добра и зла в жизни. Как мне кажется, Эйнштейну Достоевский был близок тем, что искал нравственные инварианты в относительной морали.

Вы считаете, что я своими выступлениями объективно способствую распространению человеконенавистнической идеологии, прикрывающейся сейчас словами «либеральный, гуманный коммунизм», «национал-коммунизм», «социализм с человеческим лицом».

Для меня сейчас здесь, на Западе, это самая важ-

ная «теоретическая» проблема — что объективно скрывается за гуманными словами западных левых вообще, и коммунистов в частности?

Я пытаюсь найти «лакмусовую бумажку» для определения истинной сути добрых «слов» левых партий.

Если человек стоит за гуманизм и демократию, но почему-то видит зверства только в Аргентине, в Иране и не видит их в СССР, то это не гуманист, не демократ. Если видит только трагедию Чехословакии и не видит трагедии Чили, то это тоже не гуманист, не демократ. Это люди с мифологическим сознанием: они видят мир сквозь очки «гуманного социализма» или «капитализма с человеческим лицом».

Если партия заявила, что она за демократию и человечность, но практически не борется против какого бы то ни было ГУЛага, то она врет или только встает на путь гуманизма.

Если партия не раскрывает беспощадно свои исторические ошибки или преступления, если не критикует теоретические ошибки своих «классиков», то она либо лжет, либо ослеплена мифом вождей, Основоположников. Что же это за марксисты, если они поклоняются «вероучению Маркса и Энгельса»? Если у христиан поклонение Христу понятно и разумно вытекает из сути их вероучения, то мифология «марксистов» — антимарксистская. Это отвратительная атеистическая, языческая религия.

Я здесь только 5 месяцев и потому не хотел бы спешить с выводами. Я знаю пока лишь несколько достоверных фактов.

Андрей Синявский давал интервью итальянскому левому. Он сказал ему, что боится за собор св. Петра: если придут советские танки в Рим — кагебисты или взорвут, или превратят его в Музей атеизма. Эти слова Синявского были выброшены левым «демократом» из интервью.

Можно ли обобщать этот случай? Думаю, что нет.

Произошла какая-то загадочная история с моим письмом о Джемилеве в «Юманите». Получили письмо буржуазные газеты (туда я его не посылал), а «Юманите» получила лишь на второй день. Чья-то гнусная провокация? В «Юманите» написали, что это, видимо, сделали мои друзья. Некрасиво написали, мягко выражаясь. Еще некрасивее то, что не опубликовали этого письма, не объяснив при этом, почему не опубликовали. Несколько лет тому назад произошла точно такая история со статьей члена ФКП. И все же и тут я не хотел бы спешить с обобщением.

Испанские коммунисты более-менее последовательно критикуют ГУЛаг, называют советский строй «грубым коммунизмом» (т. е., по сути, государственным капитализмом). Но и тут я бы не спешил с выводами.

Я не говорю про американскую компартию — просто подонки. Канадская вроде получше, но не очень — я видел, как они срывали объявления о митинге в защиту советских политзаключенных.

Мою знакомую Роксалану Козак избивали озверевшие западнонемецкие коммунисты за то, что она говорила о преследованиях на Украине. Они били девушку за слово и кричали ей: «фашистка!» Фашизм заразителен. Даже «борцы» с ним перенимают его методы и идеологию. Не случайно профессора Хавеманна, коммуниста, выгонял из Академии наук ГДР бывший нацист. Хавеманн сидел в немецком лагере тогда, когда нынешний «друг Советов» кричал «Хайль Гитлер!»

И все же я вижу здесь, что левые более последовательно и активно борются за права человека, за живых людей, а не только за «будущее».

Не все, конечно, левые человечны — есть среди них и просто сумасшедшие, идиотические группы.

Правые любят пошуметь о несправии в СССР, но

удивительно мало практически борются за права человека. Я говорю об этом не потому, что я «левый». Если бы я увидел противоположное, то стал бы «правым» — живые люди, «ближние» мне дороже «светлых идей» о счастье «дальних». (Вообще понятия «левые»-«правые» уже достаточно давно расплылось в нечто аморфное.)

Мне кажутся неверными многие взгляды Троцкого, но когда я вижу, что троцкисты — честные, искренние, гуманные люди (не все, опять-таки, — на Западе их несколько направлений), то для меня их теоретические ошибки менее существенны, чем их практическая деятельность. У Льва Толстого немало логических и моральных теоретических ошибок, но на практике он часто оказывался выше своих ошибок.

Есть ли гарантии, что полевение Европы не приведет к ГУЛагу? Я пока не вижу гарантий (если вообще могут быть гарантии против перерождения).

Но, как мне кажется, к ГУЛагу ведут более глубокие причины — то общее, что есть в современной цивилизации всех стран.

Почти вся Южная и Латинская Америка, почти вся Африка, почти вся Азия — идут к ГУЛагу. На это могут возразить, что все эти военные хунты вызваны Советами. Но Советы сами возникли как реакция на немарксистский царизм, в Иране царит ужас, самостоятельно возникший, в Южном Вьетнаме царит полное разложение общества, африканские государства мечутся от правого бандитизма к левому, от одних «друзей» к другим. Мечутся не от хорошей жизни.

Правые банды усиливают левый бандитизм — и дело не в их идеологии. Я видел в СССР негодяев, которые оправдывают себя с помощью веданты, марксизма, христианства, науки, мистики. Человек, люто ненавидящий советскую власть, нередко практи-

чески поддерживает КГБ и... ему в этом помогает его сложная антисоветская философия.

Когда я руководил философским семинаром в нашей лаборатории, я был единственным марксистом на дискуссиях. Но сел в «психушку» я, а не они. Выгонял меня с работы антикоммунист, заместитель секретаря парторганизации Института кибернетики Иванов-Муромский.

Есть глубокие социально-экономические причины усиления антидемократизма в мире. А идеология лишь помогает антидемократам чувствовать себя приличными людьми и прятать свое истинное лицо.

Андрей Дмитриевич Сахаров указал в своих «Размышлениях...» на ряд общих проблем Запада и Востока, на ряд угрожающих тенденций в современном мире.

Я хотел бы добавить еще несколько:

— рост мифологического мышления: мифы вождя, потребительства, национального мессианства и «кибернетического рая»;

— рост преступности. И в США, и в СССР качественно преступность одна и та же. СССР количественно отстает от США (у нас бандиты не пользуются пулеметами, наркомания не имеет «американского» размаха). Но через пару пятилеток — тогда, когда новый фюрер СССР объявит, что коммунизм построен, — мы хоть в этом «догоним и перегоним загнивающий Запад»;

— нравственное разложение. Свобода, не ограниченная уважением к себе, не ограниченная нравственностью, есть разгул потребительства, когда все достижения человеческого духа становятся лишь средством для удовлетворения животных или выдуманных потребностей. Массовая культура — наркотическая культура. Опиумом становится всё: спорт, телевидение, оптимизм и пессимизм;

— ложь прессы и политиков.

Мне кажется, что это общее более существенно характеризует суть существующих государств, чем различие. Конечно, французам живется лучше, чем испанцам; испанцам лучше, чем советским людям; советским, чем чилийцам; чилийцам лучше, кажется, чем иранцам (но испанцы сильнее чувствуют боль испанскую, чем советскую, — и это естественно).

Когда в СССР читаешь Кафку, Камю, Ионеско, Бекетта, то всё узнаешь! Это наше, родное, советское. Абсурд, всеобщее отчуждение, изображенные ими, столь близки нам эстетически, потому что практически мы видим у них и наш, советский, мир.

Вся цивилизация наша — прогрессивное гниение. Она вся больна. Это эксплуататорская классовая цивилизация (не марксизм делит людей на классы и лагеря, а история. Классовую борьбу придумал не Маркс, и даже не французские социалисты. Она существует независимо от идеологов).

Мне кажется, что одной из причин болезни цивилизации является то, что главной ценностью всех систем является буржуазная ценность — вещи и бездуховные, животные удовольствия. Лозунг советского «марксизма» — «Рост производительности труда да обгонит рост потребностей». Каких потребностей? Материальных? Они имеют естественный предел. Значит, похотей (по Толстому), или искусственных потребностей. А за ними не угонишься. И растеряешь духовные потребности в этой погоне за «благами» (но накормить-то всех нужно, и одеть нужно, и нужны удобства, необходимые для свободного духовного развития всех, а не избранных. Уровня промышленности и сельского хозяйства передовых стран для этого достаточно. Но если я сегодня хочу авто, а завтра ракету, то за мной не угнаться никакой технике. Да и нужно ли? Погоня за обилием вещей и перманентным удовольствием — признак нелюбви и неуважения к себе и к другим).

Я попытался ответить Вам на три основных Ваши утверждения: «марксизм означает ГУЛаг» (идеология определяет ход истории); «свобода, добро и другие абсолютные ценности — противоядие ГУЛагу»; «ГУЛаг угрожает всему миру».

Перейду к более частным проблемам.

Является ли марксизм системой, дающей всеохватывающую картину мира?

По-моему, нет. Такой претензии я не вижу у Маркса. Марксизм — открытая система, т. е. идеология, которая по сути своей должна (увы, на практике это не получилось) постоянно изменяться, корректироваться практикой, оплодотворяться в диалоге (не в зряшной ругани и не с полицейски-военными аргументами) с другими идеологиями. Но он не будет системой, если не будет преемственности основных принципов (диалектика, материализм, борьба за бесклассовое общество). Но и основные принципы должны изменяться также.

Открытость системы марксизма означает также, что она не просто дополняется, обогащается за счет других систем, а развивается, является путем к объективной истине, постоянным поиском. Любая наука — открытая система аксиом и теорем, и является поиском. Качественное омертвление физики в XIX столетии было лишь временным явлением. Аристотель, Ньютон, Павлов стали в свое время тормозом развития мысли (но они-то в этом не виноваты). То же произошло с Марксом.

Часть Ваших доводов против марксизма — верны сами по себе, но это не относится к неомарксизму, т. е. марксизму «в пути».

Например, для меня вне всякого сомнения, что классическая марксистская трактовка проблемы наций в общем не оправдала себя.

Маркс рассматривал нации в основном с точки зрения их роли в классовой борьбе, в борьбе за прогресс.

Я заранее оговариваюсь — я не успел еще изучить взгляды Маркса, Энгельса и Ленина на национальный вопрос в целом, в эволюции, и отвечаю только на приведенные Вами цитаты Энгельса и Ленина. (Если я приду к выводу, что Вы правы в этом вопросе, то вовсе не собираюсь благоговеть перед ошибками классиков.)

Когда Энгельс писал об умирающей чешской нации, то он лишь констатировал видимый тогда факт (он предпочитал считаться с фактами, а не с «революционными «соображениями», утопиями). Он оказался глубоко неправ, так как недооценил положительного значения национальных движений. Большинство славян в то время были на стороне реакции. Реакция использовала их национальный протест (как Советы сейчас пытаются использовать словацкий патриотизм против демократии, используют негритянский антирасизм для поддержки советского шовинизма). Это неприятно для славян. Но когда Леся Украинка цитировала латинскую поговорку: «slave — sclave», то это было лишь констатацией неприятного нам, славянам, факта истории, а не украинофобией.

«Хилые» национальные группы? Слово, конечно, нехорошее. За этим словом скрывалось недопонимание национальной проблемы. Да, в тот или иной момент национально-освободительное движение может быть реакционным, античеловечным. Но если видишь только эту сторону национализма угнетенных наций, то неизбежно будешь усугублять шовинизм и господствующей, и угнетенной нации. Когда черносотенец Шульгин писал в «20-м годе», что белая идея победит красными руками, то он лишь на год-два опередил мысль Ленина, который к концу жизни увидел угрозу великорусского шовинизма внутри партии. Впоследствии Шульгин приветствовал советскую власть — «белая» идея победила (я не хотел бы упрощать «белую» идею — она не сводится к черносотенству Брежне-

ва, Шульгина и «Протоколов сионских мудрецов»).

Относительно слов Ленина о прогрессивности ассимиляции евреев могу сказать только, что этой точки зрения придерживались и еврейские просветители. Им казалось, что ассимиляция — единственный способ избежать, с одной стороны, обособленности евреев, заскорузлости психологии гетто, с другой — антисемитизма. История показала, что антисемитизм имеет более глубокие корни, чем казалось еврейским просветителям и Ленину.

Вопрос о слиянии наций в далеком будущем для меня открытый. Мне кажется (только кажется), что структурный анализ культуры дает некоторые основания для утверждения необходимости существования самостоятельных национальностей — непохожих, разных — для развития всего человечества.

Я сам стою за независимость Украины (и других республик) главным образом не из-за проблематической, с научной точки зрения, необходимости отдельных наций, а из-за страшного исторического опыта «воссоединения» с государством (а не народом) Российским. Как раз мои неомарксистские убеждения привели меня к выводу о необходимости государственной самостоятельности Украины и распада Российской империи.

Я написал эти слова и понял всю нелепость нашей дискуссии о многих, центральных вопросах в небольших публичных письмах. Каждая мысль должна быть развернута, иначе неизбежна неточность, неясность мысли. Горбаневская в предисловии к Вашему письму* процитировала мои слова на митинге, посвященном XX съезду: «Террор и идеология не имеют ничего общего». Я не мог произнести такого. Основным тези-

* К сокращенному тексту письма, направленному редакцией «Континента» в ряд русских периодических изданий и опубликованному в них. — Ред.

сом моего выступления было утверждение — сталинский террор не вытекает из марксизма. Этот случай демонстрирует, что опасно опираться на отдельные фразы, вырванные из контекста. И Вы, и я вынуждены были вырывать цитаты из контекста. Нужно же по каждому тезису провести анализ всего Маркса, всего Энгельса, всего Ленина, всего Священного Писания.

Горбаневская честно процитировала то, что она услышала. Что же говорить о тех журналистах, которые нечестно будут цитировать Вас и меня. Уже сейчас некоторые газеты привели несколько Ваших фраз, которых нет в Вашем письме.

Здесь они чуть менее лживы, чем у нас, — журналисты. (Я прошу всех моих друзей не очень верить тем статьям из западных газет, которые им удастся прочесть. И слухам. Например, по Москве кое-кто распространял слух, что я стал членом ФКП. Кто? За чем?)

Уже появились первые отклики на Ваше письмо. Видимо, начнут накаляться страсти, крещендо, за меня, против меня. Я прошу всех моих защитников или вовсе не участвовать в полемике, или обойтись без нападок на личности и уважать противника. И поменьше бы эмоций в полемике между «диссидентами». Я не буду участвовать в продолжении полемики — скучно это, борьба самолюбий и амбиций господ эмигрантов.

С уважением и любовью к Вам

Леня

Париж, 3.VI.1976 г.

ПЛЮЩ Леонид — родился в 1939 г., математик, участник движения за права человека, член Инициативной группы защиты прав человека в СССР. В 1972 г. арестован, признан невменяемым и отправлен в Днепропетровскую психиатрическую тюрьму. В декабре 1975 г. Плющу и его семье было дано разрешение на выезд из СССР. Сейчас живет в Париже.

О Т Р Е Д А К Ц И И :

В свое время небезызвестный партийный остряк Карл Радек, отвечая на вопрос, как он относится к Сталину, сказал: «Хорошо отношусь, только с ним трудно разговаривать: ты ему — цитату, он тебе — ссылку».

Разумеется, «великий кормчий всех времен и народов» не был оригинален в его дискуссионной методике. До него ею, этой самой методикой, пользовались все основоположники «самого передового из современных учений», сто́ит припомнить хотя бы несколько пассажиров из той же упоминаемой Плющом полемики с Дюрингом. Усвоив психологию и дух вышеуказанной методики, вы, к примеру, можете, не утруждая себя доказательствами, назвать рядовых испанской полиции по поддержанию общественного порядка (не путать с полицией политической) «палачами своего народа», а людей, стреляющих им в спину из-за угла, сравнить с героями ликвидации Гейдриха. Кстати сказать, при всем нашем критическом отношении к террору вообще и к русским террористам в частности, мы должны все же отметить, что последние всегда выходили лицом к лицу со своими политическими противниками, заранее обрекая себя на заточение или смерть.

Столь же «убедительно» звучит в таком случае и аргумент о «честности, искренности, гуманности» современных последователей Троцкого, кровавая биография которого общеизвестна. Мы охотно верим в их честность, искренность, а также гуманность, но, к сожалению, от их честности, искренности, а также гуманности не легче тем тысячам, что уже погибли от руки и по приказу их учителя, и тем сотням тысяч, которые погибают сегодня в камбоджийских джунглях от рук и по приказам его верных и последовательных учеников. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад! (Между прочим, мы хотели бы

напомнить автору, что не честные, искренние и гуманные троцкисты, рискуя многим и не жалея средств и времени, прорывались в сановные кабинеты Киева и Москвы, в попытках вырвать его из психиатрического застенка, а так называемые реакционные адвокаты французского комитета Прав Человека. Куда безопаснее, конечно, ораторствовать на разрешенном властями и охраняемом «буржуазной» полицией митинге в зале «Мютюалите».)

По этой же логике весьма закономерным выглядит и знак равенства, поставленный автором между частным садизмом иранских следователей и бразильских латифундистов (преступления которых заслуживают самого сурового возмездия) и массовым, освященным государством террором, как это имеет место во всех без исключения странах «с самым передовым общественным строем».

Но, что называется, с кем поведешься — от того и наберешься! В пылу идеологического пафоса автор, в полном соответствии с «правилами игры» своих именитых предшественников, и сам переходит границы дозволенного. Естественно, в конфликте Иванов-Муромский против Автора мы целиком на стороне последнего, но Леониду Плющу, совсем недавно пережившему все ужасы психтюрьмы, не следовало бы забывать, что политический донос — далеко не лучшее средство в полемике.

Но довольно ссылок, обратимся к цитатам! И ограничимся в них лишь теми, которые непосредственно касаются наиболее актуального для Леонида Плюща, как, впрочем, и для всех нас, национального вопроса.

Карл Маркс:

«Нет такой страны в Европе, которая не обладала бы в том или другом уголке обломками одной или нескольких народностей, представляющих остатки прежнего населения, затесненного и угнетенного тою

народностью, которая стала потом носителем исторического развития. Эти остатки племен, безжалостно растоптанных ходом истории, как выражался где-то Гегель, становятся и остаются вплоть до их полного угасания или денационализации фанатическими приверженцами контрреволюции, так как уже все их существование представляет вообще протест против великой исторической революции».

Фридрих Энгельс, чуть не на столетие опережая Гитлера:

«Кровавой мстью оплатит славянским варварам всеобщая война, которая вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций».

Оба вместе в «Новой Рейнской газете»:

«И хотя нам по-человечески жаль чехов, но победы они или потерпят поражение, их национальная гибель во всяком случае неизбежна».

Карл Маркс, там же:

«Судьба западных славянских народов — дело уже конченное. Их завоевание совершилось в интересах цивилизации. Разве же это было «преступление» со стороны немцев и венгров, что они объединили в великой империи эти бессильные, расслабленные, мелкие народишки и позволили им участвовать в историческом развитии, которое иначе... осталось бы им чуждым?!»

Снова Карл Маркс, теперь по поводу Франции:

«Французов надо вздуть. Если пруссаки победят, то централизация государственной мощи будет использована для централизации германского рабочего класса. Кроме того, преобладание немцев перенесет центр тяжести европейского рабочего движения из Франции в Германию. Достаточно сравнить движение в этих двух странах с 1866 года до настоящего времени, чтобы видеть, что германский рабочий класс выше французского, как с точки зрения теоретичес-

кой, так и организационно. Преобладание на мировой арене немецкого пролетариата над французским будет в то же время преобладанием нашей теории над теорией Прудона».

Фридрих Энгельс — о Чехии:

«Славяне угнетались немцами не больше, чем сама масса немецкого населения. Немецкая промышленность, немецкая торговля, немецкая культура сами собой ввели в стране немецкий язык».

Он же — о поляках, из письма к К. Марксу:

«Четверть Польши говорит по-литовски, четверть по-русински, небольшая часть на полурусском диалекте, что же касается собственно польской части, то она на добрую треть германизирована».

«Ими приходится пользоваться лишь как средством и лишь до тех пор, пока сама Россия не переживет аграрной революции. С этого момента Польша теряет всякое право на существование».

Оттуда же:

«Никогда поляки не делали в истории ничего иного, кроме как играли в храбрую и задорную глупость».

«Бессмертна у поляков склонность к распрям без всякого повода».

«...нельзя найти ни одного момента, когда бы Польша, хотя бы против России, с успехом явилась представительницей прогресса или вообще сделала бы что-либо, имеющее историческое значение».

Можно бы продолжить эти людоедские «открытия» марксистских классиков и далее, и до бесконечности, через всего Маркса и через всего Энгельса, не говоря уже о Ленине, но, думается, достаточно и этого. Мы так же согласны с Леонидом Плющом, что продолжать полемику становится скучно и безнадежно. Слишком уж неравны уровни сторон: с одной — кровоточащие цитаты истории целых народов последнего полустолетия, с другой — досужие ссылки пустого и безответственного теоретизирования.

НЕНАПИСАННЫЕ РЕПОРТАЖИ

Предуведомление

В юности мне, можно сказать случайно, удалось осуществить свое незрелое желание — поступить на отделение журналистики в университет.

Я получил диплом и стал журналистом — профессия, в основном, бессмысленная для порядочного человека в современной России.

Однако, благодаря этой своей профессии, я изъездил страну вдоль и поперек, повидал многое — от парадной поверхности официальных празднеств и цеховских коридоров до деревенских и таежных глубин.

Я возвращался из командировок с постными записями в деловых блокнотах и с почти невыносимым запасом впечатлений — трагических, абсурдных, страшных и смешных.

Я заставлял себя рассматривать всю свою обыденную жизнь как некую творческую командировку.

Вызов водопроводчика из домовой конторы, явка в военкомат по повестке, дежурное планирование очередного номера нашего журнала или слушание речи очередного вождя — от всего этого надо было отстраниться, чтобы не сойти с ума от ужаса и бессмыслицы или, еще хуже, не привыкнуть и не принять этот образ жизни как свой и естественный.

И вот эта командировка (которая и была всей моей жизнью) подошла к концу.

Надо, как говаривали мои бывшие коллеги, о т п и с а т ь с я.

Я не хочу и не могу рассматривать то, что составляет мою память, как литературный материал, подлежащий отбору, выстраиванию, шлифовке.

Сказано: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным».

Я только рупор (один из многих), через который осуществляется этот благодетельный для человечества завет.

Я только репортер, предоставляющий без разбора в Ваше распоряжение свой запас историй, фактов и анекдотов.

Я не ручаюсь за значительность каждой моей заметки.

Я ручаюсь только за правдивость.

Я не тешу себя надеждой написать портрет России.

Я только отдаю свои фотографии и наброски в надежде, что они пригодятся в работе над тем портретом моей родины, который Вы создаете для себя сами, г-н Читатель.

Автор

Вдоль стеклянной стены

Можно прожить всю жизнь внутри советского государства и ни разу не наткнуться на нее, но, все равно, ты всегда знаешь и помнишь о ней, потому что она внедрена с детства, с младенчества в твое сознание — Стеклянная Стена.

Собственно, это название, заимствованное из «Мы» Замятина, скорей всего и неизвестно рядовому советскому гражданину, скорей на ум ему придет что-то из долбежных штампов советской журналистики: «днем и ночью несут бессонную вахту на рубежах нашей Родины», «надежный кордон», «граница на замке!» — все эти стертые до прозрачности словечки, годами срастаясь между собой, и создают Стеклянную Стену в сознании, ощущение безнадежной отгороженности одной шестой части суши от всей земли и всего человечества.

Пограничник с собакой, стерегущие родимый рай от бушующего вокруг всемирного зла, которое только и делает, что ищет лазейки, стремится проникнуть к нам, чтобы вредить и пакостничать, — один из первых фантомов советского мифотворчества.

Вот уже несколько десятилетий подряд в первых своих хрестоматиях советские дети читают сагу о героическом пограничнике Карацупе и его верном псе Индусе (только вот с 50-х годов, когда началась государственная дружба с Индией, пес сменил имя на несколько загадочное — Ингус).

Пограничники-супермены из детских книжек и кинофильмов скачут и стреляют, как ковбои, сокрушают врага приемами дзю-до, как самураи, и не забывают проявлять при этом высокие морально-политические качества советского человека — пока еще ни одной подосланной мировым империализмом крашеной блондинке не удалось соблазнить русского молодца в зеленой фуражке.

Правда, чем ближе к практике, тем скуднее драматизм сюжетов.

Помню, как в ленинградской типографии имени Володарского, где печатаются многотиражные газеты-близнецы предприятий и учреждений, я просматривал номера газетки северо-западного пограничного округа. Бедные пограничные журналисты! В каждом номере требовался образцово-показательный подвиг стража границ, но, в то же время, для своего внутреннего потребления врать запрещалось.

В результате все их очерки строились по одной схеме.

«Владимир И. прибыл для прохождения службы в Н-ский погранотряд, днем и ночью несущий неустанную службу по охране государственной границы Советского Союза в ленинградском морском торговом порту. Вначале Владимир проявлял разболтанность, недисциплинированность. Опаздывал на политзанятия,

плохо заправлял койку. Комсомольцы части сурово, по-товарищески поговорили с молодым бойцом. Владимир глубоко задумался о том, куда может привести его кривая дорожка. Он стал внимательнее относиться к выполнению своих обязанностей. И вот настал день испытания. Владимир нес службу по охране государственной границы у трапа теплохода, прибывшего под флагом одной зарубежной державы. Один из пассажиров спустился по трапу и, развязно осклабясь, протянул Владимиру И. пестро раскрашенную пачку сигарет (варианты: жевательной резины, плитку шоколада, колоду карт с фривольными картинками). Но комсомолец воин-пограничник Владимир И. решительно пресек наглую вылазку зарвавшегося молодчика. Он отказался взять протянутое. «Молодец, Владимир!» — говорили вечером товарищи-комсомольцы.

Но эту смехотворную газетку, кроме меня, вряд ли читал даже собственный редактор, а в массовых изданиях подвиги пограничников имеют образцово-показательный характер — поимка шпионов, диверсантов, на худой конец, контрабандистов (но обязательно с эпитетом «матерый»).

Растет Стеклянная Стена.

Колеса по советской стране, я не раз натыкался на нее физически. Реально она имеет мало общего со Стеклянной Стеной Замятина, отгораживающей стерилизованный мир Единого Государства от неупорядоченного развратного мира живой природы.

Несколько часов подряд я ехал поездом вдоль границы по Закавказью: вышка-прожектор-часовой — колючая проволока на бетонных столбах — вышка-прожектор-часовой — колючая проволока на бетонных столбах — вышка... В других районах страны столбы попадались по-старинке деревянные, но вышка-прожектор-часовой — те же.

Все это напоминало точно так же устроенные ограждения в местах, весьма удаленных от наших

государственных границ: ограждения вокруг исправительно-трудовых лагерей. И когда представлял себе всю эту северо-восточную часть евразийского материка обнесенной колючей проволокой, метафора «страна-лагерь» обретала зловещую вещественность.

(Напротив, один мой друг, прошедший немало лет за колючей проволокой внутри страны, доказывал, что лагеря, таким образом, являются энклавами свободы внутри державы-лагеря.)

Там же, где протянуть колючую проволоку от вышки до вышки нельзя, на прибалтийских пляжах например, всё же с армейским идиотизмом ежевечерне пашут пресловутую контрольно-следовую полосу. Даже когда море штормит и прибой зализирует пахоту сразу вслед за пограничным трактором. Я даже видел несколько раз, во время особенно сильного прибоя, как трактор пахал прямо по воде. Это уже относилось к области пограничной магии.

Впрочем, привыкнув относиться к пахарям-пограничникам иронически, однажды во время вечерней дачной прогулки мы с женой беззаботно пошли по КСП (контрольно-следовой полосе). Заговорились, забыли, что это не просто наш любимый пляж... Мы едва ли даже не любовались маханиями прожекторного света по вечернему небу и черной ночной воде.

И вдруг что-то болезненно спрессовывающее, подавляющее сразу зрение, слух, все чувства, навалилось на нас. Мы попали в перекрест прожекторов, вызвали взвой сирен!

Было инстинктивное желание крабом врыться в песок.

Как мы заставили себя перемахнуть через дюны и продрасться к дому через непролазную чащу мелких елочек!

А они ведь и не гнались за нами — просто пугнули дачников.

Надежна стена — даже без столбов с колючкой,

а из одного только света, да воя, да нашего страха!

Вскоре после того, вернувшись на работу, я получил журналистское задание написать о ЮДП.

ЮДП — это «юные друзья пограничников», одно из бравых начинаний комсомола. Школьники в приграничье организуются в отряды ЮДП для муштры, военных игр, а главное, слежки за всем, что им, школьникам, покажется подозрительным (в комсомольских отчетах это идет по разряду «военно-патриотическое воспитание», или, на комсомольском жаргоне, «патриотика»).

Нас с коллегой в этом задании — не гнуснее, чем любое другое журналистское задание на нашей службе, — привлекла возможность посетить экзотические места Средней Азии, куда иначе, без трудно добываемых пропусков, не попадешь.

Мы миновали европеизированную (вернее, сталинизированную — по архитектуре) после землетрясения республиканскую столицу.

Затем — вполне еще глинобитный, халатный и грязный областной центр.

Райцентр в приграничной зоне, военное поселение.

И, наконец, граница.

Застава.

Разумеется, столичных корреспондентов направили в образцово-показательное подразделение.

Эта казарменная образцовопоказательность особенно выделялась на фоне нестройной дикости природы: скалы, непролазные трехметровые камыши, в которых гремит галькой река-граница, голые горы, уже на т о й стороне.

А застава — квадрат ровной земли, расчерченной яркой, ежедневно подновляемой известкой.

Плац. Гимнастическая площадка. Барак. Еще барак. Сарай для собак.

Крепенький, сверкающий пуговицами и бритыми скулами капитан, начальник заставы, со вкусом при-

нимал гостей. Мы осмотрели каждый квадратный метр этого прямоугольника, который капитан эрудированно называл «своей фортецией».

И запасливый бак для воды. И выписанный из Москвы баян. И чистый люфт-клозет. И все грамоты: за учебно-воспитательную работу, за самостоятельность, за баскетбольную победу, за ЮДП...

По журналистской добросовестности, мы спрашивали имена, факты. Капитан тут же подзывал ответственного за учебу, за баскетбол или за самостоятельность солдата: «Астапенко, Андреюк! Завгородний! Ко мне!»

— Что это у вас все украинцы подобрались? Местных нет?

Капитан фыркнул. Разъяснил снисходительно, дивясь нашей необразованности:

— Местным здесь служить не положено. Местных на западную границу больше шлют, на северную.

Дошло дело и до интересующих нас ЮДП.

Громадный парубок в солдатской гимнастерке пугово вытянулся перед нами и принялся докладывать:

— Ибрагимов себя хорошо проявил... Шарипов... Умаров...

— А познакомиться с ними нельзя, поговорить? Испуганный взгляд на капитана.

— Сейчас нельзя, — спокойно сказал капитан, знающий, что мы сегодня же должны уехать, — дня через три. Сейчас они все на хлопке.

Чувствуя, что наше задание здесь горит синим огнем, мы переглянулись и стали складывать блокноты. Но у капитана была крепкая хватка: когда еще гости заглянут — через месяц, через полгода... А до отпуска еще куда как далеко...

— Нет, так не положено... Так мы гостей не отпускаем... Еще каши нашей придется отведать, солдатской...

Каша, разумеется, оказалась обширными, в сковороде, бифштексами, обильным пловом, салатами и «чем положено».

За ужином капитан все хвалился своими огородными и строительными усовершенствованиями, а мы все пытались повернуть разговор в романтическую сторону его службы:

— Ну, а как, нарушения границы часто бывают?

— Невозможно, — поторопился вставить наш приставленный от замполита провожатый. — На КСП знаете какие приборы! Электроника! Паук не пройдет.

— Бывают, — невозмутимо, не обращая на него внимания, ответил капитан. — Чечмеков за этот год три раза задерживали. Из города два школьника, десятиклассники, пытались уйти...

— А с той стороны, а с той?

— А с той редко бывает. Ну, если какой ихний чечмек залезет под самое ограждение дров нарубить... Но мы так делаем. Сразу его не берем. Пускай нарубит, на ишака своего навьючит. Тогда мы его с ишаком и гоним, прямо к нам на кухню. Подержим сутки взаперти и выпускаем. У нас это называется «дровозаготовки»...

Стемнело. Сопровождавший нас штабной офицер стал поглядывать на часы. Но капитан совсем еще не насытился обществом.

— Да погоди ты, лейтенант! Мы ж им еще задержание под ракету не показали. Не видели, небось, задержание под ракету?

Мы признались, что не видели.

— Паламарчук!

От скамеечки, где тлели последние перед сном сигарки, отделилась громоздкая фигура.

— Есть, товарищ капитан, — сказал Паламарчук с заметной грустью.

— Покажем гостям задержание под ракету, Паламарчук?

— А, може, товарищ капитан...

— Э-э, Паламарчук, дрейфишь! Как баба...

— Да не...

— Ну, живо. Кру-гом!

Еще пару минут что-то возилось и глухо рычало в окружавшей нас непроглядной азиатской ночи.

Затем капитан звонко над самым ухом пальнул раз и другой из ракетницы.

Все фосфорически осветилось, и мы увидели нелепо улепетывающего в драном ватном малахае Паламарчука и пару огромных, как баскервильские псы, волкодавов, нагнавших его в два прыжка. Из покотившегося по земле рычащего кома раздался явно человеческий взвизг.

— Хватит, товарищ капитан! — взмолились мы.

— Охрименко! Отзови собак... Ну, что там у тебя, Паламарчук, опять?

— Да палец прокусил... Мухтар этот...

— Ну-ну, Паламарчук, не будь бабой...

Наш провожатый решительно пошел к нашему газику.

— Ох, проторчали мы тут у тебя, петляй теперь в темноте...

— А вы вдоль границы, — радушным хозяйским тоном предложил капитан, — там не собьетесь.

— Вдоль границы? Так это ж море крови будет.

— А я сейчас своим позвоню и на шестнадцатый, предупрежу...

— Ну, давай...

Прислушиваясь к этому пограничному разговору, мы полагали, что нас провезут вдоль колючепроволочной изгороди, и никак не ожидали того, что последовало.

Простившись с хозяйственным капитаном, наш провожатый подвез нас к тому месту, где в пресло-

вutoй изгороди торчали из колючей же проволоки сплетенные высоченные ворота.

На воротах висел самый обыкновенный амбарный замок очень большого размера.

Трепаная-перетрепаная метафора «граница на замке» на наших глазах овеществлялась.

К газику шагнул часовой с автоматом.

— Все в порядке? — как-то глупо спросил у него наш лейтенант.

— Все нормально, — ответил часовой.

(Только после того, как этот обмен идиотскими репликами повторился два-три раза у попадавшихся в пути «секретов», я сообразил, что это пароль и отзыв.)

Часовой подошел к воротам, отпер замок и со скрипом растворил проволочные, колючие ворота.

И мы выехали.

За.

...дорога вилась в высоченных камышах, над нами в синей полосе текли толстовские звезды, мы были на свободе, нигде, в невероятном, в подлинном мире, и для полного сходства с замятинской сказкой то заяц, то косуля замирали в свете фар, а потом этот свет совсем уж фантастически стал роиться в каких-то белых клубах...

— Что это? — спросил я у водителя.

— Пыль, — ответил лейтенант и выглянул из окошка. — Мать моя женщина! Да мы уже километра полтора по КСП прем!

(Вот тебе и электронные датчики!)

Мы вывернули снова на ничейную полосу.

В стороне сопредельной державы была непроглядная тьма.

— У них пограничников нету, — объяснил лейтенант. — Не держат. Отсталость у них.

Еще через полчаса газик ткнулся в такие же точно

колючепроволочные ворота, как те, из которых мы выехали.

«Все в порядке? — Все нормально».

Газик вкатился.

Часовой со старательностью неуклюжего ночного сторожа затворил колючую проволоку, навесил громадный замок и трижды с пронзительным железным скрипом повернул ключ.

— Вот мы и дома, — сказал мой товарищ.

Розовые лица

Некрологи на киностудии «Ленфильм» обычно вывешиваются в главном вестибюле под барельефом Ильича, искусно вырезанным из пенистого пластика. В начале прошлого года на траурном месте появилось следующее извещение: «31 января... скоростно... наш товарищ, актер Студии киноактера Александр Костин... организация похорон... Партком... Местком...»

31 января, за полночь, несколько ленфильмовцев, и среди них Саша Костин, тридцатилетний красавец, весельчак, гитарист, в одном такси возвращались после вечерней смены. Костин, в связи с тем, что ему через два месяца предстояло стать отцом, недавно получил квартиру в новом районе, на самой окраине, и потому он, в конце концов, остался в машине один.

«Куда тебе?» — спросил шофер. — «Вроде бы, дальше...» — ответил Костин; он еще не научился различать эти новые дома-коробки. «А точнее...» — занервничал усталый шофер. — «Там покажу».

Актер после напряженной трудовой смены и шофер в конце своей, оба были переутомлены и раздражительны. Таксист требовал точный адрес, пассажир — везти дальше. Наконец, шофер остановил машину

и крикнул: «Плати и вылезай, а не то отправлю в отделение милиции, вот оно, рядом!»

«В отделение?! — рассердился Костин. — Да я сам туда пойду. Пусть разберутся!»

И, хлопнув дверцей машины, он зашагал к милицким дверям. («Розовые лица. Револьвер желт. Моя милиция меня бережет» — это он, наверное, еще на школьных вечерах самодеятельности декламировал из Маяковского, ударяя на местоимения).

Шофер побрел за ним.

В отделении они кипятились, обвиняли друг друга перед дежурным лейтенантом, составлявшим акт. Потом лейтенант отпустил шофера, а Костина задержал. Почему? Скорей всего, темпераментный актер вызвал у лейтенанта естественное полицейское желание проявить свое всеислие: «Ах, ты — актер, интеллигент... так посидишь у меня в холодной...» А может быть, просто план загрузки кутузки в эту ночь был невыполнен, так не шофера же задерживать — у него такси.

Из отделения милиции труп Саши Костина под утро отвезли в морг. В милицком протоколе было написано, что был сильно пьян, буянил, бился о стены и умер от внезапного сердечного приступа до прихода «скорой помощи».

Все это было согласно со страшной народной молвой о милиции. Типично, как у нас говорится.

Дальше началось нетипичное. Рано утром, поднятые встревоженной женой Костина (уже вдовой, еще не знающей своего вдовства), друзья-актеры проявили нетипичную для советских граждан предприимчивость в розысках — отыскиали того шофера, приехали в то отделение, и, главное, нимало не поверив липовому протоколу, рванулись в больницу, в морг, замахали перед врачом красными книжечками (а в России и для полуграмотного работяги и для образованного врача красная книжечка — власть, потому все,

кто может, стараются, чтобы их профессиональные удостоверения — актерские ли, писательские ли, сапожной ли артели — были в красных корочках, как у партийных, как у милицеских), и врач выдал им акт вскрытия: «Множественные кровоизлияния... вызванные ударами в область брюшины и паха... Смерть наступила вскоре после полуночи от разрыва брыжейки...»

Через полтора часа акт уже лежал на столе у директора киностудии Блинова. И опять случилось нетипичное. Замученный финансовыми провалами студии директор оплошал. Уж ему ли, стреляному номенклатурному воробью, не знать, как такие дела делаются. Надо снять трубку, позвонить «по вертушке» (специальному телефону, связывающему работников партийного и советского аппарата) в обком партии товарищу, ведающему работой милиции и органов... А Блинов (говорят, крепко досталось ему за это впоследствии) подмахнул заготовленное письмо в прокуратуру.

И прокуратура приняла дело к производству!

Слишком уж очевидно на этот раз вскрылось преступление. Слишком широко оно стало известно в среде интеллигенции. Приходилось принести в жертву несколько младших чинов.

Опростоволосившись поначалу (не успели предупредить, запугать врачей в морге), милицеские принялись спасать свои шкуры. Первым делом стали вымогать у таксиста показания, что Костин в тот вечер был пьян и буянил. Типично ли, нетипично — тут уж не берусь судить — но у таксиста была совесть, он и без того горько казнился, считая себя причиной гибели ни в чем не повинного человека, и он не только ничего не подписал из того, что подсовывали ему милиционеры, но и дал следователю прокуратуры правдивые показания.

Показала правду и старушка-выпивоха, ночевав-

шая в ту ночь в кутузке. Ее всегда арестовывали, когда надо было помыть полы в отделении, а в то утро еще и кровь пришлось замывать.

Без лжесвидетелей лейтенант и два арестованных младших чина, разумеется, принялись закладывать друг друга. Так постепенно нарисовалась вся страшная картина.

После ухода шофера Костин все негодовал, кричал, что арест незаконен, что дома беременная жена с ума сойдет от волнения. Лейтенант дал знак дежурному сержанту: «Успокоить».

Костина вытащили в заднюю комнату и принялись отводить душу.

В это время в отделение зашел сдать дежурство шофер патрульной машины, старательный милицкий новичок. «Это кто там дорывается?» — «Да, там ребята возятся с одним... Актер, вроде...»

А шоферу милицейские игры в новинку, любопытствовал поглядеть. Разожгло. Двое бьют одного, беззащитного, как же третьему не присоединиться! «А вот как нас в десантных войсках учили бить! Дайте покажу!»

И показал, бывший десантник, «отличник боевой и политической подготовки»... Вроде бы, следствие установило, что смертельный удар нанес именно он. А тогда он только сделал, как в армии учили: «дать раз, но чтоб не встал» — и ушел, гордый.

Присудили лейтенанту и сержанту по восемь с половиной лет лагерей, а бывшему десантнику — девять. Говорят знающие люди, что попадут они под сокращение сроков и, уж конечно, коллеги в лагерях найдут применение их милицейской сноровке.

На многолюдных похоронах Костина густо шныряли востроглазые молодые люди, которых никто из студийцев никогда прежде не видел. Поэтому в речах выступавшие не особенно возмущались преступлением, а между собой собравшиеся говорили о мело-

драматической проделке судьбы: одной из последних работ покойного было дублирование на русском языке роли жертвы полицейской расправы. Фильм был французский. Режиссера М. Карне. Назывался «Следствие закончено. Забудьте». Его очень хвалили советские критики за беспощадное разоблачение нравов буржуазной полиции.

«Розовые лица. Револьвер желт. Моя милиция меня бережет» («Стережет» — как любят у нас перифразировать).

Происшествие с Костиным приобрело огласку и стало предметом судебного разбирательства не только в силу стечения не типичных обстоятельств, но и потому, что пришлось на гребень бесчинств ленинградской милиции.

Когда заканчивался процесс над убийцами Костина, в том же городском суде на Фонтанке начинался процесс над милиционерами, надругавшимися над задержанной пятнадцатилетней девочкой. Еще одна грязная история, которую не удалось замять.

Незадолго до того еще о двух делах говорили в городе громко (а о скольких тихо, без точных данных, а сколько вообще шито-крыто!). О забитом насмерть, как Костин, рабочем пареньке с Кировского завода и о загубленном пожилым ветеране войны.

С ветераном как получилось. Его на улице хватил сердечный приступ. Но подобрала на беду не «скорая помощь», а грязный милицейский фургон, который свозит пьяных в вытрезвитель. Очнувшись в фургоне, больной стал объяснять, что с ним, просил вызвать врача. Поскольку по милицейской логике всякий упавший на улице человек — пьяный, а с пьяным можно делать все что угодно, старику двинули хорошенько. А он и умер.

И тоже неудачно так для милиции получилось — оказался покойник Героем Советского Союза. И родственники добились вскрытия, экспертизы...

Осенью 1974 года было в Ленинграде еще одно скандальное милицееское дело.

Произошла серия необыкновенно крупных и ловких ограблений магазинов в околolenинградском поселке Всеволожское. Хищение вышло таких размеров, что сыщиков прислали из Москвы. А те без особого труда обнаружили, что шайкой грабителей был, чуть ли не в полном составе, Всеволожский районный отдел милиции. Отключали вечером у себя в отделе магазинную сигнализацию, чтобы зря не гудела, открывали магазины и брали у кого на что глаз ляжет.

Все это, сложившись вместе, заставляло думать, что власти не отделаются несколькими засуженными сержантами с лейтенантом.

И действительно, центральная «Литературная газета» опубликовала на целую полосу беседу с министром внутренних дел Щелоковым о соблюдении правовых и этических норм работниками советской милиции. Бесконечное однообразие вопросов корреспондента «ЛГ» сводилось к одному, вроде: «Ведь правда, товарищ министр, что культурный и профессиональный уровень нашей милиции повысился в последнее время на еще более недостижимую высоту?» А министр отвечал, что правда, и приводил многозначные числа, доказывающие, что в милиции теперь работают специально образованные, а стало быть, культурные и гуманные люди. Наконец, где-то ко второй половине одуряюще монотонной публикации, то есть там, куда не всякий читатель прорвется, прорвалось у министра, что еще кое-где порой отмечают отдельные нарушения законности, но самые строгие меры и т. д. и т. п.

Знатоки и умельцы читать советскую газетную жвачку между строк закатывали глаза и говорили: «Ого! Кто-то еще полетит ...»

И правда — вскоре на казенной даче в Зелено-

горске повесился заместитель начальника ленинградского управления милиции по кадрам.

Видимо, бедняге за слишком заметные бесчинства вверенных ему кадров предстояло проститься с номенклатурными привилегиями. Он предпочел сук и веревку.

Рубль кучка!

Однажды я читал довольно занятную брошюру — «Перечень книг, запрещенных к приему в букинистические магазины» (в СССР, разумеется). Для удобства пользования в брошюре был строго соблюден алфавитный порядок, и потому корифеи марксизма — Сталин, Мао, Хрущев — были рассованы по своим буквам, а не вынесены, как полагается, во главу списка.

Буква Д в перечне начиналась двумя страницами безавторских брошюр, называющихся на «Да здравствует...»: «Да здравствует великая и всепобеждающая...», «Да здравствует единая и нерушимая...», «Да здравствует непреклонное...»

Какие-то имена и события, подлежащие вычеркиванию из правильной коммунистической истории, сделали миллионнотиражные брошюры опальными. Миллионнотиражные...

А ведь это же те самые хвостатые вереницами нулей тиражи, которые в других брошюрах и докладах горделиво свидетельствуют о необычайном расцвете книгоиздательства, а стало быть, и культуры в Советском Союзе! Это — тонны вечнодефицитной бумаги, гектары нерасчетливо сведенного леса, украденные у Пушкина, Гоголя, Ахматовой, Булгакова, Данте, Фолкнера.

Существует такой леденцовый миф, постоянно обсасываемый слюнявой советской публицистикой, что-де постоянный книжный дефицит в СССР есть за-

мечательное доказательство необычайного духовного расцвета личности при советском строе. «В Москве у входа в книжный магазин, где очередь стояла за Спинозой...» — сладко щебетала Вера Инбер, а газетные людоеды умильно цитировали: вот ведь как, за Спинозой у нас очереди стоят, за Спинозой!

Ну, положим, в очередях советские граждане стояли и стоят не только за Спинозой.

За мясом, за картошкой, за кофточками, за зубной пастой, за апельсинами, за туалетной бумагой, за номерком на прием к врачу, за лодкой напрокат в выходной день и так далее, до бесконечности. И, конечно же, за книгами, когда есть надежда приобрести хоть что-то для ума и сердца, а не очередное «Да здравствует...»

При Сталине положение советского читателя и покупателя книг было проще, определеннее. Два-три раза в год объявлялась подписка на собрание сочинений какого-нибудь проверенного классика: то ли Ивана Гончарова, то ли Виктора Гюго. Опытный книголюб записывался в очередь за несколько дней, приходил на ночные проверки, последнюю ночь выстаивал у дверей книжного магазина, не сходя с места, и тогда мог рассчитывать на счастье подписки.

Нынче у книголюба, просматривающего советские издательские планы, сердце сжимается от безнадежности и вожделения. Чего только нет в этих планах! Классики, начиная с античности. Самые громкие имена современных литератур зарубежья. Даже многолетне запрещенные Мандельштам, Волошин, Клюев... Но учен книголюб и знает, что никогда, ни при каких обстоятельствах ни одна из этих книг не окажется на прилавке книжного магазина.

Если до магазина и доберется один-другой экземпляр, то и затаится в директорском сейфе с тем, чтобы пойти в круг натурального обмена — то ли с директо-

ром соседнего «Гастронома» на лососину, то ли с директором соседнего «Универмага» на итальянские сандалии.

А еще будут распределены экземпляры по обкомовским (и выше) недоступным, за охранниками и проверкой документов, спецларькам, чтобы украсить пестрыми корешками финскую и румынскую мебель в квартирах номенклатурных товарищей.

А еще уйдет русская и так необходимая в России книга за границу.

Не так давно на совещании в издательстве «Советский писатель» кто-то из темных задних рядов прислал оратору из Госкомитета по печати вопрос: почему такие ничтожные тиражи определяются для книг из популярной серии «Библиотека поэта», так что даже работникам издательства не достается по экземпляру стихотворных сборников Владимира Соловьева, Мандельштама?

«Товарищи! — изумился оратор из Госкомитета. — Мы же в своем кругу! Неужели непонятно, что все эти книги мы издаем и отправляем за рубеж, чтобы заткнуть глотки нашим идеологическим противникам!»

«Заткните и нам!» — крикнул из темноты какой-то отчаянный шутник.

Но все же в полное уныние настоящий книголюб не приходит, ибо знает, что существует вечно преследуемый, но неистребимый и неисчерпаемый Книжный Черный Рынок.

Однажды, по журналистской надобности, в большом областном центре я сидел в кабинете директора крупного книжного магазина. Раздался телефонный звонок «междугородней». Я поневоле услышал разговор и, как ни притерпелся ко всякому, на этот раз удивился. Провинциальному книготорговцу звонил ведущий публицист газеты «Известия» Феофанов, специалист по вопросам социалистической законности, а заодно нравственности и этики (с тем же сомнитель-

ным эпитетом). Звонил, чтобы поклониться книжку. Ему понадобились «Характеры» Лабрюйера, видимо, чтобы украшать цитатами свои гневные очерки. «Судите сами, — несколько раз звонко пробасила мембрана, — ведь неудобно будет, если я — (с ударением на я) — отправлюсь за книгой на черный рынок!»

Меня, поневоле постоянного клиента черного рынка, поразила не столько возможность встретиться там со столь именитым коллегой, как вообще то, что даже непреклонный борец за чистоту совнаров открыто признает существование этого сектора частной инициативы и теоретически не отвергает возможности прибегнуть к его услугам.

Не обладая известинским удостоверением, я не мог выцыганить книжки у завмагов и покорно нес деньги (и не малые!) воротилам черного рынка.

Зато я и получал невероятную возможность выбрать нужную книгу. Потому что на черном рынке есть все, что вышло в советских издательствах за последние 10-15 лет. Да и старую книгу там можно заказать и получить через некоторое время за солидное, разумеется, вознаграждение.

Было бы несправедливостью по отношению ко многим моим «чернорыночным» знакомцам изображать каждого, кто приносит книгу на черный рынок, спекулянтом. В значительной степени это собрание интеллигентных людей — читателей, литераторов, ученых, коллекционеров, — рассчитывающих не столько на приобретение нужной книги по бешеной цене, сколько на обмен, как это заведено у филателистов и других коллекционеров.

Но если эти люди, с их интересами и вкусами, определяют конъюнктуру на черном рынке, хозяевами на нем остаются те, кто обеспечивает приток новых книг на рынок, — «книжные акулы». (Не путать с «книжными жуками», более низкий разряд, — перекупщики, перехватывающие книги у людей, несущих

их к букинисту, скупающие за бесценок осиротевшие библиотеки, да и просто приворовывающие в государственных и частных собраниях.)

Географически книжные рынки больших городов кочуют.

Сегодня он располагается на виду у всех, в самом людном центральном сквере. Завтра, после очередного милицейского налета, передислоцируется на окраину, займет плацдарм не без военного искусства — на пересеченной местности, чтобы милиция не могла подогнать свой фургончик.

Вот Семен Семеныч. Акула из акул. Зимой в ладном (и дефицитном!) дубленом полушубке, летом в элегантном английском блейзере с эмблемой экзотического яхтклуба, он пританцовывает над своим чемоданом-прилавком.

Он отлично знает свое дело и артистически чувствует покупателя. Поговорит с пожилой университетской дамой о сравнительных достоинствах переводов Пруста: довоенного — Франковского — и нового — Любимова. Погладит по вихрам мальчишку: «Тебе что, дружок, Рэя Брэдбери? Нет, денег твоих мне не нужно. А вот посмотри, нет ли у тебя дома каких-нибудь не нужных старых книжонок? Знаешь, совсем-совсем стареньких...» Угостит ядреными матюжками отставного полковника, чем окончательно склонит его к приобретению вожаделенных мемуаров маршала Жукова за 20 рублей.

А тем временем в толпе шныряют его агенты, чья задача скупить за бесценок, ловко выменять все сколько-нибудь ценное, с точки зрения сегодняшнего рынка, у неопытных новичков.

Но эта добыча, конечно, не единственный и не главный источник книжных поступлений Семен Семеныча.

30 тысяч экземпляров сборника Мандельштама в

Большой серии «Библиотеки поэта» были расписаны властями: сколько куда, все до единого.

У Семен Семеныча — Мандельштам в неограниченном количестве. И при том до того, как официально закончилось печатание тиража!

Если исключить возможность чуда, остается — надежная и взаимовыгодная связь с типографией.

У Семен Семеныча — всегда полный набор зарубежного «дефицита», будь то «пейпербэкс» — детективы Агаты Кристи, будь то роскошные монографии издательств Скира и Риццоли.

А тем временем десятки людей ждут и не дожидаются посланных им по почте из-за границы книг.

А как же! Зарплата-то у таможенных и почтовых чиновников невелика. (Если, конечно, опять же исключить возможность чуда.)

Ну и официальные книготорговцы не всегда пускают свой «дефицит» в натуральный обмен, иногда и наличные нужны, и тогда удобно прибегнуть к посредничеству Семен Семеныча.

Ценами Семен Семеныч напрямую не ошарашивает покупателя. На вопрос о стоимости отвечает слегка иносказательно — 10 номиналов, 20 номиналов, что означает: не 1 рубль 30 копеек, как указано на обложке (номинал), а 13 рублей, 26 рублей. Или, будучи в более игривом настроении, прибегает к другой шкале.

— Сколько стоит второй том Плутарха, Семен Семеныч?

— Семь рублей.

Это, понимай, семьдесят.

Поскольку покупатель — интеллигент, то и преискурнт Семен Семеныча в какой-то степени отражает подлинную иерархию духовных ценностей. У него дорого стоят академические издания из серии «Литературные памятники», издания античных авторов, стихи

русских поэтов, издаваемые в хорошо прокомментированной «Библиотеке поэта».

Каждый отдельный том Монтеня (из трех) — 80 рублей.

Том Пастернака или Цветаевой — 50 рублей.

Комедии Плавта — 25 рублей.

Поскольку Семен Семеныч руководствуется не указаниями Государственного комитета по ценам, а, являясь анархическим предпринимателем в социалистическом окружении, чутко держит нос по ветру, цены на книги он взвинчивает быстрее, чем саудовские арабы цены на нефть.

Одна-две книги — месячная зарплата инженера, врача, учителя.

Но несут Семен Семенычу рубли, заработанные сверхурочными, левыми, калымными, бессонными часами, инженер, врач, учитель.

И уносят от этого элегантно офени «не Блюхера и не милорда глупого» (и, в основном, даже не завлекательную Агату Кристи), а Пушкина и Гоголя, Гёте и Томаса Манна, и баснословно дорогого Монтеня, и Плутарха, и Рембрандта, и Шагала.

Потому что в советском книжном магазине нет пищи духовной, а только и есть, что «Да здравствует...»

Вспомнилось одно воскресенье.

Объявили подписку. На Лермонтова, кажется. Возле нашего книжного магазина — толпа, крик, свистки милицейские...

Подхожу — рассказывают: «Тут один чудак... приковал себя с ночи цепочкой к дверям книжного магазина... чтобы, значит, быть первым... А из райкома приказали все экземпляры отдать активистам соседнего завода... так активисты пришли и кусачками...

но и его народ стал защищать — ведь, все ж, такое желание у человека!...»

Махнул я рукой и пошел на черный рынок.

А там — солнышко глянцевого обложки пригревает, Семен Семеныч, как кот, жмурится. Настроение у него хорошее, шутовское.

— Семен Семеныч, почем Ларошфуко?

— Рубль кучка!

«Зизи! Кристалл души моей...»

Не тем бы Пушкина поминать, а все нейдет из головы и нельзя удержать под спудом, потому что — правда.

Редко, что сохранилось в России в такой чистоте и неприкосновенности, как псковские Пушкинские места — Святые (ныне Пушкинские) Горы, Михайловское, Тригорское.

Ландшафт не опоганен бетонными коробками. Озера не заросли травой. Парки не повырублены.

Необыкновенно чисто, словно не Россия это, а какая-нибудь Эстония. Ходят по лесным тропинкам бабушки, одетые в черное, как монашки, в руках у них кривоватые посошки с гвоздем на конце — всякую бумажку, окурок на гвоздь натыкают.

Этот по-настоящему заповедный остров сбережен, нет, заново восстановлен одноруким Семеном Степановичем Гейченко, страстным энтузиастом, директором заповедника.

Удивительно живой души человек! Восстановил на Савкиной Горке древнюю часовню. Но все ему казалось: не то, не доделано, что ли... Не успокоился, пока не привез батюшку и не освятил бревенчатый сруб. Знал, что донесут, что рискует местом, а освятил!

Пожурили в райкоме-обкоме, но сошло с рук. Гейченко приносит краю известность и немалый доход.

Михайловский дом Пушкина, Тригорский — Осиновых-Вульф, а сейчас и старый дом Ганнибала в Петровском, тщательно воссозданы, обставлены старинными вещами, напоминающими подлинные.

А подлинные?

В путеводителях об этом либо вовсе умалчивается, либо невнятно говорится, что Михайловское и соседние усадьбы пожгли в восемнадцатом году банды «зеленых». Тут явное противоречие со всеми историями гражданской войны: никаких «зеленых» в этих северо-западных краях отродясь не водилось. Красные были, и белые были. Белые, как известно, дворянских усадеб не жгли.

Впервые я разговорился об этом с одним стариком в деревне Гайки, что прямо против входа в Михайловское.

— Свои и пожгли, красные, отряды бедноты, — объяснил старичок. — Тогда мода такая была — баржечь.

— Да в Михайловском какие же баре? Там ведь до восемнадцатого года приют был, богадельня для престарелых литераторов. Там ведь пушкинские были вещи, книги...

— Тогда не разбирали... Всё пожгли. Из Тригорского старуху-барыню, параличную, еле успели вытащить. Уже из огня. Они потом у попа в избе, на Воронице, жили...

(Позднее я познакомился с рукописью интереснейших воспоминаний одной из последних обитательниц михайловского литераторского приюта. Они во всех деталях совпадают с рассказом старика.)

— А тот пушкинский дом, что в тридцать седьмом году построили, немцы сожгли?

— Не. Тоже наши раздолбали. Думали, там немецкий штаб.

Как ни странно, гитлеровцы, порядочно набезобразившие в местах русских святынь, поначалу не

только не разорили пушкинский музей в Михайловском, но даже назначили туда своего директора, даму по фамилии — ни больше ни меньше! — Шиллер. Остался и довоенный заместитель директора, чтобы спасти, что удастся. И, правда, почти все спас, в частности, единственную уцелевшую подлинно пушкинскую реликвию — бильiardные шары из старого михайловского дома. Сдал все, что сохранил, своим, когда пришли, и отправился на многие годы в лагерь — за сотрудничество с оккупантами.

Спрашиваю у деда:

— А вот у меня в книжке сказано, что в Голубове склеп должен быть, Вревских*. Его что — тоже в восемнадцатом году разорили?

— Не. Это уже когда колхозы образовывали. В тридцатом или в двадцать девятом. Приехали из Питера эти, тысячники, с Путиловского завода они были, а один матрос... В первый же вечер разжились самогоном. А как напузырялись, матрос и возьми себе в башку, что в склепе золото спрятано. И всех взбаламутил: пошли возьмем! Ну, пошли они склеп ковырять...

— А ты, дедушка, это со слов или сам видел?

— Какой со слов! Я ведь бывший голубовский. Там вся деревня собрамши была, когда они склеп ломали.

— И никто не вмешался, не сказал, что нельзя, мол?

— Им скажешь! Они чуть что имели право тебя стрелить. Опять же пьяные... Ты слушай. Открыли склеп и вытащили сперва барона старого и бароншу. На нем мундир был, на ней платье такое, богатое. А тела совсем не попорчены, такие белые-белые. А как вытащили, враз стали чернеть... Ну, золота не

* Барон Борис Александрович Вревский и его жена Евпраксия Николаевна, урожд. Вульф (пушкинская Зизи).

нашли там никакого, никто для их его туда не ложил... Но разожглись, одежду с покойников стащили. Один на себя мундир баронский напялил, другой — сапоги. Матрос — платье бароншино... Тела эти, почернелые, на елки повесили...

— Зачем?

— А для смеху. Стрелили в них из ружей.

В день рождения Александра Сергеевича на большой поляне в Михайловском устраивается аляповатое, помпезное празднество. Его бессменный председатель — московский литератор, славящийся застольным красноречием грузинского тамады, представляет слово приезжим членам Союза писателей, среди которых, для умиленности, непременно есть «ныне дикий тунгус» или «друг степей — калмык».

Поэты читают о родине и партии, ухитряясь как-то привязывать это к данному торжеству.

Толпа скучает и поглядывает на киоски. Каждый раз в толпе возникают невероятные слухи — то, что полушубки будут «давать», то, что сельдь в баночках завезли.

Слухи, как правило, не оправдываются.

Вечером в обычно пустоватом ресторане «Лукоморье» дым коромыслом.

Я вижу, как сильно пьяный верзила что-то доказывает своему визави, уже дремлющему над телятиной «по-пушкиногорски».

— А, дак ты шпион! — неожиданно кричит он, и с удивлением к окружающим: — Шпиона поймал... Ну, пошли!

И он тычками выводит из ресторана своего равнодушного к происходящему собутыльника.

— Мальчонков, КГБ наш, гуляет, — комментирует официантка. — Делать ему нечего.

Я выхожу.

Жутко смотреть на качающиеся во тьме черные ели.
«Зизи! Кристалл души моей...»

После молчания

— Теперь, когда визы у вас в руках, и вам нечего опасаться, скажите мне откровенно... — (ага, значит, пока еще они не выдали нам выездных, из СССР, виз, мы должны были опасаться откровенных высказываний; затаскали, залоснили овировские чиновники рекомендованный текст, заблестел он и стал отражать, ох, как многое! — маленькая дверная ручка на массивной — еще неизвестно, отворится ли? — двери в свободу; отразилось тут все молчание нашей жизни, осторожное, благоразумное, трусливое, отчаянное молчание наших предыдущих без малого сорока лет, когда не было у нас на руках этих клочков казенной бумаги и — было нам бояться — откровенных слов, а мы привычно делали вид, что скрывать нам нечего, вот они мы, все на виду, даже улыбаемся, а начальство хлопало белесыми ресницами и, вроде бы, делало вид, что верит нам, или, что ему так — все равно; ан, не верило и теперь с улыбкой своей, не плакатной, а подлинной — оскал, ощер, приглашает: «Кончай канитель, валяй откровенно...» — но тут-то оно, конечно, и дает слабину, мы тоже не лыком шиты, сами же нас учили всей своей государственностью: никогда откровенно! всегда «иди в глухую несознанку» — это единственный способ уцелеть; но не только наивность в этом призыве к нашей откровенности, еще и коварство; мы-то знаем, каково с ними пускаться в откровенности — дернешь за ручку эту дверную, а она в руках и останется; уже ползут, клубятся зловещие слухи об отнятых в последний момент — когда уже и выписан с места жительства, и квартира сдана,

и предателем родины ты на собраниях клеймен, — визах; нет, шалишь, белоглазая, мы, пока границу пакта не перелетим, свою легенду из головы не вытряхнем)...

— Родственники, Софья Власьевна... Хотим жить со своей семьей, со своим народом...

Она протестующим жестом — бросьте, мол! — отодвигает, стряхивает со своего пустого полированного стола в пластмассовую корзинку наших израильских родственников:

— Какие там! Я же знаю, седьмая вода на киселе. Вы их никогда и не видели. А здесь у вас все близкие... Вы совершаете трагическую, непоправимую ошибку. Это ваше дело, не хотите — можете не говорить, но лично мне... (ах, лично вам? так все очень просто: в испокон хлебородной России разучились выращивать хлеб, и нашего брата пускают в обмен на хлебопоставки, ну, там, еще кое на какую дипломатическую мелочишку в духе «разрядки» — но это мы так молчим)... какие мотивы побудили?

Продолжаем бубнить:

— Голос крови... Страна предков... («И у птички есть гнездо!»)

— Но вы же не хотите сказать, что сталкивались с плохим отношением к лицам еврейской национальности? Что страдали от... антисемитизма?

— Ну, что вы, Софья Власьевна, вы же знаете, что в СССР этого нет и в помине!

Она обводит затуманенным взором приемную — безликие финские письменные столы, кресла, шкаф с папками — и, честное слово, у нее слезы на глазах!

— Мне довелось три года работать вдали от Родины, — (это она так говорит, с большой буквы Р) — я была прекрасно материально обеспечена, но... Как вспомню все это... — (рукой на столы, на голые канцелярские стены, на пол, блестящий дефицитным шведским лаком) — ...как вспомню наши ленинград-

ские архитектурные ансамбли, даже дождичек наш, серенький, так и реву, реву...

Мы боимся — а вдруг и вправду заревет! Но инструкция «по проведению откровенной беседы», видимо, исчерпана, и она поднимается со стула.

Что? Зачем это?

Да так, ни зачем.

Новые веяния: социология, анкетирование... Кто-то указал: провести выборочный опрос, изучить настроя...

А, может, и более деловитое ведомство таким образом прощается с нами. Жалко, что ли, еще несколько метров магнитной пленки намотать, а, глядишь, что-то для них ценное мы, размякши, и проболтнем...

Однако «почему?» Сосипатры Владимировны не соскользнуло, вместе с испорченными бланками четырехстраничных анкет, в пластмассовую корзинку.

«Почему?» застряло, ворочается, растет и, как ни крути, ответить на него придется и впрямь со всей откровенностью.

Ведь, как ни диковинно это может кому-то показаться, когда подходил к краю овировской вышки, и приседал, и набирал воздуху, и летел, сначала коряво, как придется, а потом, обнаружив, что лететь-то долго, и извернувшись поудобнее, поскладнее, понадежнее, тогда все объяснения, все мотивы были...

...ну, не то чтобы неточные, но как-то так получалось, что разные.

Словно бы отвечая пониманию и взгляду на жизнь собеседника, говорил — и каждый раз казалось, что именно так оно и есть, — то, чего собеседник, видимо, ждал в ответ.

Да, вздохнуть не дают. Работаешь, работаешь двадцать лет, а едва сводишь концы с концами. А

кругом полно тупиц, прирожденных бездельников, вдохновенных тунеядцев, да с красными книжечками, да с благополучным «пятым пунктом»... Им — всё...

Да, надоело сидеть в клетке, под колпаком. Страшно подумать, что так и помрешь, не узнавши, есть ли на самом деле иная на земле жизнь, кроме этой, режимной. Или так, все это плод загнанного воображения...

Да, надоело, ...ать пере...ать, рабство, приспособленчество (потому что, хоть и придумана российская форма пассивного сопротивления — неучастие во лжи, а все равно, хоть ты синхрофазотрон проектируешь, хоть окурки из красного уголка выметаешь, но если ты сознательная тварь и молчишь, значит молчанием своим участвуешь во лжи, и рабское клеймо — на тебе).

Все это так. Но, в то же время, все это слишком на поверхности, чтобы было основной, глубинной причиной.

Антисемитизм?

Для меня — русского по рождению, по языку, по воспитанию, по всей моей русской любви-ненависти к родине? Да что бы они ни писали мне в паспорте, я-то знаю, кто я!..

Рабство?

Но кто в силах переступить границы моей внутренней свободы?

И все же... Набегавшись за день за овировскими справками, лежишь, не в силах заснуть...

Толпы маленьких уютных грызунов — леммингов — без всяких видимых причин вдруг устремляются из своих обжитых теплых нор на норвежских нагорьях

вниз, к чужому и холодному океану. И ведь каждому зверку, небось, кажется, что очень важные причины сорвали его с места, что всенепременно ему надо броситься в воду и, никогда и не нюхавшему воды, переплыть океан. И многомиллионное зверковое месиво бросается в прибой, гребет своими неприспособленными лапками, чтобы минутой позже пойти ко дну, но скорей, скорей — сзади другие напирают рядами.

Для решения своих, недоступных отдельной особи биологических стратегем природа, как всегда безотказно, использует стадный инстинкт.

(Вчера я видел: открылись двери «Банко национале дель лаворо», где выдают ежемесячное пособие, и толпа иждивенцев международной еврейской благотворительности пробежала по сбитой сразу же с ног восьмилетней девочке.

Кто из них, будь он один, наступив на живое, не остановился бы, ужаснувшись.

Но они были толпа, стадо.)

Нет, ограничиться ответами, удобными для собеседника, мы не вправе.

Я был достаточно смышлен, чтобы понять смолу, что рожден в стране тотальной несвободы и что на моем веку еще не рухнет бюрократическая тирания.

Книги, которые я с трудом вытаскивал из-под спуда «спецхранов», выпрашивал у владельцев потаенных домашних библиотек, так же, как опыт предыдущих поколений, учили, что все революции тщетны, что насилие рождает насилие, а зло — зло. Я всем сердцем понял, что печься о счастье дальнего от тебя, полагать себя знающим, что для другого благо, а что зло, — от лукавого; что задача человека — сохра-

нить непогнанной свою живую душу, стараясь делать добро ближним своим.

А мечтательность рисовала отрядные картины, как прожить свою жизнь с достоинством.

Бессмысленно разбегаться и таранить каменную стену лбом с разбега. Надо прожить жизнь, не замечая стены, построить в стороне от нее свое надежное, крепкое убежище. Насадить и вырастить густые деревья, чтобы не видеть ее, проклятую.

Переходя из метафорического плана в реальный, это означало: надо найти такой род деятельности, где ты не будешь участвовать в распространении лжи, в укреплении зла, где сможешь, сколько хватит сил, делать добро. Конечно, это не так просто, но ведь столько сил в тебе и гибкости ума, и готовности работать!

Учить детей быть добрыми, честными, смелыми. Неважно, пусть к этим добродетелям надо порой пристегивать словечко «пионер». Эта мертвая шелуха отпадает сама собой, а вечные добродетели останутся...

А своя семья, дом? Ведь режим скуп. Щедро он платит только за стопроцентную, безоглядную службу.

Значит, надо работать втрое, вчетверо больше. Жалобы интеллигентов на невозможность заработать на скромное существование смешны. Вспоминается мудрый урок известного спиритуалиста Гурджиева. Когда шокированный неопит спросил этого российского гуру, как он может брать плату, порядочную — 1000 рублей — за уроки самосовершенствования и миропостижения, учитель ответил: «Может ли изменить собственную душу и постичь мир человек, который даже не в состоянии заработать тысячу рублей?»

И я работал, работал, смею думать, по крайней мере с тройной нагрузкой против среднего совслужащего, инженера, университетского ученого, потому что продавать по кусочкам душу за «даровые» совет-

ские привилегии не хотел, а построить свой дом и обеспечить семье материальную независимость считал своим долгом мужчины.

Да только вот что вышло — метафора подвела. Не оказалось неподвижной каменной стены. Стена оказалась гибкая и подвижная, с охотничьими повадками, расставляющая ловушки, чтобы в конце концов поймать тебя в последнее глухое кольцо, которое и выдавит из тебя остатки души.

За право заработать хотя бы рубль нестыдным, приносящим кому-то пользу трудом, надо было расплачиваться тройной ценой уступок, иносказаний, а то и прямой лжи, безвредной только в силу своей окаменелости. То есть расплата шла кусочками души, какие смехотворные формы она порой ни принимала.

Когда я написал свою первую пьесу для детей, притчу о самовоспитании «Неизвестные подвиги Геракла», главный редактор Министерства культуры РСФСР Антокольский* собственноручно вычеркнул из текста почти все употребления слова «бог», видимо, подключив к идеологическим противникам по части антирелигиозной борьбы и древнегреческий пантеон.

Я смеялся и уступал.

Но очень скоро оказалось, что ни одна такая уступ-

* Однофамилец поэта, о котором уместно вспомнить. Павел Григорьевич Антокольский рассказывал, как в сталинские времена был с писательской делегацией принят азербайджанским сатрапом Багировым. Да отстал от своих и на цыпочках вошел в кабинет, когда уже с а м говорил. Багиров прервался: «Кто?» — «Поэт Антокольский». — «Садитесь». Поэт сел. «Встать!» Антокольский встал. «Сесть!» Сел. И по-концлагерному: «Сесть! Встать! Сесть! Встать...» А потом продолжал беседу.

Так вот, добро бы, объясняя свою покорность, поэт признал бы, что подчинился тогда от страха, кто бы его осудил! Нет. Антокольский сказал: «Как я мог не подчиниться, я рядовой коммунист, а он секретарь ЦК».

Это ведь какой кус души надо бросить кровавым псам, чтобы так сказать!

ка не проходит даром. За первой режим потребует второй, большей. Ты щедрей и щедрей начинаешь бросать ему в пасть куски души. И вот уже приходит ощущение, что так оно и спокойнее жить стало, и уж меньше свербит тебя, мучит и обжигает щеки...

Была протянута рука во спасение, и какое счастье, что я не преминул за нее ухватиться.

Я вдруг увидел перед собой то, что живой человек видеть не должен, — недлинную перспективу жизненного коридора с канцелярскими дверями по бокам.

Вот выходит чиновник из первой двери, я сую ему какие-то бумажки и продолжаю шествие уже с книжечкой Союза писателей в кармане.

Вон следующие двери — издательские, театральные — уже легче открываются для меня. Я снова сую бумажки, которые одинаковы, независимо от названия — ПЬЕСА, ХАРАКТЕРИСТИКА НА..., ПОВЕСТЬ, ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ...

А вот и последняя дверка в конце, из которой выдают 120 рублей на литфондовское захоронение того, что, перестав быть мной, прошло по коридору.

Теперь, когда в столовой Дома творчества или в гостиной Союза писателей оглядывался вокруг себя, я начал явственно обонять запашок мертвечины от этих, и не думающих помирать, оживленных, румяных, болтливых папильонов, комфортабельно пропаривающих по ужаснувшему меня коридору.

«Господи! — думал я, — а ведь у каждого в начале была живая душа, может, еще большее моей, и таланту отмерено было, может, иным из них поболее, чем мне. До какой же сокрушительной душевной растраты довела их эта расплата компромиссами день изо дня...»

И от всей этой зловещей игры в писательство, от фальшивых успехов, от нищенского благополучия, как только все это я ощутил реально, в своих руках, стало мне скучно мертвецкой русской скукой.

Да как это объяснишь Содомии Влаповне. Она еще, того гляди, накатает наперек заявления резолюцию: «Отказать ввиду недостаточности основания».

Она же истории отечественной не знает. Не слыжала, что в России от скуки дома поджигали, вешались, революции устраивали.

Ну и «отношение к лицам еврейской национальности», С. В., конечно, было. Как же у вас да без этого!

Только в моем случае как-то неглавно это было, задевало как-то боком и только к концу жизни в России накопилось столько, что уж стало тяжело нести и этот груз.

До школы я не знал про национальности, как все маленькие дети не знают.

Воспитывали меня русским языком, среди русских.

Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым. Русскими сказками в добротных довоенных пересказах.

Жил я не со своей родной бабушкой, а больше с другой, которую очень любил.

У этой моей бабушки был образок над кроватью, и молитвы за меня, когда я болел, и сказки, песни, поговорки — не знаю уж, достаточно ли народные — петербургские, мещанские.

Я почти не знал советской литературной дряни, разве что песни против фашистов из радиорепродуктора слушал и подпевал.

Школа, в которую я пошел, называлась по-старинному «Петер-шуде», и в ее просторных проветренных рекреациях, актовых залах в том предпобедном году как-то вдруг ожил добрый дух добротной гимназии.

А может, только так казалось, а только и было

всего, что портрет Вагнера в косом берете над фортепиано и бодрые утренние звуки веберовского марша на гимнастике.

Мне, первокласснику, там очень нравилось.

Однажды на широкой школьной лестнице пронесся по перилам, обогнав меня, старший мальчик, прыгнул и загородил мне путь.

Я с почтением первоклашки посмотрел на лихого школяра.

Парень в байковых лыжных шароварах посмотрел на меня и спросил:

— Ты жид?

— Кажется, да... — ответил я, искренне не зная.

— Это и видно по твоей нахальной морде, — захлопнул парень свою нехитрую ловушку и покатился дальше, оставив меня в этой ловушке на долгие годы.

Я, и правда, не знал.

То казалось, что да, жид.

То, что нет.

Пока не пришла пора понять, что нет ответа на этот вопрос, потому что и вопроса-то нет. Вопрос не требует ответа, он даже не может быть задан. Потому что я — это только я, и ничего больше.

А парень пусть катит себе дальше, пока не протрет свою байку до задницы.

На одиннадцатом году, зимой сорок восьмого года, когда в газетах рисовали отвратительных карикатурных евреев и подписывали «безродный космополит», когда уже и моего отца бегущие всегда впереди мелкие шавки облаяли «безродным», я понимал много больше.

Я помню наш, еще булыжный, Малодетскосельский проспект, февральскую слякоть, поблескиваю-

щую от фонарей, и то, что я издали принял за странную пляску.

Двое краснорожих, в веселом подпитии парней топтали ногами, втапывали в слякоть старика. Он извивался и кричал.

Он кричал дружелюбно:

— Ребята! Что вы делаете! Ребята! Вы ошиблись, я не еврей!

А они всё месили и месили ногами.

Ребята...

На все детство-отрочество-юность это было как прививка. И для меня уже не было трагически-глупых «почему?» в том, что для меня закрыты иные вузы, а в прочие, несмотря на мою серебряную медаль, почти нет прямых путей (то есть без хождения родителей по знакомым с просьбами, уговорами), что не для меня, по окончании университета, завидная работа в больших городах, что не мне ездить — даже за собственные деньги — в заграничные поездки (один мой приятель, продвигавшийся по комсомольской линии, мне объяснил, а вернее, передал: «Все-таки наша страна — Россия, и за рубежом ее должны представлять люди с русскими фамилиями», — сам он частенько представлял, хотя фамилия его была типа Сидоренко).

Но смолodu я все это тоже относил к стене, которую можно не замечать.

Я даже полагал, что мне замечательно повезло, что я нашел местечко вне тотального чиновничьего антисемитизма, когда устроился на работу в редакции детского журнала, где в основном служили обоего пола старые девы, нимало не похожие на тех ребят, что топтали старика.

Во всяком случае несколько лет подряд там не слышалось разговоров о том, что того или иного ав-

тора не следует печатать «из-за фамилии», разговоров, столь обычных в других редакциях.

Но пришел мой последний бравый шеф и все поставил на свои места.

Для начала он уволил самого трудолюбивого и одаренного из редакторов, у которого не то что никаких замечаний, а стол, как говорится, ломился от похвальных листов.

Никаких двусмысленностей тут быть не могло, единственная причина: человек с неподходящей фамилией не может занимать ответственный идеологический пост (тот заведывал отделом очерков), а раз занимает — недосмотр, исправить.

Наши девственные коллеги, до тех пор не уставшие славословить постоянно их выручавшего товарища, и не пикнули в протест, а, подумав, еще и поддержали по-партийному.

Потом началось вычеркивание фамилий, подсчитывание, сколько процентов авторов с русскими фамилиями и т. п.

Я сдал в печать стихи известного и, к тому времени уже покойного, поэта Овсея Дриза.

Начальник вычеркнул из подписи слова «с еврейского».

Получилось просто: «перевод такого-то».

— Помилуйте, но ведь это же просто чушь, так быть не может, перевод должен быть с какого-то языка, — ломился я в открытые ворота.

Он решил объясниться со мной откровенно. (Он вообще очень дорожил репутацией откровенного и интеллигентного человека, вроде бы и случайно оказавшегося на номенклатурном посту.)

Поснимав зачем-то трубки с телефонов и прикрыв дверь кабинета, он подсел ко мне и спросил:

— Как вы относитесь к Солженицыну?

Это было так неожиданно, некстати и отдавало провокацией, что я опешил. Но, поскольку вопрос был

поставлен в лоб, а врать не хотелось, я сказал:

— Хорошо отношусь.

— А я считаю, что он гений! — прошептал с пафосом мой откровенный начальник. — Но я же не кричу об этом на всех углах.

(Этот человек нарушил столько заповедей морали, что я, к тому же и не связанный никакими обещаниями, не считаю нужным утаивать этот эпизод; ведь этот, на первый взгляд пустяковый случай, показывает, какие уродливые формы может принимать позиция молчаливого неучастия, «отказа от лжи», предлагаемая интеллигентам.)

Господи, как мне стало скучно!

В день нападения немцев на СССР мой отец, освобожденный от военной службы по инвалидности, записался добровольцем в народное ополчение, воевал уже в первые летние дни, вывел болотами из окружения остатки своего батальона, был ранен, получил награды за храбрость (и в те дни не слишком щедро выдаваемые людям с еврейскими фамилиями), в блокадном Ленинграде писал стихи, которые и теперь старые блокадники вспоминают со слезами.

После войны был ошельмован «космополитом», спасся от окончательной расправы только бегством в другой город, где начал все сначала, неутомимо работал в литературе, написал множество популярных стихов, песен, книг и пьес для детей.

Два года назад на набережной возле Дома творчества писателей в Коктебеле он увидел, как молодой литератор убивает палкой собаку. Не бьет, а убивает (дворняга гавкнула на его пятилетнего сына). Отец подошел к литератору, вооруженному дубиной.

— Что вы на меня уставились? — огрызнулся этот неандерталец (Валентин Солоухин, прозаик, за

какие-то особые заслуги перетащенный из провинции в Москву на должность старшего редактора в одно из центральных издательств).

— Просто со времен войны не видел живого фашиста, — сказал отец. — Интересно посмотреть.

В ответ понеслась брань:

— В Ташкенте в войну отсиживались... Гуманисты собачьи...

Писательская общественность, повиснув у отца на плечах, не дала ему расправиться с мерзавцем. Писательская общественность, вообще положительно относящаяся к животным, написала возмущенное заявление в правление Союза и организовала фельетон в газете «Неделя».

Из фельетона непосвященный читатель мог понять, что на одном из южных курортов один молодой человек, по роду занятий имеющий отношение к воспитанию нравственности, побил собаку, а на замечание одного пожилого человека ответил одной грубостью.

А заявлением занялся сам писательский генерал Ильин.

— Крепко накажем, — сказал генерал.

И сдержал слово. Прозаику «поставили на вид». В следующий раз Валентин будет мозжить головы собакам где-нибудь не на виду и евреев ругать вполголоса.

А отцу всю ту осень, пока он не попал в больницу, не давали спать ночные телефонные звонки.

— Говорит «черный сентябрь», — раздавалось в трубке как бы с иностранным акцентом, — мы тебя... — и дальше уж чисто по-русски.

Отец не разделяет во многом моих взглядов.

А я не мог не задуматься о судьбе его внуков в этой стране.

Читаю «Из-под глыб».

Славная, сильная книга. Книга сильных духом и разумом, сокрушающая ложных кумиров и побуждающая душу искать прямых путей.

Но есть нечто, на чем запинаятся все авторы, — трудность определения, к кому обращена их проповедь.

Отсюда яростное оживление столетней полемики об определении понятий ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ и НАРОД.

А уж будто это так важно?

Ведь есть неоспоримое. Есть отдельные, неповторимые, созданные по Его образу и подобию людские души. К ним проповедь, и о них.

Самые отважные и об этом заговорили, но даже и они сбиваются на рецепты, как всем скопом в Царство Божие войти.

Но ведь сказано, что Оно внутри нас.

И еще. Разве и к детям нашим не будет относиться, как и вообще к человеческим детям на все времена: «...проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей» (Бытие, 3, 16).

Не делают ли наши пророки недопустимую в эсхатологии подтасовку, пророчествуя Царство Божие в формах времени и пространства?

Царство Божие в России? На острове Мадагаскаре? В Израиле? В Калифорнии? В 1984 году? В 3976-м? Завтра? Вчера?

Разве нельзя ответить на эти вопросы: везде и нигде, вчера и сегодня, здесь и там, всегда и никогда.

С почтением обходят стороной Чаадаева, Печерина. Не робко ли для мужчин?

А мне кажется, что вызывающая к нашему мужеству добродетель такова: все время знать, что мы не заслуживаем Царства Божия и загробного блаженства, и не падать духом; все время знать, что страдание наше не случайный горький жребий и чья-то вина, а наша вина и, одновременно, обязательное условие нашего бытия.

Поэтому нет Царства Божия, кроме того, которое мы будем строить внутри себя сизифовой неустанной работой, нет нам храма, где нас утешат, кроме того, который постараемся воздвигнуть внутри себя мы сами.

И нет данной родины — разве только, как в анкетах пишут, М. Р. (место рождения) — если мы сквозь душу свою к ней не пробьемся.

В свете этого мужественного и честного самосознания вопрос, покидать Россию или не покидать, решается почти на бытовом уровне — в зависимости от личного долга перед близкими тебе.

Если есть хотя бы собака, которой ты нужен и увезти которую с собой ты не можешь, оставайся.

Если нет живой души, которой необходимо исключительно твое присутствие в России, беги из мертвецкой скуки.

А если ты еще можешь спасти из лжи и несвободы кого-то из ближних, тем вернее — беги!

Прямая возможность бегства за рубеж — счастливая возможность для немногих удачников. Но есть иные, трудные, возможности бегства внутри России, внутреннего отшельничества. Только ни в коем случае, как показывает наш горький опыт, не путем компромиссов и молчаливой покорности.

В дни тотального террора, когда всякая попытка борьбы есть принесение себя в жертву, кто возьмет на себя ответственность призывать к самопожертвованию?

Герои и мученики были, есть и будут. Но они

были, есть и будут явлениями исключительными, потому что призыв к самопожертвованию должен исходить не из человеческих уст.

Так же, как и призыв к творчеству.

Допустим, любой из живущих ныне наших национальных гениев — Солженицын ли, Бродский ли — вооружившись канистрой бензина и спичками, превратили бы себя в факел на Красной площади или на стрелке Васильевского острова. Не было ли бы это страшным нарушением заповеди, которая дана в притче о рабе нерадивом, зарывшем в землю свой (свой!) талант?

Ведь не робость же двигала этими художниками, как и многими другими русскими людьми, доказавшими в иных обстоятельствах свое бесстрашие, когда они покидали родину.

Все ссылки на обстоятельства, сопровождавшие их отъезды, в конечном счете не убедительны и даже могли бы бросить тень на славные имена. Потому что в жертвенной жизни великого художника вообще не может быть решающих обстоятельств. Обстоятельства влияют на проявление инстинкта самосохранения. Здесь же ответственность более высокого порядка — потому и непереводаемая на язык доводов и обстоятельств, что отвечают не перед ограниченным людским разумением, а перед Богом.

Бегство, праведное отшельничество, спасение — давняя русская традиция. Стыда в этом нет. Ведь не в оперный эрмитаж, под сень струй бежим. Бежим в нищету, в одиночество, в вечные сомнения ради возможности сохранить живую душу.

Исчерпав запланированные пятнадцать минут, Софья Владимировна поднялась со словами:

— Вы совершаете страшную ошибку, исправить

которую будет невозможно. Тем не менее, желаю вам счастливого пути.

Во как у нас теперь — культура!

Вечером того же дня, 3 февраля, я уезжал из Ленинграда в Москву оформлять визы.

Вышел из дому и сразу же посчастливилось оставить свободное такси.

Не успел шофер тронуть, кто-то распахнул дверцу машины.

— Вылезай, дядя! — крикнули мне из темноты.

— Почему?

Искры из глаз. Звякнули где-то сзади отлетевшие очки.

Закрыть бы дверцу и сказать шоферу: «Гони!» — но я что-то крича и, почти ослепший, размахивая кулаками, вылез из машины и получил еще и еще по челюсти.

Только и разглядел, что было парней трое. Вином несло, но не шибко.

И отвалили.

Шофер поджидал меня метрах в десяти. Спасибо, совсем не уехал — с очками-то!

Завтра в консульство идти: я тер скулы снегом, потом в коридоре ночного поезда прижимался к холодному стеклу.

В законной мгле смутно проносились мимо свет, темень. Сколько раз я ездил по этой дороге? Не считать. Эти намеки на очертания, пятна — чужому они неразличимы, а я и ночью вижу за ними дома, каналы, пакгауз, песчаный карьер, лесок. Вот этот продленный участок тьмы — кладбище.

Все здесь я узнаю с полунамека. Так больше не будет нигде никогда.

Родина, про —

ЛОСЕВ Алексей — родился в Ленинграде в 1937 году. Окончил филологический факультет Ленинградского университета. Работал в газетах, в редакции детского журнала «Костёр». Автор пяти книг и десяти пьес для детей, опубликованных и поставленных в СССР. В феврале 1976 года эмигрировал на Запад, живет в Детройте, США.

ИСТОРИЯ

Эта статья — переработанный кусок большой книги, которую автор написал около четырех лет назад, еще бывши в Москве. Разные люди (в том числе и вполне серьезные историки) читали ее там в рукописи и высказали о ней весьма разные мнения. Но в одном все они сходились: что книга — замечательно интересна.

Есть люди (и даже очень умные), которым неприятно отношение Янова к корифеям русской историографии. Но, знаете ли, Янов в этом деле (т. е. в русской историографии) свежий человек. Ему во-время не сказали, кого можно ругать, а кого нельзя. А когда он уехал из Москвы в Нью-Йорк, то проблема отпала сама собой. Мы ведь почти все в большей или меньшей степени воспитаны в уважении к классикам (литературы, истории, биологии, кожевенного дела ... чего бы то ни было) и в полном неуважении к самому себе как к отдельному частному человеку. Янов пришел (точнее — «ворвался») во вполне респектабельную квартиру (а, скажем, не дом) классической историографии явно неприглашенным (его «забыли» пригласить) и нашел, что свежему человеку там не место. Но вместо того, чтобы тихонько уйти или, сделав вид, что там все более или менее в порядке, посидеть спокойно, выпить чаю с живыми и мертвыми хозяевами и превратиться в «своего» человека, он ... изумился (изумление — начало мудрости и основное занятие нахалов). Он посмотрел по сторонам, заглянул в кое-какие углы (что новому гостю тоже не очень пристало) и сказал: «Но, господа (или — товарищи — это в зависимости от того, когда тот или иной классик жил или... живет), факты и обстоятельства вы знаете превосходно, но мыслить о них концептуально, теоретически вы совершенно не в состоянии. Вы либо рабски подражаете друг другу, либо спорите — просто чтобы спорить, — либо угождаете властям, либо уступаете моде. Вы всегда уступаете чужой политике, делая вид, что она — ваша, и отчаянно экономите ваши собственные умственные способности. Их у меня, может быть, не больше, чем у вас, но я, по крайней мере, их не экономлю».

И тут досталось всем, и великому Соловьеву, и менее великому Черепнину, и американскому Пайпсу, и итальянцам, и немцам, и своим, и чужим.

Янов нагло придумал (придумывание — занятие наглеца) свою

циклическую концепцию русской политической истории от Ивана III до... неизвестно кого: книга еще не дописана, а русская история, кажется, тоже еще не кончилась. И чёрт знает что по этой концепции выходит. Выходит, что в самой истории царь Шуйский и Лжедмитрий были не так уж плохи, а Иван Грозный, Петр Великий и (о, ужас!) даже Екатерина Великая — куда как вырождались. Выходит, что в осмыслении истории самыми умными оказываются Крижанич, Монтескье, Токвиль и Миллюков, а вовсе не те, к славе которых мы так привыкли. А главное, выходит, что вообще — дела плохи, очень плохи. Что рабство, унижение и пресмыкательство окружают нас со всех сторон, что они укоренены в нас самих, что спастись от них можно только ценой безумно тяжелой и долгой работы. А можно и не спастись...

Я думаю, что эта статья Александра Янова есть часть такой работы. Она далеко не оптимистична, но она настолько интересна и жива, что вселяет оптимизм. В яновской историософии гораздо больше живости и оптимизма, чем в универсальной истории Тойнби, и нет у него той тяжелой, мрачной неотвратимости, которой отмечена концепция Шпенглера (в отличие от Шпенглера, Янов — не «человек культуры», а скорее, «человек жизни»). Однако Янов не думает, что нас вывезет какая-нибудь «кривая»; такой пергюнтовской «кривой» у нас нет. Есть только прямое стремление к политической свободе человека, отдельного, частного, умного, глупого, одаренного, бездарного. С этим можно не согласиться (несогласие — часть свободы!), но об этом стоит подумать. А рассуждать о том, поможет ли свобода политическая свободе духовной, стоит лишь тогда, когда первая у нас уже есть.

А. Пятигорский

КОМПЛЕКС ГРОЗНОГО (ИВАНИАНА)

1. У истоков

8, 9, 10 ноября 1552 г. одно из лучших за все века русских правительств, последнее абсолютистское правительство России — «Избранная рада» праздновала свой величайший политический триумф. Беспрерывно звонили на Москве колокола, служились во всех соборах молебны, три дня пировали в царских палатах: первый и самый опасный осколок «Золотой орды» — Казань — стала русским городом.

Русь завоевала татарское царство — таков был смысл национального ликования. Три века татары воевали ее, десять колен русских людей прожили под ними, а теперь Русь завоевала их — отныне и навсегда! «Понятно отсюда, почему Иоанн IV стал так высоко над своими предшественниками, почему для русских людей XVII века это был самый величественный образ русской истории, загораживающий собою все другие образы...»¹

Мы должны быть благодарны С. М. Соловьеву за то, что он так четко объяснил нам истинные причины популярности в потомстве Ивана IV, который был, однако, в ту пору в столь нежном, можно сказать, студенческом возрасте, что никак не мог организовать такое грандиозное предприятие, какое не под силу было даже его поседевшему в государственных заботах и ратях отцу. Да ведь и сам Грозный утверждал после, что везли его из-под Казани «как пленника»

Печатается в порядке дискуссии, в завершение которой редакция определит свою принципиальную позицию по затронутым в статье вопросам.

и вообще «не докладывали нам ни о каких делах, как будто бы нас и не было... Так было во внешних делах, а во внутренних же мне не было ни в чем воли»².

Человек этот был от природы труслив, был «бегун» и «хороняка», не блистал в казанских делах ни подвигами, ни полководческими дарованиями. Но он носил шапку Мономаха. Он стоял наверху, его все видели, ему на коленях в пыли кричали освобожденные пленники: «Избавитель наш! Из ада ты нас вывел, для нас, сирот своих, головы своей не пощадил»³. О нем звонили все колокола. Для него служили все молебны.

И он стал историческим образом, заслонившим собою других, и что бы ни творил он после того, оставался в народной памяти благоговейно почитаемым избавителем от векового татарского проклятия.

Мы неожиданно получили здесь редчайшую возможность увидеть рождение идеологического символа, на наших глазах обратившегося в стереотип политической культуры, в своего рода знамение комплекса национальной неполноценности, когда великий народ готов подарить свой подвиг одному ничтожному человеку, когда идеальный образ отделился для него от всей реалистической плоти эпохи и триумфально зашагал, властвуя над умами отдаленных потомков...

2. Авторитария и абсолютизм

Каждый знает, что Демократия, т. е. единственный в мире «политический вид», не боящийся критики и свободного интеллекта, не держащий против него на страже цепных псов ЧКГБ, единственный «вид», разрешивший ключевую, судьбоносную для любого общества проблему преемственности власти — без катаклизмов, дворцовых переворотов и ГУЛагов, — что «вид» этот не свалился с неба. Что он произошел из авторитаризма. Однако из него же произошли и все

тирании. Но почему? Не потому ли, что авторитаризм авторитаризму рознь? Иными словами, не потому ли, что история знает разные классы авторитарных систем? Что одни из них — я называю их Абсолютистскими — ведут страну по магистральному пути политического прогресса? А другие — я называю их Автократическими — ведут ее от ГУЛага к ГУЛагу, по кочкам и терниям окольных исторических проселков? Что одни способны к поступательному развитию, а другие — только к циклическому, всякий раз воспроизводя на новом уровне сложности традиционные опричные параметры? И если идеальным финишем Абсолютизма является Демократия, то идеальным финишем Автократии может явиться лишь Абсолютизм, т. е. такая переходная форма авторитаризма, из которой, вследствие ее поступательного развития, может в конечном счете родиться и Демократия.

Так что же можем мы извлечь из этой абстрактной декларации насущное, актуальное? Мое утверждение сводится к следующему: в середине XV века — на волне антитатарской освободительной революции — Россия сумела создать европейскую абсолютистскую систему. Система эта, вследствие многих исторических причин, оказалась неустойчивой. Ровно столетие спустя после нового, на этот раз отечественного татарского нашествия, после автократической контрреволюции Грозного, результаты которой из-за тотального закрепощения народа оказались необратимы, русская политическая система стала первой в мире Автократией.

И тем не менее Россия пережила целое столетие Абсолютизма (1462-1564). Столетие, которое: 1) заложило в фундамент ее исторической памяти пылкую и неистощимую жажду свободы, совершенно неизвестную народам, изначально выросшим в Деспотиях; 2) обусловило неистребимость русской оппозиции,

физически уничтожаемой каждым очередным Грозным и столь же неукротимо возрождающейся из праха погибших; 3) обещает в перспективе обратную метаморфозу — из Автократии в Абсолютизм.

Иначе говоря, то, что имело исторически конкретное н а ч а л о, должно иметь и конец.

Вот почему ключевыми фигурами русского прошлого — и русского будущего — представляются мне отец русского Абсолютизма Иван III и отец русской Автократии — Грозный. Вот почему разница между ними кажется мне основополагающей. Вот почему именно ее — вместе с ее отражением в русской историографии — и избрал я предметом своего очерка.

3. Исходное представление

О России XV века широко распространено представление как об узкой подковке, зажатой между литовским молотом и татарской наковальней. Очень важно для нас это исходное представление. Ибо ясно же, что если 'страна действительно находится перманентно на осадном положении, если каждую минуту речь идет о жизни ее и смерти, о самом национальном существовании, то отсюда сами собою напрашиваются и тотальная милитаризация, и деспотические замашки государей и прочие популярные ужасы: на войне как на войне...

Подобного представления держался даже Г. В. Плеханов, опираясь на такого авторитетного историка, как первооткрыватель русского феодализма Н. А. Павлов-Сильванский: «Внешние обстоятельства жизни Московской Руси, ее упорная борьба за существование с восточными и западными соседями требовали крайнего напряжения народных сил... Основным началом русского общественного строя московского времени было полное подчинение личности интересам государства»⁴.

Итак, «упорная борьба за существование», «за-

щита русской земли», самозащита — вот корень традиционного представления. Но верно ли оно?

Послушаем не менее авторитетного в этих делах С. М. Соловьева: «Относительно бедствий политических и физических должно заметить, что для областей, доставшихся Иоанну в наследство от отца, его правление было самым спокойным, самым счастливым временем... войны были наступательные со стороны Москвы: враг не показывался в пределах постоянно торжествующего государства»⁵.

Иначе говоря, Соловьев утверждает нечто прямо противоположное мрачному представлению, созданному Плехановым и Павловым-Сильванским. Кому верить? А может, лучше попытаемся разобраться сами? Тем более, что есть для этого один в высшей степени репрезентативный способ. «Право отъезда» вольных слуг княжеских, их «отказ» и свободный договорный переход к другому, более сильному или справедливому лидеру были «краеугольным камнем боярских вольностей», древней и мощной политической традицией, ограничивавшей произвол власти. Для нас же традиция эта может служить превосходным и вполне объективным барометром благополучия и перспективности того или иного общества. По тому, куда и откуда направлен этот стихийный, но чуткий поток миграции, в чью сторону устремлено его острие, мы можем совершенно точно судить, у кого дела были хороши, а у кого так себе. Ведь все различие в программах Ивана III и Ивана IV отразилось в нем, как в зеркале...

Литовский сосед Ивана III Казимир был большой дипломат. Серией блестящих интриг он добился того, что после его смерти сыновья его, Казимировичи, заняли один за другим четыре среднеевропейских престола: польский, чешский и венгерский, не говоря о литовском. Это был самый большой успех Литвы за всю ее историю. Вольности литовских панов не шли ни в какое сравнение с устойчивым, но все-таки скромным

положением русских бояр. И что же? Куда обращено было острие миграции: к ней или на Москву? Кто требовал наказания «отъездчиков», кто клеймил их изменниками, «зрадцами», — москвичи или литовцы?

Князья Воротынские, Вяземские, Одоевские, Бельские, Перемышльские, Новосильские, Глинские, Мезецкие, имя им легион — это все удачливые беглецы из Литвы в Москву. Удивительно ли, что так зол был литовский государь на «измену»? В 1496 г. он горько жаловался Ивану III: «князи Вяземские и Мезецкие наши были слуги, а зрадивши нас присяги свои, и втекли до твоея земли, как то лихие люди; а ко мне бы втекли, от нас не того бы заслужили, как тои изменники»⁶.

А Москва, наоборот, изошрялась в подыскании оправдательных аргументов для этих «изменников», она ласкала их и приветствовала, королю не выдавала и никакой измены в действиях их тогда не усматривала.

В 1504 г. перебежал в Москву пан Остафей Дашкович со многими дворянами. Литва потребовала их выдачи, ссылаясь на договор 1503 г. Москва хитроумно и издевательски отвечала, что в тексте договора сказано буквально: «Татя, беглеца, холопа, робу, должника по исправе выдати», а разве великий пан — тать или холоп? Напротив, «Остафей же Дашкович у короля был метной человек, и воевода бывал, а лихова имени про него не слыхали никакова... А к нам приехал служить добровольно, не учинив никакой шкоды»⁷.

Видите, как стояла тогда Москва за право эмиграции! Раз эмигрант не учинил никакой шкоды, т. е. сбежал не от уголовного преследования, а по политическим мотивам, он для тогдашней Москвы — человек чистый, достойный и никакой не изменник. Более того, Москва принципиально и с большим либеральным

пафосом настаивала на праве личного политического выбора.

Литва падала, а Москва поднималась — вот о чем говорит этот мощный стихийный социальный процесс. Может ли существовать более объективное свидетельство внутреннего здоровья и блестящих перспектив, открывавшихся тогда перед Москвою? И дело здесь, как мы сейчас увидим, вовсе не в том, что православные паны бежали в православную Москву. Не в том, ибо стоило Грозному поломать эти перспективы, стоило ему терроризировать страну опричниной и преобразовать складывающийся абсолютизм в автократию, как все, словно по волшебству, переменялось. И те же самые православные паны, те же политические эмигранты вдруг становятся «изменниками» в глазах Москвы и вполне почтенными персонами в глазах Вильны!

Москва теперь кипит злобой к «изменникам», громогласно утверждая, что «во всей вселенной кто беглеца принимает, тот с ним вместе неправ живет». А король, исполненный теперь либерализма и гуманных чувств, об «измене» больше и не поминает. Он снисходительно поучает Грозного, что «таковых людей, которые, отчизны оставивши, от зневоления и кровопролития горла свои уносят», пожалуй нужно, а не казнить.

...Неудержимо побегут теперь люди из Москвы. И свидетельствовать будет это о том, что первый ГУЛаг, устроенный на Москве Грозным, не мог пройти бесследно, что предстоят ей десятилетия упадка, мерзости и запустения, а в итоге всего — новый Грозный. И даже когда полвека спустя отправит Годунов 18 молодых людей в Англию — набираться европейского ума-разума — 17 из них станут «невозвращенцами».

У Григория Котошихина, тоже эмигранта, оставившего нам первое систематическое описание мос-

ковской жизни XVII века, читаем: «Для науки и обычая в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благую, начали б свою веру отменять и приставать к другим, и о возвращении к домам своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили... А который бы человек, князь или боярин, или кто-нибудь сам, или сына, или брата своего послал в иные государства без ведомости, не бив челом государю, а такому бы человеку за такое дело поставлено было б в измену... и ежели б кто-нибудь сам поехал, а после его остались сродственники, и их бы пытали, не ведали ли они мысли сродственника своего»⁸.

И это в той самой Москве, куда еще тремя-четырьмя поколениями раньше, в абсолютистское ее столетие, «втекали» славные, знатные люди, ища себе благословенного отечества. Как же низко надо было пасть стране, чтобы держать своих сограждан насильно, цепями — и в то же время уверять мир, что она самая прекрасная на свете, единственная, православная, «последняя Русь»!

Мыслимо ли более подлинное свидетельство того, что дело Ивана III было сломлено, магнитные свойства страны, притягивавшей к себе лучшие государственные и интеллектуальные ресурсы сопредельных стран, безвозвратно утрачены? Отныне Москва целое столетие будет влечь к себе лишь авантюристов, спекулянтов и завоевателей.

Но все это будет позднее, а пока мы в XV веке, в средоточии державы здоровой, растущей, способной думать о будущем. Держава эта так сильна, что не она зависит от своих восточных соседей, некогда грозных татар, а сама содержит на жалованье татарских царевичей; что сумела посадить на престол Казанской орды своего человека; что последний хан Золотой орды Ахмат, посмевавший поднять меч на Москву, бес-

славно сложил свою голову в ногайских степях от татарской же сабли; что не Литва наступает на Москву, а Москва на Литву и — после ряда блестящих побед — отнимает у нее 70 волостей и 19 городов; что сын германского императора Максимилиан сватается к дочери Ивана III, а внук московского государя Димитрий впервые венчан был 4 февраля 1498 г. по царскому обряду, и дед возложил на него знаменитую шапку Мономаха.

Таково было внешнеполитическое положение Москвы в исходе царствования Ивана III. И пусть сам судит теперь читатель, похоже ли оно на стереотипное представление, с которого начали мы эту главу.

Не было литовского молота и татарской наковальни — соседи Москвы были исторически обречены и практически бессильны. Не было осадного положения — и не было, следовательно, нужды ни в тотальной милитаризации, ни в военном деспотизме. Была борьба различных социально-политических программ, борьба, которая складывалась с переменным успехом, давая преимущество то абсолютистскому компромиссу, то автократическому экстремизму.

4. Дед и внук

Вовсе не следует понимать это как апологию Ивана III. Отнюдь. Средневековые нравы жестоки и примитивны. Но все-таки убивали тогда не из любви к убийству. Там, где можно было обойтись без него, — обходились. Если в принципе возможно внести рациональное начало в политический быт средневековья, то Иван III рационализировал его максимально.

Публичных политических процессов при нем не было. Забавно, что проф. И. Полосин, восхваляя в своей «Социально-политической истории России» (1963!) Грозного за выработку «новых понятий и терминов, которые соответствовали бы условиям централизованного государства», заносит в его актив и то, что «имен-

но с Грозного начались процессы политические... именно со времени Грозного появилось понятие политической измены»⁹.

Но если наши историки считают возможным оправдывать злодеяния Грозного необходимостью ликвидировать «живые черты прежней автономии», то отчего же не обращают они внимания на то, как в несравненно более сложных условиях решал те же самые проблемы Иван III? Ведь когда он в 1462 г. вступал на престол, эти «живые черты» были во сто крат живее, нежели при Грозном, и уж если нужна была для их пресечения жестокость, то, казалось бы, именно тогда: централизовать-то страну и впрямь надо было. Но, как на грех, словно бы нарочно, чтобы досадить апологетам Грозного, ничего этого не было при Иване III!

Иван III заложил основу для строительства великой феодально-абсолютистской державы, предприняв для этого ряд выдающихся и в то же время осторожных акций, исполненных с большим политическим тактом и по возможности малою кровью. Во всяком случае, с большим тактом и с меньшей кровью, нежели его французский коллега Людовик XI. В этом отношении походил он скорее на английского своего современника Генриха VII. Так же, как и тот, был он скуп, расчетлив, сух, лишен предрассудков и дальновиден. Так же, как и тот, считал, что худой мир лучше доброй ссоры. Это был настоящий политик абсолютистского толка, поистине великий князь компромисса. И, может быть, ни в чем не очевидна так разница между внуком и дедом, как на опыте аналогичной новгородской акции, предпринятой ими обоими.

Кровавая баня, сопровождавшаяся массовой резней и тотальным грабежом ни в чем неповинного населения Новгорода, которую устроил в 1570 г. Грозный, всем известна. Ни один уважающий себя историк не верит уже сейчас в то, что «баня» эта вызвана

была реальной или хотя бы предполагаемой изменой. Напротив, твердо установлено, что дело было сфабриковано в недрах опричного сыска и, как говорит Р. Скрынников, специально исследовавший вопрос в своей книге «Опричный террор», «погром Новгорода не имел никакого оправдания, и причинами его, помимо ослепления опричного руководства, были разве что корыстные интересы опричной казны»¹⁰.

Армия и полиция, институты, созданные для поддержки общественного порядка, обрушились на собственный совершенно беззащитный от них народ, растерзали его и надругались над ним, превратив богатейшие области страны в пустыню. Но террор был лишь формой события. Сутью его был грабеж — разбойное ограбление собственного народа органами охраны общественного порядка.

А теперь обратите внимание, что за столетие до этого Новгороду пришлось пережить аналогичную экзекуцию со стороны Ивана III. Причем, тогда были не смутные подозрения, а прямая открытая измена: в Новгороде победила партия Борецких, сумевшая повести за собою вече и заключить соглашение с литовским Казимиром. Для того, чтобы привести Новгород к повиновению, с ним надо было воевать — в буквальном смысле этого слова. Вот же они, казалось бы, почва и повод для разгрома мятежного города! И что же?

Победив, Иван III расправился с изменой радикально и жестоко: лидеры ее были казнены, вечевой колокол снят, историческая структура вольного города разрушена, целые роды потенциальных крамольников переселены в низовые города, а на их место посажены надежные люди.

Но расправился Иван III с изменой, а не с Новгородом. Он уничтожил в зародыше самое ее семя, но город жил при нем и процветал. В том-то и дело, что Новгород нужен был ему как часть страны, лишенная

исторической автономии, но живая, здоровая и богатая, а не обращенная в пепел. Это была его родная земля, которую следовало централизовать, а не уничтожить, привязать к Москве, а не воспитать в ней вековую ненависть. Это было отношение абсолютистского лидера державы, а не отношение автократора, не отношение хищника, варвара, вандала, который желал только опустошить, снять сливки, промотать и пропить награбленное и которому то, что будет с этой страной дальше, совершенно не было интересно.

Я оттого так подробно остановился на этом эпизоде русской истории, что он представляет нам редкую возможность проверить теоретическую посылку своего рода историческим экспериментом, словно бы нарочно поставленным самою жизнью, чтобы дать нам возможность воочию убедиться в том, как страшно разнятся между собою Абсолютизм и Автократия.

Но что знаем мы о русском Абсолютизме, об Абсолютистском столетии, которое есть основа нашей надежды и перспективы? Что знаем мы, что знают наши дети хотя бы об Иване III? Да можно сказать — ничего. Но зато Грозный, основоположник российского ГУЛага, возведен у нас в перл создания, зато им засоряют мозги нации на каждом шагу — и в школе, и в кино, и в театре, и в литературе, и в научных монографиях.

5. «Герой добродетели» и «неистовый кровопийца»

О судьбе Грозного, о его характере и войнах написана за 400 лет, без преувеличения, библиотека: статьи, стихи, монографии, памфлеты, диссертации, оды — тома и тома. И нет в них одинаковых оценок, сходных суждений, примиренных коллизий. Шквал противоречий, фатально и неукоснительно воспроизводящихся с 1572 года по 1972 из книги в книгу, из по-

колениа в поколение, из века в век — вот что такое на самом деле Иваниана. Она по сути и есть модель истории русского общественного сознания.

И хотя формально начало ее восходит к современникам Грозного: к первому его апологету Ивану Пересветову и к первому его обличителю Андрею Курбскому, родоначальнику русской политической эмиграции; хотя нельзя игнорировать и писания самого ее виновника, вся философия которого сводилась, впрочем, к одной немудрящей мысли, счастливо сформулированной В. О. Ключевским: «Все рабы и рабы, и никого больше, кроме рабов», но все-таки о подлинном ее начале дает нам представление скорее Н. Устрялов. «До появления в свет IX тома «Истории государства Российского», — пишет он, — у нас признавали Иоанна государем великим: видели в нем завоевателя трех царств и еще более — мудрого попечительного законодателя; знали, что он был жестокосерд, но... извиняли во многих делах для утверждения блистательного самодержавия. Сам Петр Великий хотел оправдать его... Такое мнение поколебал Карамзин, который объявил торжественно, что Иоанн в последние годы своего правления не уступал ни Людовику XI, ни Калигуле; но что до смерти первой супруги своей он был примером монархов благочестивых, мудрых, ревностных к славе и счастью государства»¹¹.

Устрялов и прав и не прав. Строго говоря, мнение его действительности не отвечает. Уже Хронограф 1617 г. совершенно отчетливо делит царствование Грозного на те же две неравные части, на «голубой» и «черный» периоды, что и Карамзин. Еще более решительно неприязнь к «странному царю» высказана была в 1626 г. князем Катыревым-Ростовским. Наконец, во «Временнике Ивана Тимофеева» описание иоанновых художеств достигло поистине скульптурной рельефности. «Царь возненавидел грады земли своей и в гне-

ве всю землю державы своей, словно секирою, напололам рассек»¹².

Как видим, уже и в XVII веке нашлись люди, подвергнувшие сомнению нравственную правомочность деяний Грозного. Я не говорю уже о суровом анализе князя М. М. Щербатова, который в V томе своей «Истории Российской» назвал эпоху Ивана IV временем, когда «любовь к отечеству затухла, а место их заступили низость, раболепство, старания о своей токмо собственности»¹³.

И все-таки прав был Устрялов. Да, в свидетельствах «низости сердца» Грозного недостатка и до Карамзина не было. Но общество-то было к ним глухо. Оно не слышало их, не хотело слышать и слушая не понимало. Оно не готово было к их восприятию — пока не пережило краткую, но страшную пародию на Грозного при Павле. До того, как самою шкурой своей почувствовало неотложную необходимость разобраться в собственном отношении к «самовластью». До того, как за дело взялся признанный его идеологический лидер Николай Карамзин, слово которого значило для него больше, нежели все хронографы и временники, все ветхозаветные щербатовские обличения...

Обратим, однако, внимание на то, что при всем своем отвращении к «самовластью» Грозного и Щербатов ведь не мог — так же, как и Карамзин — отрицать первого, «голубого» периода его царствования. Периода мощных и неожиданно либеральных административно-политических реформ, на которых словно бы никак не отразилась природная «низость его сердца».

Так что, спрашивается, означал сей крутой поворот, сие торжествующее противоречие? Это серьезный вопрос. Это главная загадка Иванианы, всецело господствующая над первою ее эпохой, длившейся почти три столетия. Мыслимо ли, в самом деле, совместить в одном лице проницательного реформатора и бездарного интригана, «мужа чудного рассуждения» и

омерзительного тирана, «покорителя трех царств» и вульгарного труса?

Старые историки, не обязанные по должности вестись абсолютную истину, откровенно признавались в своем бессилии. Щербатов произнес по этому поводу злополучную, ставшую впоследствии классической, фразу о том, что Грозный «в толь разных видах представляется, что часто не единым человеком является»¹⁴.

6. Первая догадка

И может быть, суждено было всей этой перво-дискуссии остаться лишь туманным историографическим воспоминанием, если бы рядом с противоречивым характером царя Ивана не выдвинула она и другой, действительно содержательный вопрос: а принадлежал ли вообще «голубой» период Грозному?

Так же, как Н. Карамзин впервые ввел в оборот общественного сознания само деление жизни Иоанна на два периода, так и М. Погодин впервые заставил общество усомниться в правомерности такого деления. Таким образом, первоэпоха Иванианы числит за собою как заслугу такой постановки вопроса, так и заслугу ее отвержения.

Можно ли представить себе, — рассуждал Погодин, — чтобы юный царь, совсем еще мальчишка, буйный и похотливый, не имевший ни политического опыта, ни систематического образования, не располагавший никакой достоверной информацией о своей стране, вдруг, буквально в один прекрасный день, превратился в первоклассного государственного деятеля?

Согласитесь, Погодин выдвигал столь достоверную гипотезу, что ее в любом случае следовало бы проверить. Хотя бы потому, что она не только «сняла» роковое для первоэпохи Иванианы раздвоение личности Грозного, но и позволяла перейти от анализа

царской психологии к исследованию политической реальности. В самом деле, если царь оказывался непричастен к великим реформам «голубого» периода и если они, несмотря на это, все-таки проводились, значит, за ними стояла какая-то другая сила, не менее могущественная, чем царь! Короче говоря, логическая проверка гипотезы Погодина, проверка, которой он, увы, не предпринял сам, сулила буквально ошеломляющие выводы относительно всей социальной структуры Московского общества и — главное — механизма управления им, самого типа монархической власти.

Но проверка эта не началась в его время. Не началась и в следующем поколении историков, воспринявшем мощный импульс гегельянства и увязшем в темпераментных состязаниях западников и славянофилов.

7. Концепция «государственной» школы

Еще в 1847 г. К. Д. Кавелин выдвинул новую концепцию русской истории, в основе которой лежал принцип постепенной эволюции общества от родовых отношений к вотчинным, а от вотчинных — к государственным, выступающим — Кавелин был прилежным гегельянцем — как великолепный финал и венец его развития. Государство отныне совмещало в себе и цель истории и ее демиурга. Все, что содействовало его росту и строительству, автоматически оказывалось прогрессивным, все жертвы, принесенные ему, оказывались искупленными, все преступления — оправданными, все прегрешения — нравственными. Государственная необходимость становилась паролем, разрешающим все тайны, все споры, все противоречия.

Соловьев, Чичерин, Милюков уже только варьировали эту главную тему, которая и составила генеральную ось второй эпохи Иванианы, а Киреевский, Хомяков и Аксаков безуспешно пытались ее оспорить...

На стыке вотчинного и государственного периода и нашел себе место в этой концепции Грозный, объявленный первостроителем национального государства, великим борцом против вотчинных отношений, сквозь века прозревавшим предназначение России и через кровавый — что поделаешь? — террор ведущим страну к светлому «государственному» будущему.

Так государственная концепция отвечала на вопросы, поставленные первоэпохой Иванианы, так объясняла она и раздвоение образа Грозного. Просто, — говорит Кавелин, — «Иоанн изнемог, наконец, под бременем тупой, полупатриархальной среды, в которой суждено было ему жить и действовать. Борясь с нею насмерть много лет и не видя результатов, не находя отзыва, он потерял веру в возможность осуществить свои великие замыслы. Тогда жизнь для него стала несносной ношей, непрерывным мучением: он сделался ханжой, тираном и трусом. Иоанн так глубоко пал именно потому, что был велик»¹⁵. Одним словом, зверства свидетельствовали отныне лишь о величии...

Таким образом, проблема Грозного-царя стремительно перерастала из эмпирической и эмоциональной в проблему методологическую. Спор о нем на глазах переставал быть историографическим и становился философским, затрагивающим самые основы мирозерцания русского человека.

8. Неизбежная и прогрессивная опричнина

Кавелин был лишь идеологом «государственной» школы. Он лишь разработал отправные точки той схемы, которую воплотил, подтвердил первоисточниками, орнаментировал историческими событиями и лицами автор гигантской многотомной «Истории России». Конечно, Соловьев отклонялся от абстрактных кавелинских схем. Но в идейном смысле стал он, тем

не менее, просто влиятельным и авторитетным орудием внедрения кавелинской концепции, ее превращения в стереотип общественного сознания. Вот почему во всех случаях, когда Соловьев пытался выскочить из заданных рамок, предписывавших безоговорочное оправдание тирана, когда пытался он стать в позу беспристрастного судьи между спорящими сторонами, получалась у него тривиальная эклектика.

С одной стороны, Грозный выступает у Соловьева пастырем народным и выдающимся национальным лидером. «Государство складывалось, новое сводило счеты со старым... Век задавал важные вопросы, а во главе государства стоял человек, по характеру своему способный приступить немедленно к их решению»¹⁶.

Но зато, с другой стороны, «более чем странно смешение исторического объяснения явлений с нравственным их оправданием». «Иоанн оправдан быть не может». «Вместо целения он усилил болезнь, приучил еще более к пыткам, кострам и плахам, он сеял страшными семенами — и страшна была жатва... Не произнесет историк слова оправдания такому человеку!»¹⁷

Мы находим здесь высокое душевное благородство и нравственную чистоту. Мы находим здесь ужас перед необходимостью искать оправдание очевидному злодейству. И конечно, никогда не поставим мы этого на одну доску с холодными механическими рассуждениями нашего современника И. И. Смирнова о «неизбежности политики опричного террора», о ее «объективной необходимости», о том, что террор этот — «не патология, а политика, имевшая целью физическое истребление наиболее видных представителей враждебных княжеско-боярских родов»¹⁸.

Но не можем мы не сказать и того, что идея «объективной необходимости» опричнины внедрена была в сознание Смирнова самим Соловьевым. И понимание ее как «борьбы нового со старым», ставшее

после Соловьева расхожей исторической монетой, запрограммировано было им самим. Логическая конструкция неумолима. Если цель Грозного — действительно сокрушение вотчинной реакции и строительство национального государства, то вопрос по сути решен. И спорить остается лишь о средствах, о качестве исполнения. Соловьеву не нравится в этом качестве террор, он его оправдать не может, а Смирнову нравится: просто он не сентиментален. Для Соловьева здесь есть нравственная проблема, а для Смирнова — нет.

Знаменателен, с этой точки зрения, комментарий к VI тому «Истории России» Соловьева, переизданному уже в 1960 г. под редакцией акад. Л. В. Черепнина: «Как бы ни были велики все действительные жестокости, с которыми Иван IV осуществлял свою политику, они не могут закрыть того обстоятельства, что борьба против боярско-княжеской знати была исторически обусловленной, неизбежной и прогрессивной»¹⁹. Так чем же, скажите, кроме канцелярского слога и отсутствия нравственных ламентаций отличается это уже совершенно официальное, общепринятое и торжествующее сегодня мнение от точки зрения Соловьева?

9. Капитуляция славянофилов

Дальнейшее движение Иванианы шло по трем основным направлениям. Одно беззастенчиво развивало апологетические тенденции Кавелина, решительно избавляясь от мучительных нравственных сомнений Соловьева. Другое, напротив, пыталось ревизовать «государственный фетишизм». Третье — старалось вычеркнуть опричнину из идеологического опыта общества, из состава его политической культуры, как случайную и несущественную деталь. Самой интересной фигурой в первом направлении является, конечно,

Е. Белов, во втором — К. Аксаков, в третьем — В. Ключевский. О них и пойдет у нас речь.

Нет ничего удивительного, что первыми против государственного идолопоклонства выступили идеологи консервативно-абсолютистской оппозиции, единомышленники Курбского — славянофилы. Да и как было не выступить им против столь грубого нарушения исторического равновесия, когда, согласно их доктрине, «две силы в ее основании, два двигателя и условия во всей русской истории: Земля и Государство»?²⁰ Причем доминирующее, фундаментальное, коренное условие — именно Земля, под которою имеется в виду Народ с большой буквы, Братство, Нравственный союз людей. Государство же, собственно — лишь административная изнанка Земли, лишь ее внешняя ограда, лишь покров и маска, под которой является она чужестранным очам.

Было, однако, важное обстоятельство, которое мешало их критике быть последовательной. Дело в том, что ключевым моментом славянофильской политической концепции являлось представление о времени Петра как о катастрофе русской истории. Именно тогда Государство, призванное охранять первозданную чистоту Земли, предало ее, как часовой, который вместо того, чтобы стрелять по врагу, широко открыл ему ворота родной крепости. «Государство совершает переворот, — объясняет К. Аксаков, — разрывает союз с Землей и подчиняет себе ее», вследствие чего «Россия разделилась надвое»²¹.

Под покровительством предательского государства излучение чуждой культуры бурной волной врывается в страну, ломая и руша, дезинтегрируя ее имманентную структуру. Как видим, деспотизм был нераздельно слит в концепции славянофилов с крушением православной культуры, и освобождение Земли от диктатуры Государства означало для них одновременно и освобождение ее от ига европейской идеологии.

Но как же тогда быть с Грозным, от которого европеизмом и не пахло, который, несомненно, был чудовищным порождением национальной культуры? Явись он после Петра, все было бы ясно — но ведь он был до него! Ведь теоретически он, строго говоря, вообще не существовал, не мог существовать?

Нет, Иваниана не была сильной стороной исторической концепции славянофилов. И не устоять им было против «государственников». Так же, как капитулировала консервативно-абсолютистская оппозиция в XVI веке перед самим Грозным, так преемники ее капитулировали 300 лет спустя перед его апологетами...

10. «Старое» и «новое»

Откровенными похвалами в адрес своих учителей выдают свою школу авторитарии Е. Белов и С. Горский. У Горского вообще есть за душою одна-единственная идея, мимоходом оброненная Соловьевым, идея, которую автор разворачивает в пышный и многогоречивый панегирик. Может, и не стоило бы здесь о ней говорить, если бы не поразительная ее историческая судьба, если бы не оказалась она вдруг основой той самой истинно-научной марксистской оценки Грозного, которая торжествует, как мы видели, и сегодня. Конечно, нынешние апологеты из всех сил будут отрешиваться от родства с глупейшим из реакционеров прошлого века, но язык — язык! — выдает его неопровержимо.

«Иоанн хлопотал о том, чтобы идее государственной дать торжество над началами ей противоположными, хотел воцарить ее в русском обществе... Идея эта поставила Иоанна выше понятий века; она вознесла его на высоту недостижимую, недоступную для современников, а потому неудивительно, что... начали с Иоанном борьбу на жизнь и смерть... Ста-

рое не уступает новому без борьбы... Боярство стремилось сохранить старое. В призыве к этому и заключалась главным образом идеология боярства... Так эпоха создания русского национального государства выступает перед нами как время острой и напряженной борьбы: старого и нового, прогрессивных и реакционных сил...»²² (Разрядка моя. — А. Я.)

Перу Горского принадлежит лишь часть этого пассажа. Остальное — неотъемлемое достояние наших современников, советских историков. Может быть, читателю удастся отыскать в этих цитатах существенное различие, мне этого сделать не удалось...

Далее автор переходит к предмету своего сочинения, к деяниям князя Андрея и соответственно спрашивает, кому верить в споре «стоящего на недостижимой высоте» царя и расхрабдившегося за границей предателя? Ответ Горского беспощаден: «оправдание Иоанна должно иметь надлежащий вес и цену, потому что лучше верить царю, нежели изменнику, который бессовестно клеветает на своего государя»²³.

Но даже и не в этом основное прегрешение Курбского перед Россией. Бдительный автор смотрит глубже, в самую классовую подоплеку событий. И усматривает он там следующее: «какая выгода могла проистечь для России из восстановления обычая боярского совета!.. Какую выгоду могла она извлечь из старинной своей политики... Ничего, кроме гибели и вреда»²⁴.

Замечательное, согласитесь, рассуждение, в простоте своей доверчиво выдающее тайну всей апологии Грозного. Ведь именно борьбы за ограничение власти, за «обычай боярского совета», за социальный контроль над управлением — вот чего не может она простить тогдашней абсолютистской оппозиции, вот что ненавистно ей в Курбском!

Что ж, давайте хоть кратко, по ходу дела, рассмотрим этот вопрос. Действительно, боярские отъ-

езды, местничество, церковные тарханы, «обычай боярского совета» — все это были старинные, исторически сложившиеся и по сути своей феодальные формы ограничения власти, многие из которых и впрямь отжили свой век, стали неадекватны новой эпохе, требовали изменения и переустройства. Об этом спору нет. И когда правительство Избранной рады в первый, «голубой» период царствования Грозного вводило новый Судебник, предусматривавший участие в суде целовальников, т. е. присяжных заседателей, когда оно (оно, а не Грозный!) отменяло наместничьи «кормления», вводя вместо них местное самоуправление, когда оно созывало Земские соборы, когда оно пыталось отменить церковные тарханы и освободить от местничества действующую армию, оно действительно шло по линии модернизации ограничений власти, по линии их адаптации к новым условиям бытия, по линии современного ему европейского абсолютизма.

Но совсем иначе, прямо противоположным образом поставила этот вопрос опричина Грозного. Не о форме ограничений поставила она вопрос, но об их существовании!

Не преобразование ограничений власти, а полная их отмена. Не продолжение абсолютистских реформ Избранной рады, а их сокрушение. Не абсолютизм, но автократия — таков был ее смысл и содержание. Вот почему, с ужасом наблюдая крушение дела своей жизни, наблюдая новую татарщину, мерзость и запустение, неумолимо наступавшие с нею на Русь, так горько цитировал Курбский Цицерона: «Что есть держава? Всякое ли сбирище человеческое?.. Нет державы, если законы в ней ничего не значат, если суды поправны, если обычай отеческий загашен был»²⁵.

Нет, решительно ничего «нового» в этом угашении духа не было: автократическая тенденция существовала — рядом с абсолютистской — в русской по-

литической традиции изначально, от самого Ивана Калиты. Так что никакой новостью автократия на Москве не была. Новостью была лишь окончательная победа этой разбойничьей тенденции над ее абсолютистской соперницей.

Согласитесь, что одно дело — варварская практика князей-собирателей, ходивших под татарами и завоевавших свои призы в ханских прихожих, и другое — политика европейского государства, желавшего стать великой державой. Это понимало правительство Избранной рады. Это понимал Иван III. И не только понимали. И не только воплощали это свое понимание в политическую реальность. Но и опирались при этом на живую абсолютистскую традицию, не менее твердо бытовавшую в русской культуре и связанную как раз с тем уважением к «обычаю боярского совета», которое сокрушал теперь Грозный.

Разве не первый победитель татар Димитрий Донской говорил перед смертью своим боярам: «Я родился перед вами, при вас вырос, с вами княжил, воевал вместе с вами на многие страны и низложил поганых»? Разве не он завещал своим сыновьям: «Слушайтесь бояр, без их воли ничего не делайте»²⁶? И при этом ни Дмитрий, ни Иван III, ни Избранная рада не помышляли превращать Москву в конституционное государство, не помышляли отменять столь обожаемое советскими историками самодержавие: речь шла вовсе не о юридических ограничениях власти, но о защите отеческих преданий и гражданских установлений, служивших единственной гарантией личных и имущественных прав московских граждан. О той самой гарантии, которую громил теперь Грозный, выбрав из двух конкурирующих в национальной культуре традиций — автократическую.

Не между «старым» и «новым», как твердят нам со времен Горского все апологеты, не между «государственным началом» и «вотчинными отношениями»

шла на самом деле борьба в Москве XVI века. Ибо деструктивную, феодально-реакционную «вотчинную» власть отстаивал как раз Грозный, а рациональные, абсолютистские, если угодно, «государственные» принципы управления — его оппоненты. Борьба шла между двумя изначально соперничавшими в русской культуре политическими традициями, между автократией и абсолютизмом — вот что желают запутать, заглушить, замолчать «дворянский реакционер» Горский и его ученики-марксисты.

«Земля строится нами, государи своими, а не судьями и воеводы, — провозгласил теперь Грозный... — и ежели мы различными смертями воевод своих растерзали, с Божьей помощью имеем и еще воевод множество, опричь вас, изменников. А жаловать мы своих холопей вольны, а и казнить их вольны же...»²⁷ Вот какое «новое» нес с собою на самом деле Грозный.

11. Жупел олигархии

Но если сочинение С. Горского — забавный курьез, сохранивший свое историографическое значение лишь потому, что он лег в основу истинно-научной марксистской оценки Грозного, то работа Е. Белова «Об историческом значении русского боярства» — труд вполне профессиональный. Конечно, концепция его эклектична. И все-таки он — единственный из русских историков — попытался доказать реакционность боярства в точных политических терминах.

Две тенденции конкурировали, по его мнению, на Руси в XV-XVII веках, и в двух партиях они воплотились: в «партии дьяков» и в «партии олигархов». Одна была самодержавно-бюрократической, другая — боярско-аристократической. Одна желала сделать Россию «пресветлым царством», другая — второй Польшей, бездарной и бессильной олигархией, обреченной на развал и смуту.

Первый олигархический заговор открывает Белов еще в 1498 г., когда боярская оппозиция заставила, по его мнению, Ивана III венчать на царство не сына (будущего Василия III, отца Грозного), а внука Димитрия. Вот еще с каких, оказывается, пор началась олигархическая интрига против Грозного — когда он и родиться не успел. Но кто же вступился тогда за колебленное самодержавие? Кто устроил контрзаговор в пользу его неограниченности? «Дьяки партии Софьи», — возвещает Белов. «В заговоре не было ни одного боярина», — многозначительно подчеркивает он. И дальше все происходит по той же модели. Самоотверженные представители народа в лице дьяков все время расстраивают реакционные козни бояр-олигархов, стремившихся ограничить благодетельную власть демократического самодержца — до той самой поры, до 3 января 1565 г., когда царь сам оказался в силах произвести опричный переворот, окончательно разгромив мерзких олигархов. «Грозный отвратил от России опасность господства олигархов... Россия превратилась бы во вторую Польшу...»²⁸

Первое, что обращает на себя внимание в интересной концепции Белова, — это откровенная апология дьячества, своего рода московской предбюрократии. Поистине мужественным человеком должен был он быть, если решился воспеть хвалу русскому чиновничеству, широко известному под именем «крапивного семени», политическое ничтожество и свирепая алчность которого вошли в поговорку. К сожалению, автор позабыл указать, в чем же конкретно состояла программа государственного строительства у этой славной «партии дьяков». Что принесла она с собою, воцарившись, наконец, в 1565 г., кроме крепостничества, «Ливонского разгрома» и стыда и позора России? Остается предположить, что программа ее не содержала позитивных элементов, сводясь к отрицательной

цели — не допустить олигархии. Во всяком случае, Белов нам ничего иного не сообщает.

Но зато некоторый свет проливает на это дело один исторический документ, челобитье дворян и детей боярских на Земском соборе 1642 г. Вот что в нем сказано: «А твои государева дьяки и подъячие... будучи беспрестанно у твоих государевых дел и обогатев многим богатством неправедным своим мздоимством, и накупили многие вотчины и дома свои соорили многие, палаты каменные такие, что неудобь сказуемые, блаженной памяти при прежних государех, и у великородных людей домов таких не бывало...»

Что ж, если никаких позитивных государственных целей «партия дьяков» не преследовала, то зато частные свои цели удовлетворяла она, как видим, вполне успешно. Таким образом, оказывалось, что вовсе не обязательно успешно строить государство, чтобы укрепить свое личное благосостояние: «партия дьяков» прекрасно жила и при упадке страны.

Это была та самая влиятельная прослойка канцелярских вельмож, службистов и политических клерков, которая, попав из грязи в князи, действительно ломала боярскую корпоративность, но вовсе не в интересах страны, а в собственных своих корыстных интересах, ломая в ней конкурента, ломая живое ограничение своему мздоимству. Ломая потому, что только так, при автократической неограниченности власти, могла она сама неограниченно и бесконтрольно распоряжаться казенным сундуком.

Народу-то никакой корысти не было от того, что на место князей родовых уселись князья канцелярские, хамы и выскочки, уже в силу своего ренегатства угнетавшие жестче и нестерпимее. Зато автократии корысть была. Это она заинтересована была в слиянии «партии дьяков» с верхним классом, в создании внутри этого класса могущественной, но послушной, как воск, бюрократической фракции, которая всем своим жиз-

ненным положением обязана была власти, в ней одной видела опору и смысл своего существования.

Короче говоря, наличие в составе политической элиты — вместо независимого и государственно мыслящего боярства — социального слоя всецело зависимых от власти бюрократов обеспечивало ей, этой власти, подлинную независимость от всех, в том числе и от верхних классов общественной системы. Вот каковы были спасители России от «олигархической интриги»...

Кстати, об интриге. Так же точно, как не приводит автор никаких свидетельств государственной программы «партии дьяков», так же не в состоянии он привести и доказательства олигархической программы их оппонентов. Больше того, читая книгу Белова, приходим мы вдруг к удивительному выводу: оказывается, он просто именует «олигархией» любое ограничение власти. Просто вся его политическая палитра состоит из двух красок — белой, автократической, и черной, олигархической. Словно бы других политических систем, кроме России и Польши, с которых он «свои картины пишет», на свете и не существовало. Ну, мог же, право, прийти ему на память хоть опыт елизаветинской Англии, что ли, современницы опричной Москвы, где королевская власть ограничена была не только «боярским советом», но и самим парламентом. И что же? Разве превратилась из-за этого Англия в Польшу? Разве превратилась в Польшу абсолютистская Франция, где власть ограничена была не только парижским парламентом, но и провинциальными штатами? Значит, сами по себе ограничения власти ничего общего еще с олигархией не имеют. Значит, не было никогда перед монархической властью необходимости в таком категорическом выборе: либо автократия, либо олигархия. Значит, сама постановка вопроса неправомерна.

«Не для того мы, — как сказано, — здесь, чтобы

проклясть тьму, а для того, чтобы возжечь светильник». И открытие этого столетия, возвращение его русской истории, может быть, ничего, кроме лишних хлопот, не сулящее «истинной науке», переворачивает зато все представления о ней для свободного русского интеллигента. Значит, не от рождения это у нас. Значит, не было этой гнетущей, этой безысходной непрерывности, этого удручающе монотонного однообразия деспотизма. Не было замкнутого круга. Не было азиатски-пустынной и сокрушающей перспективу монополии опричнины. И какими бы закоулками и тупиками ни вела страну Автократия, как бы ни пыталась она отторгнуть интеллект нации от ее инстинктов, общественное сознание от обыденного, как бы ни старалась искалечить и мистифицировать ее политическую культуру, манипулируя ее судьбою, как бы ни желала она наглухо закрыть своею черной тучей ее небо, но там, за тучей — все равно было солнце.

И солнце это, пусть чуть теплое, бледное, средневековое, когда-то ей светило. И тепло этого солнца потихонечку и независимо даже от ее разума обращалось в ее жилах вместе с густою тьмой автократии и не давало ей застыть вечным льдом азиатского деспотизма.

Многие перспективы будут возрождаться с представлением об этом «утраченном рае» европейского абсолютизма в русской истории. Ибо в нем — основа надежды.

(Окончание следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. М., 1960, кн. III, стр. 252.

² Там же, стр. 475.

³ Там же, стр. 537.

⁴ Г. В. Плеханов. Сочинения. М.-Л., 1925, т. XX, стр. 94.

- ⁵ С. М. Соловьев. Цит. соч., стр. 174-175.
- ⁶ С. М. Дьяконов. Власть московских государей. Спб., 1889, стр. 187-188.
- ⁷ Там же, стр. 189.
- ⁸ О России в царствование Алексея Михайловича. Сочиненье Григория Котошихина. Изд. 4-е. Спб., 1906, стр. 53.
- ⁹ И. И. Полосин. Социально-политическая история России XVI — нач. XVII вв. М., 1963, стр. 188.
- ¹⁰ Р. Г. Скрынников. Опричный террор. Л., 1967, стр. 61.
- ¹¹ А. А. Зимин. Опричина Ивана Грозного. М., 1964, стр. 9-10.
- ¹² Там же, стр. 10.
- ¹³ М. М. Щербатов. История Российская с древнейших времен. Спб., 1903, т. 2, стр. 832.
- ¹⁴ Н. К. Михайловский. Иван Грозный в русской литературе. Соч., т. 6, Спб., 1909, стр. 131.
- ¹⁵ К. Д. Кавелин. Сочинения. Т. 1, Спб., 1897, стр. 47.
- ¹⁶ С. М. Соловьев. Цит. соч., стр. 707.
- ¹⁷ Там же, стр. 713.
- ¹⁸ И. И. Смирнов. Цит. соч., стр. 93.
- ¹⁹ С. М. Соловьев. Цит. соч., стр. 756-757.
- ²⁰ К. С. Аксаков. Сочинения исторические. Т. 1, М., 1889, стр. 14.
- ²¹ Там же, стр. 50, 53.
- ²² С. Горский. Жизнь и историческое значение князя А. М. Курбского. Казань, 1856; Д. С. Лихачев. Иван Пересветов и его литературная современность. В кн.: Сочинения И. Пересветова, М.-Л., 1956, стр. 35; И. И. Смирнов. Цит. соч., стр. 18.
- ²³ С. Горский. Цит. соч., стр. 373.
- ²⁴ Там же, стр. 413.
- ²⁵ Е. А. Белов. Об историческом значении русского боярства. Спб., 1886, стр. 30.
- ²⁶ Там же, стр. 29.
- ²⁷ Р. Ю. Виппер. Иван Грозный. Ташкент, 1942, стр. 168.
- ²⁸ Е. А. Белов. Цит. соч., стр. 69, 123, 170.

ЯНОВ Александр Львович — родился в 1934 г. Московский журналист, философ и литератор. Кандидат философских наук — диссертация по славянофилам (1969 г.). Автор ряда опубликованных на родине статей по сельскому хозяйству и «рабочему вопросу», работ по истории России и историософии. В 1974 г. эмигрировал, живет в США. Лектор Куинз-Колледжа и Калифорнийского университета.

ИСТОКИ

Борис Орлов

«ФЕВРАЛЬ СЕМНАДЦАТОГО» В КАНУН НЭПа

Сейчас уже редко кто может восстановить в памяти: и подавление Петроградской забастовки рабочих в 1921 году, и Колпинский расстрел 21-го года...

А. Солженицын. Речь в Вашингтоне
30 июня 1975 г.

Значительность событий не всегда определяется людской памятью или вниманием историков. Время часто стирает в памяти факты, последующие события загораживают их, меняя оценки и искажая перспективу. Страшнее, когда уничтожены люди, так и не успевшие написать воспоминаний, не оставившие следа или хотя бы метины на страницах истории. Тогда воздвигается непроницаемая стена молчания, и нет сил восстановить события прошлого, как бы их и не существовало совсем.

Так произошло с Петроградской забастовкой рабочих в феврале 1921 г, когда, казалось, повеяло в воздухе «февралем 1917 года». Залпы фортов восставшего Кронштадта приглушили впечатление от грандиозного антибольшевистского выступления рабочего класса Петрограда — «колыбели» октябрьского переворота. Сотни питерских рабочих, выразивших недовольство большевистским режимом на четвертом году пролетарской революции, были разметаны по тюрьмам. Мемуаров они не оставили¹.

¹ Несколько страниц забастовке 1921 г. посвятил в своей книге П. Аврич: Paul Avrich. Kronstadt 1921. Princeton, New Jersey, 1970.

Пользуясь скудными источниками и ограниченными газетными сообщениями, восстановим эти полузабытые события со всей возможной полнотой.

Зимой 1921 года Петроград медленно умирал, сломленный голодом, морозами и непрерывными репрессиями. Подвоз топлива и продовольствия почти прекратился. Со дня на день уменьшался и без того невеликий хлебный паек. Далеко не каждый день выдавали по полфунта хлеба и изредка немного сахарного песка. Из-за отсутствия топлива останавливались фабрики и заводы. Попытки вырваться из тисков голодной смерти наталкивались на стену блокады, установленную вокруг города заградительными отрядами ЧК. Поездки в деревню были запрещены, торговля преследовалась.

Рабочие и красноармейцы голодали, но заградительные отряды продолжали свирепствовать на вокзалах и дорогах, ведущих к городу. Из мешков беспощадно вытряхивались продукты, которые удалось выменять в деревне на довоенные обноски. Рабочий, задержанный с мешком картошки для голодающей семьи, рассматривался как спекулянт и мешочник. Участь его определялась на месте уполномоченным ЧК или командиром заградительного отряда. На фабриках и заводах шло глухое брожение, нараставшее с каждым днем.

Развитие событий подхлестнули петроградские власти, усмотревшие выход из кризиса в закрытии предприятий и усилении репрессий. В начале февраля 1921 года президиум Петроградского СНХ признал необходимым закрыть до 1 марта ряд фабрик и заводов в Петрограде. На заседании Петроградского совета 9 февраля 1921 г. председатель СНХ Судаков убеждал собравшихся:

«34 предприятия уже прекратили работу, но этого мало. Придется приостановить ещё несколько десят-

ков фабрик и заводов и мастерских»². Народные избранники откликнулись с готовностью. Постановление пленума Петросовета гласило: работу заводов приостановить; паек рабочим не понижать и сохранить за ними среднюю заработную плату. Последнее было излишним. Понизить паек не представлялось возможным, так как его практически прекратили выдавать. За среднюю же зарплату в голодном Петрограде нельзя было достать и кружки молока.

Закрывая предприятия, партийная верхушка продолжала твердить о трудовой дисциплине и карах за ее нарушение. К этому времени средний процент непосещаемости работ в Петрограде, по официальным данным, составлял 12,5%. На деле — четвертая, а иногда третья часть рабочих не выходила на работу³.

Подлинные размеры грозящей катастрофы скрывались за фальшивыми лозунгами и пустыми обещаниями. Рабочие прекрасно понимали это. Председателю Петроградского совета профсоюзов Анцеловичу на одном из заводов заявили: «Вы лучше нам скажите прямо истинное положение, а не обещайте того, чего выполнить не можете»⁴.

12 февраля «Правда» объявила о закрытии 64 крупнейших предприятий Петрограда, в том числе Путиловского завода, Сестрорецкого, завода «Треугольник» и ряда других. 15 февраля постановление Петросовета о закрытии предприятий вступило в силу. Работу прекращали 27 487 рабочих, из них 17 809 человек — металлистов⁵. Волнения на заводах разрастались. Сходки и собрания обсуждали создавшееся положение. Все требования рабочих сводились, прежде всего,

² «Петроградская правда», № 29, 10 февраля 1921 г.

³ «Петроградская правда», № 33, 15 февраля 1921 г.

⁴ «Петроградская правда», № 35, 17 февраля 1921 г.

⁵ «Петроградская правда», № 37, 19 февраля 1921 г.

к разрешению свободной торговли и снятию заградительных отрядов. Коммунистов не хотели слушать, пишет Федор Дан, меньшевистский лидер, приехавший в начале февраля в Петроград⁶.

В 20-х числах февраля на заводах начались забастовки. Застрельщиком выступил Трубочный завод, прекративший работу 23 февраля после бурного заводского митинга. 24 февраля толпы рабочих заполнили улицы Васильевского острова. Группы бастующих переходили от завода к заводу, останавливая станки и выводя людей на улицу. Удалось остановить работу на Адмиралтейском заводе и сухих доках Галерного островка, табачной фабрике Лаферма и обувной фабрике Скороход, в экспедиции заготовки государственных бумаг, фабрике бывш. Жорж Борман и Электростанции 1886 г. К стачке присоединились Балтийский, Патронный и частично Обуховский заводы. 28 февраля забастовал огромный Путиловский завод (как и многие другие, не подчинившийся решению о закрытии. — Прим. р е д.).

На улицах начались демонстрации, возникали стихийные митинги, выступали свободные от партийной подсказки ораторы. Прорвалось сдерживаемое уздой большевистской диктатуры молчание. На Васильевском острове к рабочим присоединились студенты Горного института, собралась толпа до 2 000 человек. Привлечь к участию в демонстрации солдат не удалось, они оставались в казармах, — но и власти боялись использовать войска для разгона демонстраций, применяя для этой цели «красных курсантов». Постепенно требования рабочих менялись, принимая вполне определенно антикоммунистический характер: от свободы торговли — до свободы слова, свободы выборов в советы и до уничтожения коммунистических ячеек на фабриках и заводах.

⁶ Ф. Дан. Два года скитаний (1919-1921). Берлин, 1922, стр. 105.

«Движение носило такой массовый характер, — замечает Дан, — что отозвалось во всем городе. На Невском, как в былые дни революции, начали собираться небольшие кучки, в которых с небывалой дотоле смелостью громко критиковали большевистский режим. Экспансивные люди уверяли даже, что в воздухе повеяло «февралем 1917 года»⁷.

Оптимизм, основанный на «февральских» аналогиях, проявляли немногие оставшиеся ещё на свободе члены бывшей плехановской группы «Единство». (Группа «Единство», созданная из меньшевиков-оборонцев и носившая наиболее выраженный антибольшевистский характер, организационно в меньшевистскую партию не входила. — Прим. ред.) Они возлагали большие надежды на лозунг Учредительного собрания и были готовы раздуть движение до открытого столкновения с властью. При условии присоединения красноармейцев к рабочим забастовка могла перерасти в попытку вооруженного свержения большевистской власти в Петрограде.

Основания для такой надежды были весьма реальны. Когда власти всё-таки пытались использовать войска для подавления рабочих демонстраций, это кончилось неудачей. Солдаты участвовали в уличных митингах вместе с бастующими питерцами. На Васильевском острове вместо стрельбы по толпе солдаты стреляли в воздух. Позднее, на заседании Петросовета, один из большевистских руководителей, Лашевич, утверждал, что столкновений между воинскими частями и рабочими в городе не было, благодаря выдержке и спокойствию воинских соединений. Он забыл добавить, что целый ряд воинских подразделений держали в казармах на запоре. В некоторых полках у красноармейцев отобрали обувь, под предлогом ее осмотра

⁷ Ф. Дан. Два года скитаний, стр. 106.

и обмена на новую, чтобы войска самовольно не вышли из казармы⁸.

Не питая доверия к красноармейцам, власти пустили в ход против рабочих курсы красных командиров, отряды ЧК и добровольцев из Коммунистического союза молодежи. В городе начались повальные аресты. 26 февраля в Петрограде была арестована группа меньшевиков во главе с Ф. Даном, руководившим тогда Петроградским комитетом партии. Одновременно арестовано 160 человек в Москве, массовые аресты меньшевиков произведены в Самаре, Саратове, Брянске, Одессе и других городах. «Власти, не имея хлеба и опасаясь призрака свобод, пустили в ход машину Чеки»⁹, — замечает один из видных меньшевистских деятелей, Б. Двинов. В Петрограде были арестованы и отправлены в тюрьму не менее 500 рабочих, признанных зачинщиками забастовки. Стачка, однако, не шла на убыль, события принимали всё более грозный оборот.

Напуганные размахом движения, власти срочно принимали меры к его подавлению. 24 февраля Петроградский комитет РКП организовал Комитет Оборона в составе трёх человек: М. Лашевича, члена Реввоенсовета; Д. Аврова, командующего войсками Петроградского военного округа и Н. Анцеловича, председателя совета профсоюзов Петрограда. Фактически Комитет Оборона возглавлял председатель Петросовета Г. Зиновьев.

В каждом районе города создавалась «революционная тройка» для поддержания порядка и принятия энергичных мер в случае дальнейшего развития событий. В тот же день Исполком Петросовета решил объявить в городе военное положение. Приказ об этом

⁸ Там же, стр. 107-108.

⁹ Б. Двинов. От легальности к подполью. (1921-1922). Stanford, California, 1968, p. 29.

был опубликован на следующий день, 25 февраля, за подписями Аврова, Лашевича и коменданта Петроградского укрепленного района Булина.

В соответствии с приказом, с 24 февраля 1921 года в городе воспрещалось хождение по улицам после 11 часов вечера. Запрещались митинги и собрания (как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях) без разрешения Военного совета. Виновных в нарушении приказ грозил привлечь к ответу по всей строгости законов военного времени¹⁰.

Одновременно партийная печать начала пропагандистскую кампанию с целью опорочить рабочих-забастовщиков, скрыть подлинные размеры движения, извратить его причины и характер. 25 февраля «Петроградская правда» писала: «Рабочие давно уже не верят больше в свободу торговли (!), но добиваются, и справедливо, чтобы распределение предметов первой необходимости стало доступнее и проводилось без излишних формальностей. Все злоупотребления, все бюрократические извращения Советского аппарата должны быть отсечены»¹¹. Корни недовольства искали в «отдельных извращениях» аппарата, а не в самой природе коммунистического режима.

Между тем, уже в этот день петроградские рабочие предлагали вместе с извращениями отсечь заодно и режим, их породивший. Пришлось искать иные объяснения происходящим в городе волнениям.

Долго «искать» не пришлось. Еще 24 февраля пресса объявила виновниками забастовки — меньшевиков и эсеров, которые воспользовались топливным кризисом, закрытием предприятий и расстройством в подвозе продовольствия для подрыва советской власти путем устройства стачек, беспорядков и волнений¹².

¹⁰ «Петроградская правда», № 42, 25 февраля 1921 г.

¹¹ «Петроградская правда», № 40, 23 февраля 1921 г.

¹² «Петроградская правда», № 41, 24 февраля 1921 г.

Слово «забастовка» на страницах газет не появлялось. Вместо него в ход были пущены новые термины: «волынка», «буза». Газеты писали: на заводах «кое-где волынят». Печатались резолюции протеста против «волынщиков» от имени «красных курсантов». Уверяли, что вся «волынка» основана на недоразумении.

Поразительно быстро забыла большевистская печать указания своего вождя о массовой стачке как «специфически пролетарском средстве борьбы». «Именно стачка, — говорил Ленин в докладе о революции 1905 года незадолго до Февральской революции, — представляла главное средство раскачивания масс и наиболее характерное явление в волнообразном нарастании решающих событий»¹³. Как же петроградским рабочим, прошедшим школу трех революций, было не вспомнить свое главное и специфическое средство борьбы? Только средство это обращалось теперь против советской власти и стало не пролетарским, а «белогвардейским», не стачкой, а «волынкой».

Не чувствуя перемен в настроении масс и стремительно надвигавшихся изменений в экономической политике режима, партийная пресса не могла, естественно, переварить и главного требования рабочих — свободной торговли. Как заученный урок, твердила «Петроградская правда»: «Рабочие желают смягчения волокиты, извращающей правильные действия советского аппарата, а меньшевики и эсеры пытаются им подsunуть контрреволюционные лозунги, вроде свободной торговли... свободы труда»¹⁴. Где ж было знать, что через две недели большевистский партийный съезд провозгласит «контрреволюционный» лозунг свободной торговли главным принципом нэпа... Но какой дурной глаз усмотрел контрреволюцию в лозунге «свободы труда» — в «республике трудящихся»?

¹³ В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., т. XIX, стр. 345.

¹⁴ «Петроградская правда», № 41, 24 февраля 1921 г.

Обвинения в адрес меньшевиков и эсеров были лишены всякого основания. Малочисленные эсеровские группы никакого влияния на рабочую массу не имели. Меньшевицкая организация, ослабленная арестами, сохранила некоторые связи на заводах, однако Петроградский комитет меньшевиков решил, по возможности, воздержаться от выступлений на заводских собраниях, опасаясь ареста ораторов.

Меньшевики полагали, по старой социал-демократической традиции, что сначала необходимо заняться кружковой работой; наладить связи и закрепить на заводах свои позиции. В дальнейшем, с ростом забастовок и переходом к уличным демонстрациям, меньшевики постановили ни в коем случае не раздувать движение, рекомендовать рабочим не предъявлять слишком радикальных требований и удовлетвориться частичными уступками.

Меньшевики опасались не предвиденных в рабочей среде настроений. Их настораживал, например, случай, рассказанный бывшим плехановцем из группы «Единство». Члены одного рабочего кружка, стоящего на платформе Учредительного собрания, требовали присылки ораторов на уличные собрания. «Только не присылайте евреев», — просил кружок. В этом усматривалось влияние антисемитской агитации на рабочее движение и возможность «будто бы и явно контрреволюционные силы увлечь за собой на путь борьбы за демократию»¹⁵.

Меньшевицких руководителей пугало и стремление представителей группы «Единство» вести движение на открытое столкновение с властью, не останавливаясь при этом перед завязыванием связей со всеми элементами антибольшевицкого лагеря. «В нашей организации, — с негодованием пишет Ф. Дан, — по-

¹⁵ Ф. Дан. Указ. соч. стр. 112.

добным настроениям, разумеется, не могло быть места»¹⁶.

Оперируя понятиями Февраля 17-го года, меньшевики по-прежнему относили и себя и большевиков к одному революционному лагерю. С этой точки зрения, стихийное рабочее движение с антибольшевистскими лозунгами, действительно привлекавшее все антисоветские силы, страшило их больше, чем ужасы большевистской диктатуры. По мнению Ф. Дана, приходилось опасаться, как бы бурный порыв рабочих масс, доведенных до отчаяния голодом и холодом, не был политически использован силами контрреволюции.

Историк меньшевизма С. Волин подтверждает: одним из определяющих элементов меньшевистской политики после октябрьского переворота было опасение, что неорганизованное движение рабочих масс «попадёт в руки разбитых, но ещё не уничтоженных, сил контрреволюции»¹⁷. Марксистское доктринерство не позволяло меньшевикам отнести и себя к числу «разбитых, но ещё не уничтоженных» коммунистической партийной диктатурой сил. «Разъяснительная работа» ЧК помогла, особенно тем, кто оказался в застенках, избавиться от иллюзий и разобраться в происшедшем.

Разумеется, при такой политической позиции возглавить забастовку петроградских рабочих меньшевики и не пытались.

25 февраля, на третий день забастовки, в газетах появилось обращение Петросовета, городского комитета большевиков и совета профсоюзов, призывавшее рабочих «...прийти в себя... подтянуться и гнать в шею подпольных врагов-белогвардейцев». Видимо,

¹⁶ Там же.

¹⁷ С. Волин. Большевики в первые годы НЭПа. Нью-Йорк, 1961, с. 2.

особых надежд на пролетарскую сознательность власти не возлагали, ибо одновременно публиковался упомянутый уже приказ о введении в Петрограде военного положения.

Между тем, аресты в городе не ослабевали, охватывая завод за заводом. Для жалобщиков протесты кончались обычно тюрьмой. Эмма Гольдман описывает протест рабочих Балтийского завода против ареста 22-х своих товарищей. Заявленный Анцеловичу, протест был сразу передан в ЧК, которая устроила набег на завод. В результате снова последовали многочисленные аресты¹⁸.

26 февраля власти созвали расширенный пленум Петросовета, куда пригласили специально подобранных делегатов бастующих заводов и фабрик. Настроение в городе было тревожное, и это отражалось в речах партийной верхушки. Откровенные угрозы сменялись уговорами и обещаниями льгот. Особенно резко прозвучало выступление Лашевича. Не проявляя ни малейшего желания идти на уступки, Лашевич грозил: «Всему есть предел. Петросовет должен твердо заявить, что беспорядки не будут допущены... Железной рукой будет подавлена всякая попытка выйти на улицу»¹⁹. Инициаторы забастовки, рабочие Трубочного завода, были названы «шкурниками и контрреволюционерами». Лашевич предложил объявить локаут и уволить всех рабочих. Увольнение автоматически вело к ликвидации продовольственного пайка, что грозило рабочим и их семьям голодной смертью. Та же зверская мера предлагалась по отношению к бастующим рабочим фабрики Лаферма²⁰.

Комиссар Балтфлота Кузьмин призывал использовать силу в случае продолжения забастовок. Стре-

¹⁸ Emma Goldman. The Crushing of the Russian Revolution. Lnd, 1922, p. 40.

¹⁹ «Петроградская правда», № 44, 27 февраля 1921 г.

²⁰ Правда о Кронштадте. Прага, 1921, стр. 6.

мьясь любым способом дискредитировать рабочее движение, он не удержался от прямой фальсификации происходящих событий: «При ближайшем наблюдении некоторых групп, появлявшихся в разных местах, оказалось, что они состоят главным образом из юнцов, спекулянтов и праздношатающихся. Серьёзных рабочих среди них не было, — заявил он. — Все это было поверхностно и не глубоко и не захватывало широких рабочих масс»²¹. С чего бы тогда военное положение объявлять? Не на «юнцов» же идти облавой красных курсантов?

Опытный демагог Зиновьев о «подстрекателях» молчал, говоря больше о просчетах в заготовке хлеба и топлива. Он сообщил собравшимся новость, только что признанную контрреволюционной: «Имеется в виду заменить хлебную разверстку хлебным налогом, что для крестьянина и для сельского хозяйства является известным облегчением». Излишки продовольствия крестьянин мог продать в условиях свободной торговли. Вырванная тяжкой борьбой трудового народа, мера эта преподносилась как плод мудрости и дальновидности большевизма.

По отношению к бастующим рабочим Петрограда Зиновьев был невиданно уступчив, уговаривая их «не волынить, а откровенно объясниться». Делая вид, что он не в курсе массовых арестов, проводившихся в городе, Зиновьев предлагал рабочим-забастовщикам выйти на трибуну и откровенно поделиться всем. «Для того, чтобы изложить свои нужды, доказать своё мнение, им незачем выходить на улицу», — заключил он.

В таком же духе выступал «всесоюзный староста» Калинин, призывавший рабочих ни в коем случае не выходить на улицу. Страх перед открытым выступ-

²¹ «Петроградская правда», № 44, 27 февраля 1921 г.

лением народных масс и желанием любой ценой успокоить рабочих определили, в конечном счете, текст обращения пленума Петросовета к трудящимся Петрограда.

Обращение характеризовало Петроградскую забастовку как проявление «законного недовольства» со стороны рабочих, чем якобы пытались воспользоваться меньшевики, эсеры и другие белогвардейские элементы. Главный упор делался на практические шаги, предпринятые для того, чтобы ослабить нажим трудящихся и погасить недовольство.

Рабочие добились разрешения свободных поездок в деревню за продовольствием: увеличивалось движение пригородных поездов, снимались заградительные отряды вокруг города.

Власти пытались разъединить недовольных и одновременно частично снять с себя ответственность за их прокормление. С этой целью все рабочие, пришедшие в Петроград по трудовой мобилизации из деревни, немедленно отпускались по домам. Они уносили в охваченную восстаниями деревню обещание отмены продовольственной разверстки и замены ее натуральным хлебным налогом.

На заводах шла спешная раздача хлеба, мяса, зимней одежды и обуви. Однако напряжение в городе не спадало. 28 февраля забастовал Путиловский завод. На улицах расклеивались прокламации. Аресты продолжались с неослабевающей силой. По свидетельству очевидцев, окруженные чекистами группы рабочих следовали в тюрьму среди бела дня у всех на глазах²².

Прокламация, появившаяся 27 февраля без подписи, призывала к освобождению всех арестованных, отмене военного положения, свободе слова, печати и собраний. В прокламации содержалось требование

²² Alexander Berkman. The Bolshevik Myth. (Diary 1920-1922). N. Y. 1925, p. 292.

свободных выборов в завкомы, профсоюзы и советы.

28 февраля на стенах домов в Петрограде была расклеена прокламация, подписанная «Рабочие-социалисты Невского района». Возможно, она принадлежала одной из подпольных эсеровских групп. Прокламация призывала ясно и недвусмысленно: «Долой коммунистов! Долой Советскую власть! Да здравствует Учредительное Собрание!»²³

Прошла неделя, пока власти окончательно овладели положением. Местный гарнизон симпатизировал забастовщикам, и Зиновьев телеграфировал в Москву с просьбой прислать войска. Несколько дней Петроград напоминал завоеванный город. Патрули курсантов стояли на каждом углу, проверяя документы у прохожих. Постепенно репрессии, обещания и уступки сломили забастовку. Одно за другим предприятия Петрограда приступали к работе. Газеты продолжали выкрикивать: «Прекратить волынку, к станкам, на работу!»

Восстание в Кронштадте, начавшееся в первых числах марта 1921 года, сразу переключило внимание на события, угрожавшие самому существованию советской власти. Петроградская забастовка отошла на задний план. В дни Кронштадтского восстания, деморализованные арестами, подачками и обещаниями, рабочие Петрограда не поддержали восставших.

Несомненно, что в уничтожении режима военного коммунизма и изменении экономической политики большевиков февральские события 1921 г. в Петрограде сыграли не меньшую роль, чем Кронштадтское восстание. И не вина в том петроградских рабочих, что историки России не почтили их своим вниманием, а память людская оказалась недолговечной.

Восстановим нашу память...

²³ Alexander Berkman. Die Kronstadt Rebellion. Berlin, «Der Syndikalist», 1923, p. 4-5.

ОРЛОВ Борис — родился в 1930 году в Москве. В 1953 году окончил исторический факультет Московского университета. Работал в Институте стандартизации. В ноябре 1973 года выехал в Израиль. В настоящее время работает в Иерусалимском университете. Напечатал ряд статей в израильских журналах на русском языке по вопросам психологии русских революционеров семидесятых годов XIX века.

ПОПРАВКА

По техническим причинам в список изданий изд-ва «Петлице» («Континент» № 8) не попали следующие книги:

Вацлав Гавел, «Аудиенция» (одноактная пьеса). — Мирослав Зикмунд, Йиржи Ганзелка, «Цейлон — рай без ангелов», части 1 и 2 (путевые заметки с картами и 22 фотографиями; цветные фотографии на обложке). — Ян Паточка, «К философии истории» (философское исследование). — Ярослав Путик, «Красные ягоды» (роман).

ПОБЕГ ИЗ НОЧИ

(Из воспоминаний бывшего секретаря Сталина)

Глава 8

СЕКРЕТАРИАТ СТАЛИНА. ВОЕННЫЕ

Сталинские списки · Товстуха и Мехлис · Борьба за власть продолжается · Троцкий снят с Красной армии · Фрунзе, Ворошилов, Буденный.

Прошел XIII съезд, и Товстуха энергично занимается следующим «полутемным делом». Он забирает «для изучения» все материалы съезда. Но вскоре выясняется, что его интересуют не все материалы, а некоторые. Он изучает их вместе с каким-то темным чекистом, который оказывается специалистом по графологии.

Когда съезжаются делегаты съезда, они являются в мандатную комиссию съезда, которая проверяет их мандаты и выдает членские билеты съезда (с правом решающего голоса или совещательного). При этом каждый делегат съезда должен собственноручно заполнить длиннейшую анкету с несколькими десятками вопросов. Все подчиняются этой обязанности. Пока идет съезд, мандатная комиссия производит статистическую работу анализа анкет и в конце съезда де-

См. «КОНТИНЕНТ», № 8.

ляет доклад: в съезде участвовало столько-то делегатов, столько-то мужчин, столько-то женщин; по социальному происхождению делегаты делятся так-то; по возрасту; по партийному стажу; и так далее, и так далее. Все делегаты понимают необходимость подробных анкет, которые они заполняли.

Но есть одна деталь, которой они не предвидят.

В конце съезда происходит избрание центральных партийных органов (ЦК, ЦКК, Центральной ревизионной комиссии). Перед этим собираются лидеры Центрального Комитета с руководителями главнейших делегаций (Москвы, Ленинграда, Украины и т. д.). Это — так называемый «сеньорен-конвент», который все называют в просторечии не иначе как «синий конверт». Он вырабатывает в спорах проект состава нового Центрального Комитета. Этот список печатается, и каждый делегат с правом решающего голоса получает один экземпляр списка. Этот экземпляр является избирательным бюллетенем, который будет опущен в урну при выборах ЦК, производящихся тайным голосованием. Но то, что есть только один список, вовсе не значит, что делегаты обязаны за него голосовать. Здесь партия, а не выборы советов. В партии еще некоторая партийная свобода, и каждый делегат имеет право вычеркнуть из списка любую фамилию и заменить ее любой другой по своему выбору (которую, заметим кстати, он должен написать своей рукой). Затем производится подсчет голосов. Очень мало шансов, чтобы намеченный «синим конвертом» оказался невыбранным; для этого нужен маловероятный сговор важных делегаций (столичных и других). Но хотя список весь обычно проходит, количество поданных голосов за выбранных варьирует в широких пределах. Если, скажем, делегатов 1000, то наиболее популярные в партии люди пройдут с 950-970 голосами, а наименее приемлемые не соберут и 700. Это очень замечается и учитывается.

Что совсем при этом не учитывается и что никому не известно — это работа Товстухи. Больше всего интересует Товстуху (т. е. Сталина), кто из делегатов в своих избирательных бюллетенях вычеркнул фамилию Сталина. Если б он ее только вычеркнул, его имя осталось бы неизвестным. Но вычеркнув, он должен был написать другую фамилию, и это дает данные о его почерке. Сравнивая этот почерк с почерками делегатов по их анкетам, заполненным их рукой, Товстуха и чекистский графолог устанавливают не только тех, кто голосовал против Сталина (и, следовательно, его скрытый враг), но и кто голосовал против Зиновьева, и кто против Троцкого, и кто против Бухарина. Все это для Сталина важно и будет учтено. А в особенности, кто скрытый враг Сталина. Придет время — через десяток лет — все они получают пулю в затылок. Товстуха prepares сейчас списки для будущей расплаты. А товарищ Сталин никогда ничего не забывает и никогда ничего не прощает.

Чтобы все сказать об этой работе Товстухи, я должен несколько забежать вперед. После XIII съезда партии, и в 1925, и в 1926, и в 1927 годах продолжается та же внутрипартийная свобода, идет борьба с оппозицией в комитетах, на ячейках, на собраниях организаций, на собраниях партактива. Лидеры оппозиции яро приглашают своих сторонников выступать как можно больше, атаковать Центральный Комитет — этим они подчеркивают силу и вес оппозиции.

Что меня удивляет, это то, что после XIV съезда Сталин и его новое большинство ЦК ничего не имеет против этой свободы. Это, казалось бы, совсем не в обычаях Сталина: проще запретить партийную дискуссию — вынести постановление пленума ЦК, что споры вредят партийной работе, отвлекают силы от полезной строительной деятельности и т. д.

Впрочем, я уже достаточно знаю Сталина и догадываюсь, в чем дело. Окончательное подтверждение я

получаю в разговоре, который я веду со Сталиным и Мехлисом. Мехлис держит в руках отчет о каком-то собрании партийного актива и цитирует чрезвычайно резкие выступления оппозиционеров. Мехлис негодует: «т. Сталин, не думаете ли вы, что тут переходят всякую меру, что напрасно ЦК позволяет так себя открыто дискредитировать? Не лучше ли это запретить?» Сталин усмехается: «Пускай разговаривают! Пускай разговаривают! Не тот враг опасен, который себя выявляет. Опасен враг скрытый, которого мы не знаем. А эти, которые все выявлены, все учтены, все переписаны — время счетов с ними придет».

Это — следующая «полутемная» работа Товстухи. В своем кабинете в «Институте Ленина» он составляет списки, длинные списки людей, которые сейчас так наивно выступают против Сталина. Они думают: «Сейчас мы против, завтра, может быть, будем за Сталина — в партии была, есть и будет внутренняя свобода». Они не понимают, что Сталин у власти дает им возможность подписать свой смертный приговор: через несколько лет по спискам, которые сейчас составляет Товстуха, будут расстреливать пачками, сотнями, тысячами. Велика людская наивность.

Как я себя чувствую в секретариате Сталина — этом пункте редкой важности? Я не питаю ни малейшей симпатии ни к Каннеру, ни к Товстухе. О Каннере я думаю, что это опасная змея, и отношения у меня с ним чисто деловые. Видя мою карьеру, он старается держаться со мной очень любезно. Но никаких иллюзий у меня нет. Если завтра Сталин сочтет за благо меня ликвидировать, он поручит это Каннеру, и Каннер найдет соответствующую технику. Для меня Каннер — преступный субъект, и то, что он так нужен Сталину, немало говорит и о «хозяине», как любят его называть Мехлис и Каннер. Внешне Каннер всегда весел и дружелюбен. Он — небольшого роста, всегда в сапогах (неизвестно почему), черные волосы барашком.

Товстуха (Иван Павлович) — высокий, очень худой интеллигент, туберкулезник; от туберкулеза он и умрет в 1935 году, когда расстрел по его спискам только начнется. Жена его тоже туберкулезница. Ему лет 35-36. До революции он был эмигрантом, жил за границей, вернулся в Россию после революции. Неизвестно почему он стал в 1918 году секретарем Народного Комиссариата по Национальностям, где Сталин был наркомом (правда, ничего там не делая). Оттуда он перешел в аппарат ЦК, еще до того, как Сталин стал генсеком. Когда в 1922 г. Сталин стал генсеком, он взял Товстуху в свои секретари, и практически до самой своей смерти Товстуха был в сталинском секретариате, выполняя важные «полутемные дела», хотя в то же время формально он был, как я уже говорил, и помощником директора Института Ленина, а потом Института Маркса, Энгельса и Ленина. В 1927 г. Сталин сделает его своим главным помощником (я в это время уже не буду в секретариате, а Мехлис уйдет учиться в Институт Красной Профессуры). Тогда под его началом в секретариате Сталина будет и Поскребышев, который будет заведывать так называемым Особым Сектором, а после смерти Товстухи займет его место; и Ежов, который будет заведывать «сектором кадров» сталинского секретариата (это он будет продолжать списки Товстухи; это он через несколько лет, став во главе ГПУ, будет расстреливать по этим спискам и зальет страну новым морем крови, конечно, по высокой инициативе своего шефа, великого и гениального товарища Сталина); и Маленков, секретарь Политбюро (которого все же из осторожности будут называть «протокольным секретарем Политбюро») и заместитель Поскребышева по Особому Сектору; он заменит потом Ежова, как начальник сектора кадров.

По мере того, как Сталин все более и более будет становиться единоличным диктатором, этот его секре-

тариат будет играть все более важную роль. Придет момент, когда в аппарате власти будет менее важно, что вы — председатель Совета министров или член Политбюро, чем то, что вы — сталинский секретарь, который имеет к нему постоянный доступ.

Товстуха — мрачный субъект, смотрит исподлобья. Глухо покашливает — у него только пол-легкого. Сталин питает к нему полное доверие. Ко мне он относится осторожно (уж очень блестящую карьеру делает этот юноша), но не может мне простить, что я заменил его (и Назаретяна) на посту секретаря Политбюро и продолжаю быть в самом центре событий, а он вынужден где-то за кулисами вести для Сталина какую-то грязную работу. Один раз он пытался меня укусить. Он говорит Сталину (не в моем присутствии, а при Мехлисе, который мне потом это рассказал): «Почему Бажанов называется секретарем Политбюро? Это вы, товарищ Сталин — секретарь Политбюро. Бажанов же имеет право только называться техническим секретарем Политбюро». Сталин ответил уклончиво: «Конечно, ответственный секретарь Политбюро, выбранный Центральным Комитетом, это я. Но Бажанов выполняет очень важную работу и разгружает меня от многого».

Я Товстуху не люблю — это темный субъект, завистливый интриган, готовый на выполнение самых скверных поручений Сталина.

Лев Захарович Мехлис возраста Товстухи. После гражданской войны он перешел в Нар.Ком.Раб.Крест. Инспекции, другой наркомат, во главе которого стоял, ничего в нем не делая, Сталин; отсюда Сталин берет его в свои секретари в ЦК в 1922 году. Мехлис порядочнее Каннера и Товстухи, он избегает «темных» дел. Он даже создает себе удобную маску «идейного коммуниста». Я в нее не очень верю, я вижу, что он — оппортунист, который ко всему приспособится. Так оно и произойдет. В будущем никакие сталинские пре-

ступления его не смутят. Он будет до конца своих дней безотказно служить Сталину, но будет при этом делать вид, будто бы в сталинское превосходство верит. Сейчас он личный секретарь Сталина. Хороший оппортунист, он принимает все и всему подчиняется, принимает и мою карьеру и старается установить со мной дружелюбные отношения. В 1927 году Товстуха его выживет из сталинского секретариата. Он уйдет на три года учиться в Институт Красной Профессуры. Но в 1930 году он придет к Сталину и без труда докажет ему, что центральный орган партии «Правда» не ведет нужную работу по разъяснению партии, какую роль играет личное руководство Сталина. Сталин сейчас же назначит его главным редактором «Правды». И тут он окажет Сталину незаменимую услугу. «Правда» задает тон всей партии и всем партийным организациям. Мехлис в «Правде» начнет изо дня в день писать о великом и гениальном Сталине, о его гениальном руководстве. Сначала это произведет странное впечатление. Никто Сталина в партии гением не считает, в особенности те, кто его знает.

В 1927 году я не раз заходил в ячейку Института Красной Профессуры. Это был резерв молодых партийных карьеристов, которые не столько изучали науки и повышали свою квалификацию, сколько изучали и рассчитывали, на какую лошадь поставить в смысле делания своей дальнейшей карьеры. Потешаясь над ними, я говорил: «Одного не понимаю. Почему никто из вас не напишет книги о сталинизме. Хотел бы я видеть такой Госиздат, который эту книгу не издаст немедленно. Кроме того ручаюсь, что не больше чем через год автор книги будет членом ЦК». Молодые карьеристы морщились: «Чего? О сталинизме? Ну, ты уж скажешь такое — циник». (Должен заметить, что говорил я это из чистого озорства: я был в это время убежденным врагом коммунизма и подготавливал свое бегство за границу).

В 1927 году «сталинизм» — это казалось неприличным. В 1930 году время пришло, и Мехлис из номера в номер «Правды» задавал тон партийным организациям: «под мудрым руководством нашего великого и гениального вождя и учителя Сталина». Это нельзя было не повторять партийным аппаратчикам на ячейках. Два года такой работы, и уже ни в стране, ни в партии о товарище Сталине нельзя было говорить, не прибавляя «великий и гениальный». А потом разные старатели изобрели и много другого: «отец народов», «величайший гений человечества» и т. д.

В 1932 году Сталин снова возьмет в свой секретариат Мехлиса. Но Товстуха Сталину все же удобнее, и Сталин постепенно пустит Мехлиса по советской линии. Перед войной он будет начальником ПУРа (Политического Управления Красной Армии), потом народным комиссаром Государственного Контроля, во время войны членом Военных Советов армий и фронтов (где он будет настоящим сталинцем — ни перед чем не отступающим неукротимым пожирателем красноармейских жизней), после войны снова министром Государственного Контроля. Умрет он в собственной кровати в том же году, что и Сталин.

Сталинский секретариат растет и играет все более важную роль. Но основная битва Сталина за власть еще не выиграна. Только что, в мае 1924 года, Зиновьев и Каменев спасли Сталина, а он уже думает, как их предать.

На XIII съезде произошел забавный эпизод. Чтобы продемонстрировать стране, что трудящиеся будто бы с благодарностью принимают мудрое руководство партии, на съезде было впервые инсценировано выступление беспартийных делегаций (в следующие годы это стало обычным спектаклем). Для начала выпустили беспартийную делегацию рабочих текстильной фабрики Москвы, известной Трехгорки (Трехгорная Текстильная Мануфактура). Как следует настрополили

бойкую бабу с хорошо подвешенным языком, и она с трибуны съезда превосходно оттараторила и о мудром руководстве великой большевистской партии, и о том, что «мы, беспартийные рабочие, всецело одобряем и поддерживаем наших старших руководящих партийных товарищей и т. д.» Но замысел другой тут был. Ее, собственно, выпустили не для этого. Нужно было подчеркнуть стране, что ее ведут новые вожди. До сих пор обычный лозунг был: «да здравствуют наши вожди Ленин и Троцкий». Теперь надо было показать, что массы идут за новыми вождями. И хотя ловкую бабу учили и подготавливали, и казалось бы, она все хорошо усвоила, а получился конфуз. «А в заключение скажу: да здравствуют наши вожди: товарищ (несколько неуверенно) Зиневьев, и... (после некоторого раздумья, и обращаясь в сторону президиума) извиняюсь, кажется, товарищ Камынов». Съезд бурно смеялся, и в особенности Сталин. Каменев в президиуме кисло улыбался. Кстати, организаторам и в голову не пришло включить в число «вождей» Сталина. Это бы показалось еще смехотворным.

Между тем, поскольку ни на предсъездовском пленуме, ни на съезде Троцкий против Сталина лично не выступал, Сталину пришлось в голову, нельзя ли сманеврировать: Зиновьев и Каменев были широко использованы для удаления Троцкого; нельзя ли теперь использовать Троцкого для ослабления Зиновьева и Каменева. Сталин произвел пробу — она не удалась.

17 июня на курсах секретарей уездных комитетов при ЦК Сталин сделал доклад, в котором довольно ясно объявил своим будущим аппаратчикам, что диктатура пролетариата сейчас в сущности заменяется диктатурой партии. Но в то же время не называя Зиновьева и Каменева, направил огонь против них, обвиняя их в разных ошибках.

Зиновьев реагировал очень энергично. По его требованию было немедленно созвано совещание «руко-

водящих партийных работников» (членов Политбюро и 25 членов ЦК), на котором Зиновьев и Каменев поставили вопрос ребром — и об атаке против них, и о сталинском тезисе о «диктатуре партии», как явной ошибке. Совещание, конечно, сталинский тезис осудило, и осудило сталинское выступление против двух остальных членов тройки. Сталин увидел, что поторопился и совершил ошибку. Он заявил, что подает в отставку со своего поста генерального секретаря. Но совещание приняло это за формальную демонстрацию и отставки не приняло.

С другой стороны, Зиновьев и Каменев поняли сталинский маневр в сторону Троцкого и усилили атаки против Троцкого, требуя его исключения из партии. Но большинства в ЦК за исключение Троцкого не было. Зиновьев попробовал через своих молодцов выпустить на арену ЦК комсомола, который вдруг потребовал исключения Троцкого. Но тут Политбюро решительно вернулось к своей догме — это не дело комсомольского ума вмешиваться в политику, и в назидание разогнало ЦК комсомола, удалив из его состава полтора десятка руководящих работников.

Забавно, что в это время в ЦК Сталин тормозил атаки Зиновьева и Каменева против Троцкого. Зато в Коминтерне у Зиновьева была своя рука владыка, и на 5-м Конгрессе Коминтерна, который произошел в конце июня — начале июля 1924 г., была проведена резолюция «по русскому вопросу» против Троцкого, а болгарин Коларов, который наиболее отличался в нападениях на Троцкого, был Зиновьевым выдвинут в генеральные секретари Исполкома Коминтерна.

Но до конца года в борьбе против Троцкого внешне наступило некоторое затишье. Летом была засуха, урожай был очень плохой. В августе произошло восстание в Грузии. В Политбюро шли споры о политике по отношению к крестьянству. Строго говоря, Политбюро не знало, какую политику по отношению к крестьянству

принять. Политбюро хотело вступить на путь индустриализации страны. За какой счет ее производить; то есть за счет кого? (Постановка вопроса классически большевистская: чтобы что-то сделать, надо кого-то ограбить.) Ортодоксальные коммунисты во главе с Преображенским предлагали произвести «первоначальное социалистическое накопление» за счет крестьянства. Политбюро колебалось. Обсуждение проблемы на пленуме ЦК в конце октября ничего не дало, несмотря на принятие пышных деклараций о повороте «лицом к деревне». Захватить в свои руки деревню при помощи коллективизации, согнав крестьян в колхозы? Тут вспомнили, что еще недавно, в одной из своих последних статей, в статье «О кооперации», продиктованной 4 и 6 января 1923 г. и опубликованной в «Правде» в конце мая, Ленин поставил вопрос о колхозах, но имел в виду только добровольное создание колхозов; на пленуме ЦК 26 июня 1923 г. этот вопрос обсуждался и ленинская директива была принята. Но Зиновьев и Каменев особенных результатов в это время ни от совхозов, ни от колхозов не ожидали, а Сталин вообще по этому поводу еще никакого мнения не имел.

Но в конце года центр внимания партийной жизни вдруг неожиданно опять перешел на борьбу с Троцким. Сталин от своей идеи использовать Троцкого против союзников отказался. А Троцкий написал книгу «1917», в предисловии к которой, названном «Уроки Октября», он энергично атаковал Зиновьева и Каменева, доказывая, что их поведение в октябре 1917 года (когда они, как известно, были против октябрьского вооруженного переворота), было отнюдь не случайно и что эти люди ни в какой мере не обладают качествами вождей революции. Эти «Уроки Октября» Троцкий опубликовал в виде статьи в газетах. После этого Зиновьев и Каменев предложили снова мир и союз Сталину. Сталин поспешил согласиться, и тройка

опять на время восстановилась. Кстати, в это время у Сталина произошел некоторый кризис — неуверенность в своих силах. Он увидел, что сделал ряд промахов, перенося бой на линию политической стратегии, где он был слаб; подействовало на него и восстание в Грузии, бывшее явным результатом его грузинской национальной политики. Тут Сталин убедился, что не по линии большой политики (а как быть с деревней?) победит он соперников, а по вполне верной испытанной линии подбора своих людей и захвата большинства в Центральном Комитете; а пока это не будет сделано, надо маневрировать и тянуть.

Наоборот, Зиновьев в тройке яростно требовал окончательного свержения Троцкого. В январе 1925 года произошел пленум ЦК, на котором Зиновьев и Каменев предложили исключить Троцкого из партии. Сталин выступил против этого предложения, разыгрывая роль миротворца. Сталин уговаривал пленум не только не исключать Троцкого из партии, но и оставить его и членом ЦК и членом Политбюро. Правда, выступления и политические позиции Троцкого были осуждены. Но, главное, наступил момент, чтобы удалить его от Красной Армии. Замена ему была давно подготовлена в лице его заместителя Фрунзе. Фрунзе Сталина не очень устраивал, но Зиновьев и Каменев были за него, и в результате длинных предварительных торгов на тройке Сталин согласился — назначить Фрунзе на место Троцкого Наркомвоеном и председателем Реввоенсовета, а Ворошилова — его заместителем.

Ворошилов после гражданской войны не без противодействия Троцкого был назначен командующим второстепенным Северо-Кавказским Военным Округом, но Сталин неуклонно следил за его выдвижением, и в результате последних реорганизаций военного ведомства в этом году он был уже командующим одним из самых важных военных округов — Москов-

ским. Сталин предложил пленуму, чтобы оставляя Троцкого членом ЦК и Политбюро, ему одновременно сделали предупреждение — «если он будет продолжать свою фракционную деятельность, то тогда он будет из Политбюро и из ЦК удален». Сняв его с поста наркомвоена, пленум назначил его председателем Главконцесскома и председателем Особого совещания при ВСНХ по качеству продукции.

Назначения эти были и провокационны, и комичны. Во главе Главконцесскома Троцкий должен был обсуждать с западными капиталистами проекты предлагаемых им промышленных концессий внутри СССР. Между тем в Политбюро давно известно и для себя твердо установлено, что концессии эти были ничем иным, как грубыми жульническими ловушками. Западным капиталистам предлагались концессии на очень заманчиво выглядевших и внешне очень выгодных условиях. Условия договора хорошо соблюдались, пока концессионер ввозил и устанавливал в России машины и оборудование и пускал предприятие в ход. Вслед за тем при помощи любого трюка (каковых трюков у властей было сколько угодно) концессионер ставился в условия, при которых он договор выполнять не мог, договор расторгался, и ввезенное оборудование и налаженное предприятие переходили в собственность советского государства (я дальше расскажу подробно об одном из таких фокусов с Лена Гольдфильдс, потому что эта история имела неожиданные и забавные последствия). Собственно, для этого трюк с концессиями и был создан. Троцкий мало подходил для этих мошеннических операций — поэтому, вероятно, его туда и назначили.

Еще меньше он подходил для наблюдения за качеством продукции советских заводов. Блестящий оратор и полемист, трибун трудных переломных моментов, он был смешон в качестве наблюдателя за качеством советских штанов или гвоздей. Впрочем, он сде-

лал попытку добросовестно выполнить и эту задачу, возложенную на него партией; создал комиссию специалистов, объехал с ней ряд заводов и представил результаты изучения Высшему Совету Народного Хозяйства; заключения его никаких последствий, понятно, не имели.

Во главе военного ведомства стал Фрунзе. Надо сказать, что еще в мае 1924 года были добавлены три кандидата в члены Политбюро: Фрунзе, Сокольников и Дзержинский.

Старый революционер, видный командир гражданской войны, Фрунзе был очень способным военным. Человек очень замкнутый и осторожный, он производил на меня впечатление игрока, который играет какую-то большую игру, но карт не показывает. На заседаниях Политбюро он говорил очень мало и был целиком занят военными вопросами.

Уже в 1924 году, как председатель комиссии ЦК по обследованию состояния Красной Армии, он доложил в Политбюро, что Красная Армия в настоящем своем виде совершенно не боеспособна, представляет скорее распущенную банду разбойников, чем армию, и что ее надо всю распустить. Это и было проделано, к тому же в чрезвычайном секрете. Оставлены были только кадры — офицерские и унтер-офицерские. И новая армия была создана осенью из призванной крестьянской молодежи. Практически в течение всего 1924 года у СССР не было армии; кажется, Запад этого не знал.

Второе глубокое изменение, которое произвел Фрунзе, — он добился упразднения института политических комиссаров в армии; они были заменены помощниками командиров по политической части с функциями политической пропаганды и без права вмешиваться в командные решения. В 1925 г. Фрунзе дополнил все это перемещениями и назначениями, которые привели к тому, что во главе военных округов,

корпусов и дивизий оказались хорошие и способные военные, подобранные по принципу их военной квалификации, но не по принципу их коммунистической преданности.

Я был уже в это время скрытым антикоммунистом. Глядя на списки высшего командного состава, которые провел Фрунзе, я ставил себе вопрос: «Если бы я был на его месте, такой, как я есть, антикоммунист, какие кадры привел бы я в военную верхушку?» И я должен был себе ответить: «именно эти». Это были кадры, вполне подходившие для государственного переворота в случае войны. Конечно, внешне это выглядело и так, что это были очень хорошие военные.

Я не имел случая говорить со Сталиным по этому поводу, да и не имел ни малейшего желания привлечь его внимание к этому вопросу. Но при случае я спросил у Мехлиса, приходилось ли ему слышать мнение Сталина о новых военных назначениях. Я делал при этом невинный вид: «Сталин ведь всегда так интересуется военными делами». — «Что думает Сталин?» — ответил Мехлис. — Ничего хорошего. Посмотри на список: все эти Тухачевские, Корки, Уборевичи, Авксентьевские — какие это коммунисты? Все это хорошо для 18 брюмера, а не для Красной Армии». Я поинтересовался: «Это ты от себя, или это — сталинское мнение?» Мехлис надулся и с важностью ответил: «Конечно, и его, и мое».

Между тем Сталин вел себя по отношению к Фрунзе скорее загадочно. Я был свидетелем недовольства, которое он выражал в откровенных разговорах внутри тройки по поводу этого назначения. А с Фрунзе он держал себя очень дружелюбно, никогда не критиковал его предложений. Что бы это могло значить? Не было ли это повторение истории с Углановым (о которой я расскажу дальше), т. е. Сталин делает вид, что против зиновьевского ставленника Фрунзе, а

на самом деле заключил с ним секретный союз против Зиновьева. На это не похоже. Фрунзе не в этом роде, и ничего общего со Сталиным у него нет.

Загадка разъяснилась только в октябре 1925 года, когда Фрунзе, перенеся кризис язвы желудка (от которой он страдал еще от времен дореволюционных тюрем), вполне поправился. Сталин выразил чрезвычайную заботу о его здоровье. «Мы совершенно не следим за драгоценным здоровьем наших лучших работников». Политбюро чуть ли не силой заставило Фрунзе сделать операцию, чтобы избавиться от его язвы. К тому же врачи Фрунзе операцию опасной отнюдь не считали.

Я посмотрел иначе на все это, когда узнал, что операцию организует Каннер с врачом ЦК Погосянцем. Мои неясные опасения оказались вполне правильными. Во время операции хитроумно была применена как раз та анестезия, которой Фрунзе не мог вынести. Он умер на операционном столе, а его жена, убежденная в том, что его зарезали, покончила с собой. Общеизвестна «Повесть о непогашенной луне», которую написал по этому поводу Пильняк. Эта повесть ему стоила дорого.

Почему Сталин организовал это убийство Фрунзе? Только ли для того, чтобы заменить его своим человеком — Ворошиловым? Я этого не думаю: через год-два, придя к единоличной власти, Сталин мог без труда провести эту замену. Я думаю, что Сталин разделял мое ощущение, что Фрунзе видит для себя в будущем роль русского Бонапарта. Его он убрал сразу, а остальных из этой группы военных (Тухачевского и прочих) расстрелял в свое время.

Троцкий в своей книге «Сталин» категорически отрицает мою догадку о Фрунзе, но он искажает мою мысль. Он приписывает мне утверждение, что Фрунзе стоял во главе военного заговора. Я никогда ничего подобного не писал (тем более, что совершенно оче-

видно, что никакие заговоры в это время в советской России не были возможны). Я писал, что Фрунзе, по моему, изжил свой коммунизм, стал до мозга костей военным и ожидал своего часа. Ни о каком заговоре здесь нет и речи.

Но едва ли стоит по этому поводу спорить с Троцким — он отличался поразительным непониманием людей и поразительной наивностью. Дальше, говоря о нем, я приведу относящиеся сюда факты.

Конечно, после смерти Фрунзе руководить Красной Армией был посажен Ворошилов. После XIV съезда в январе 1926 г. он стал и членом Политбюро. Это был очень посредственный персонаж, который еще во время гражданской войны пристал к Сталину и всегда поддерживал Сталина во время бунта сталинской вольницы против твердой организаторской руки Троцкого. Его крайняя ограниченность была в партии общеизвестна. Слушатели исторического отделения Института Красной Профессуры острили: «Вся мировая история разделяется на два резко отграниченных периода: до Климения Ефремовича, и после». Он был всегда послушным и исполнительным подручным Сталина, и служил еще некоторое время для декорации и после сталинской смерти.

Вся сталинская военная группа времен гражданской войны пошла вверх. В ней трудно найти какого-либо способного военного. Но уже умело оркестрированная пропаганда некоторых из них произвела в знаменитости, например, Буденного.

Это был очень живописный персонаж. Типичный вахмистр царской армии, хороший кавалерист и рубака, он оказался в начале гражданской войны во главе кавалерийской банды, сражавшейся против белых. Во главе — формально — манипулировали бандой несколько коммунистов. Банда разрасталась, одерживала успехи — конница была танками этих годов. В

какой-то момент Москва, делавшая ставку на конницу, занялась вплотную Буденным.

Троцкий в это время бросил лозунг «Пролетарий, на коня», звучавший довольно комично своей напыщенностью и нереальностью. Дело в том, что хорошую конницу составляли люди степей — прирожденные кавалеристы, как, например, казаки. Можно было еще посадить на коня крестьянина, который, не будучи кавалеристом, все же лошадь знал, привык к ней и умел с ней обращаться. Но городской рабочий («пролетарий») на коне был никуда. Лозунг Троцкого звучал смешно.

В какой-то момент Буденный в знак внимания получил из Москвы подарки: автомобиль и партийный билет. Несколько встревоженный Буденный созвал главарей своей банды. «Вот, братва, — доложил он, — прислали мне из Москвы автомобиль и вот это», — тут бережно, как хрупкую китайскую вазочку, положил он на стол партийный билет. Братва призадумалась, но по зрелом размышлении решила: «Автомобиль, Семен, бери; автомобиль — это хорошо; а «это» (партбилет), знаешь, хай лежить; он хлеба не просит». Так Буденный стал коммунистом.

Банда Буденного скоро разрослась в бригаду, потом в конный корпус. Москва дала ему комиссаров и хорошего начальника штаба. Повышаясь в чинах и будучи командующим, Буденный в операционные дела и в командование не вмешивался. Когда штаб спрашивал его мнение по поводу задуманной операции, он неизменно отвечал: «А это вы как знаете. Мое дело — рубать».

Во время гражданской войны он «рубал» и беспрекословно слушался приставленных к нему и командовавшим им Сталина и Ворошилова. После войны он был сделан чем-то вроде инспектора кавалерии. В конце концов как-то решили его пустить на заседание

знаменитого Политбюро. Моя память точно сохранила это забавное событие.

На заседании Политбюро очередь доходит до вопросов военного ведомства. Я распоряжаюсь впустить в зал вызванных и в том числе Буденного. Буденный входит на цыпочках, но сильно грохоча тяжелыми сапогами. Между столом и стеной проход широк, но вся фигура Буденного выражает опасение — как бы чего не свалить и не сломать. Ему указывают стул рядом с Рыковым. Буденный садится. Усы у него торчат, как у таракана. Он смотрит прямо перед собой и явно ничего не понимает в том, что говорится. Вот поди ж ты, это и есть то знаменитое Политбюро, которое, говорят, все может, даже превратить мужчину в женщину. Между тем с делами Реввоенсовета кончено. Каменев говорит: «Со стратегией покончили. Военные люди свободны». Сидит Буденный, не понимает таких тонкостей. И Каменев тоже чудак: «Военные люди свободны». Вот если бы так: «Товарищ Буденный! Смирно! Правое плечо вперед, шагом марш!» Ну тогда все было бы понятно. Тут Сталин — с широким жестом гостеприимного хозяина: «Сиди, Семен, сиди». Так, выпучив глаза и по-прежнему глядя прямо перед собой, просидел Буденный еще 2-3 вопроса. В конце концов я ему объяснил, что пора уходить.

Потом Буденный стал маршалом, а в 1934 году даже вошел в Центральный Комитет партии. Правда, это был ЦК сталинского призыва, и если бы Сталин обладал чувством юмора, он бы заодно, по примеру Калигулы, мог бы ввести в Центральный Комитет и буденновского коня. Но Сталин чувством юмора не обладал.

Надо добавить, что во время советско-германской войны ничтожество и Ворошилова и Буденного после первых же операций стало так очевидно, что Сталину пришлось их отправить на Урал готовить резервы.

Глава 9

СТАЛИН

Сталин. Характер. Качества и недостатки. Карьера. Аморальность. Отношение к сотрудникам и ко мне. Надя Аллилуева. Яшка.

Пора поговорить о товарище Сталине. Теперь я его хорошо знаю, даже, пожалуй, очень хорошо.

Внешность Сталина достаточно известна. Только ни на одном портрете не видно, что у него лицо изрыто оспой. Лицо невыразительное, рост средний, ходит вперевалку, все время посасывает трубку.

Разные авторы утверждают, что у него одна рука повреждена и он ею плохо владеет. Впрочем, дочь Светлана говорит, что у него плохо двигалась правая рука, а большевик Шумяцкий писал в советской печати, что Сталин не мог согнуть левую руку. По правде сказать, я никогда никакого дефекта такого рода у Сталина не замечал. Во всяком случае я иногда видел, как он делал правой рукой широкие и размашистые жесты — ее он мог и согнуть и разогнуть. В конце концов не знаю — никогда Сталин при мне никакой физической работы не делал — может быть и так, что его левая рука была не в порядке. Но я никогда не нашел случая это заметить.

Образ жизни ведет чрезвычайно нездоровый, сидячий. Никогда не занимается спортом, какой-нибудь физической работой. Курит (трубку), пьет (вино; предпочитает кахетинское). Во вторую половину своего царствования каждый вечер проводит за столом, за едой и питьем в компании членов своего Политбюро. Как при таком образе жизни он дожил до 73 лет, удивительно.

Всегда спокоен, хорошо владеет собой. Скрытен и хитер чрезвычайно. Мстителен необыкновенно. Ни-

когда ничего не прощает и не забывает — отомстит через 20 лет. Найти в его характере какие-либо симпатичные черты очень трудно — мне не удалось.

Постепенно о нем создались мифы и легенды. Например, о его необыкновенной воле, твердости и решительности. Это — миф. Сталин — человек чрезвычайно осторожный и нерешительный. Он очень часто не знает, как быть и что делать. Но он и виду об этом не показывает. Я очень много раз видел, как он колеблется, не решается, и скорее предпочитает идти за событиями, чем ими руководить.

Умен ли он? Он неглуп и не лишен природного здравого смысла, с которым он очень хорошо управляется.

Например, на заседаниях Политбюро все время обсуждаются всякие государственные дела. Сталин малокультурен, и ничего дельного и толкового по обсуждаемым вопросам сказать не может. Это очень неудобное положение. Природная хитрость и здравый смысл позволяют ему найти очень удачный выход из положения. Он следит за прениями, и когда видит, что большинство членов Политбюро склонилось к какому-то решению, он берет слово, и от себя в нескольких кратких фразах предлагает принять то, к чему, как он заметил, большинство склоняется. Делает это он в простых словах, где его невежество особенно проявиться не может (например: «я думаю, надо принять предложение т. Рыкова; а то, что предлагает т. Пятаков, не выйдет это, товарищи, никак не выйдет»). Получается всегда так, что хотя Сталин и прост, и говорит плохо, а вот то, что он предлагает, всегда принимается. Не проникая в сталинскую хитрость, члены Политбюро начинают видеть в сталинских выступлениях какую-то скрытую мудрость (и даже таинственность). Я этому обману не поддаюсь. Я вижу, что никакой системы мыслей у него нет; сегодня он может предложить нечто совсем не вяжущееся с тем,

что он предлагал вчера; я вижу, что он просто ловит мнение большинства; что он плохо разбирается в этих вопросах, я знаю из разговоров с ним, «дома», в ЦК. Но члены Политбюро поддаются мистификации, и в конце концов начинают находить в выступлениях Сталина смысл, которого в них на самом деле нет.

Сталин малокультурен, никогда ничего не читает, ничем не интересуется. И наука, и научные методы ему недоступны и неинтересны. Оратор он плохой, говорит с сильным грузинским акцентом. Речи его очень мало содержательны. Говорит он с трудом, ищет нужное слово на потолке. Никаких трудов он в сущности не пишет; то, что является его сочинениями, это его речи и выступления, сделанные по какому-либо поводу, а из стенограммы затем секретари делают нечто литературное (он даже и не смотрит на результат: придать окончательную статейную или книжную форму — это дело секретарское). Обычно это делает Товстуха.

Ничего остроумного Сталин никогда не говорит. За все годы работы с ним я только один раз слышал, как он пытался сострить. Это было так. Товстуха и я, мы стоим и разговариваем в кабинете Мехлиса-Каннера. Выходит из своего кабинета Сталин. Вид у него чрезвычайно важный и торжественный; к тому же он подымает палец правой руки. Мы умолкаем в ожидании чего-то очень важного. «Товстуха, — говорит Сталин, — у моей матери козел был — точь-в-точь как ты; только без пенсне ходил». После чего он поворачивается и уходит к себе в кабинет. Товстуха слегка подобострастно хихикает.

К искусству, литературе, музыке Сталин равнодушен. Изредка пойдет послушать оперу — чаще слушает «Аиду».

Женщины. Женщинами Сталин не интересуется и не занимается. Ему достаточно своей жены, которой

он тоже занимается очень мало. Какие же у Сталина страсти?

Одна, но всепоглощающая, абсолютная, в которой он весь целиком — жажда власти. Страсть маниакальная, азиатская, страсть азиатского сатрапа далеких времен. Только ей он служит, только ею все время занят, только в ней видит цель жизни.

Конечно, в борьбе за власть эта страсть полезна. Но все же, на первый взгляд, кажется трудно объяснимым, как с таким скудным арсеналом данных Сталин смог прийти к абсолютной диктаторской власти.

Проследим этапы этого восхождения. И нас еще более удивит, что отрицательные качества были ему более полезны, чем положительные.

Начинает Сталин как мелкий провинциальный революционный агитатор. Ленинская большевистская группа профессиональных революционеров ему совершенно подходит — здесь полагается не работать, как все прочие люди, а можно жить на счет какой-то партийной кассы. К работе же сердце Сталина никогда не лежало. Есть известный риск: власти могут арестовать и выслать на север под надзор полиции. Для социал-демократов дальше этого репрессии не идут (с эсрами, бросающими бомбы, власти поступают гораздо более круто). В ссылке царские власти обеспечивают всем необходимым; в пределах указанного городка или местности жизнь свободная; можно и сбежать, но тогда переходишь на нелегальное положение. Все ж таки жизнь рядового агитатора гораздо менее удобна (и ходу ему немного), чем жизнь лидеров — Лениных и Мартовых в Женеве и Парижах: вожди уж совсем отказываются подвергать каким-либо неудобствам свои драгоценные персоны.

Лидеры в эмиграции заняты постоянными поисками средств, и для своей драгоценной жизни, и для партийной деятельности. Средства дают и братские социалистические партии (но скудно и нехотя), и бур-

жуазные благодетели. Например, Буревестник (он же Максим Горький), вращающийся в Московском Художественном Театре, помог артистке МХАТ Андреевой пленить миллионера Савву Морозова, и золотая манна через Андрееву идет в ленинскую кассу. Но этого мало, всегда мало. Анархисты и часть социалистов-революционеров нашли способ добывать нужные средства — просто путем вооруженных ограблений капиталистов и банков. Это на революционном деловом жаргоне называется «эксами» (экспроприации). Но братские социал-демократические партии, давно играющие в респектабельность и принимающие часто участие в правительствах, решительно отвергают эту практику. Отвергают ее и русские меньшевики. Нехотя делает декларации в этом смысле и Ленин. Но Сталин быстро соображает, что Ленин только вид делает, а будет рад всяким деньгам, даже идущим от бандитского налета. Сталин принимает деятельное участие в том, чтобы соблазнить некоторых кавказских бандитов и перевести их в большевистскую веру. Наилучшим завоеванием в этой области является Камо-Петросян, головорез и бандит отчаянной храбрости. Несколько вооруженных ограблений, сделанных бандой Петросяна, приятно наполняют ленинскую кассу (есть трудности только в размене денег). Натурально, Ленин принимает эти деньги с удовольствием. Организует эти ограбления петросяновской банды товарищ Сталин. Сам он в них из осторожности не участвует.

(Кстати, трус ли Сталин? Очено трудно ответить на этот вопрос; за всю сталинскую жизнь нельзя привести ни одного примера, когда бы он проявил храбрость, ни в революционное время, ни во время гражданской войны, где он всегда командовал издали, из далекого тыла, ни в мирное время.)

Ленин чрезвычайно благодарен Сталину за его деятельность и не прочь подвинуть его по партийной лестнице; например, ввести в ЦК. Но сделать это на

съезде партии нельзя, делегаты скажут: «То, что он организует для партии вооруженные ограбления, это очень хорошо, но это отнюдь не основание, чтобы вводить его в лидеры партии». Ленин находит нужный путь: в 1912 году товарищ Сталин «кооптируется» в члены ЦК без всяких выборов. Поскольку он затем до революции живет в ссылке, вопрос о нем в партии не ставится. А из ссылки с Февральской революцией он возвращается в столицу уже как старый член ЦК.

Известно, что ни в первой революции 1917 года, ни в Октябрьской Сталин никакой роли не играл, был в тени и ждал. Через некоторое время после взятия власти Ленин назначил его наркомом двух наркоматов, которые, впрочем, по ленинской мысли, были обречены на скорый слом: наркомат рабоче-крестьянской инспекции, детище мертворожденное, который Ленин думал реорганизовать, соединив с ЦКК (что и было потом проделано), и наркомат по делам национальностей, который должен был тоже быть упразднен, передав свои функции Совету Национальностей ЦИКа. Что думал Ленин о Сталине, показывает дискуссия, происшедшая на заседании, где Ленин назначал Сталина наркомнацем. Когда Ленин предложил это назначение, один из участников заседания предложил другого кандидата, доказывая, что его кандидат — человек толковый и умный. Ленин перебил его: «Ну, туда умного не надо; пошлем туда Сталина».

Наркомом Сталин только числился — в наркоматы свои почти никогда не показывался. На фронтах гражданской войны его анархическая деятельность очень спорна, а во время польской войны, когда все наступление на Варшаву сорвалось из-за невыполнения им и его армиями приказов главного командования, и просто вредна. И настоящая карьера Сталина начинается только с того момента, когда Зиновьев и Каменев, желая захватить наследство Ленина и организуя борьбу против Троцкого, избрали Сталина, как

союзника, которого надо иметь в партийном аппарате. Зиновьев и Каменев не понимали только одной простой вещи — партийный аппарат шел автоматически и стихийно к власти. Сталина посадили в эту машину, и ему достаточно было всего лишь в ней удержаться — машина сама выносила его к власти. Но правду сказать, Сталин, кроме того, сообразил, что машина несет его вверх, и со своей стороны продельывал для этого все, что было нужно.

Сам собой напрашивается вывод, что в партийной карьере Сталина до 1925 года гораздо большую роль сыграли его недостатки, чем достоинства. Ленин ввел его в Центральный Комитет в свое большинство, не боясь со стороны малокультурного и политически незначительного Сталина какой-либо конкуренции. Но по этой же причине сделали его генсеком Зиновьев и Каменев: они считали Сталина человеком политически ничтожным, видели в нем удобного помощника, но никак не соперника.

Не будет никаким преувеличением сказать, что Сталин — человек совершенно аморальный. Уже Ленин был аморальным субъектом, к тому же с презрением отвергавшим для себя и для своих профессиональных революционеров все те моральные качества, которые по традициям нашей старой христианской цивилизации мы склонны считать необходимым цементом, делающим жизнь общества возможной и сносной: порядочность, честность, верность слову, терпимость, правдивость и т. д. По Ленину, все это мораль буржуазная, которая отвергается; морально лишь то, что служит социальной революции, другими словами, что полезно и выгодно коммунистической партии. Сталин оказался учеником, превзошедшим учителя. Тщательно разбирая его жизнь и его поведение, трудно найти в них какие-либо человеческие черты. Единственное, что я мог бы отметить в этом смысле, это некоторая отцовская привязанность к дочке — Светла-

не. И то до некоторого момента. А кроме этого, пожалуй, ничего.

Грубость Сталина. Она была скорее натуральной и происходила из его малокультурности. Впрочем, Сталин очень хорошо умел владеть собой и был груб лишь когда не считал нужным быть вежливым. Интересны наблюдения, которые я мог делать в его секретариате. Со своими секретарями он не был нарочито груб, но если, например, он звонил, и курьерша была в отсутствии (относила, например, куда-нибудь бумаги), и на звонок появлялся в его кабинете Мехлис или Каннер, Сталин говорил только одно слово: «Чаю» или «Спички». Помощники его говорили ему «вы», и называли его не по имени-отчеству, а обращаясь к нему, говорили «товарищ Сталин». Он говорил «ты» и Товстухе, и Мехлису, и Каннеру. Только мне он говорил «вы», а я был моложе всех. Никакой привязанности ни к одному из его сотрудников у него не было, но он ценил их по степени полезности; и надо сказать, что все оказывали ему большие услуги: Каннер — по делам почти уголовным, Товстуха — тоже по делам довольно мрачным, Мехлис, которого он вначале не очень ценил, сделал все нужное, чтобы Сталин стал «великим и гениальным». И я был очень нужен, как секретарь Политбюро. Всё же отношение ко мне было не то, что к другим. Остальные помощники были «его» люди, преданные и державшиеся за свои места. Я был не «свой», ни преданности, ни уважения к Сталину у меня никаких не было, и я представлял для него некоторую загадку — я совсем не держался ни за место, ни за причастность к власти.

Только один раз он попытался быть со мной грубым. Это было на заседании Политбюро. Как всегда, я записываю резолюцию на картонной карточке и передаю ее ему через стол, а он, прочтя, возвращает ее мне. По каким-то разногласиям с членами Политбюро (не имевшим ко мне ни малейшего отношения)

он рассердился и хотел показать членам Политбюро свое плохое расположение духа. Для этого он не нашел ничего лучшего, как не возвращать мне через стол карточки, а швырять их через стол. Моя реакция была немедленной — следующую карточку я тоже не передал ему через стол, а бросил. Он удивленно посмотрел на меня, и сразу перестал бросать карточки.

Он совсем перестал понимать меня, когда в один прекрасный день в результате моей внутренней эволюции, став антикоммунистом, я потерял желание быть полезным винтиком этой политбюровской машины. Я сказал ему, что хотел бы перейти работать в Наркомфин (Сокольников предлагал мне руководить Финансово-Экономическим Бюро Наркомфина, заменившим Ученый Комитет царского Министерства финансов). Сталин удивился: «Почему?» Настоящую причину я ему, конечно, сказать не мог, и ответил, что хотел бы усовершенствоваться в государственных делах финансово-экономического порядка. Он ответил, что я могу это делать, продолжая мою работу, и она от этого только выиграет. «И потом, партия поручает вам очень важную и ответственную работу; нет никакого резона от нее отказываться». Я начал работать и в Наркомфине (я дальше об этом расскажу), но для Сталина, для которого власть была все, мое равнодушие к власти и готовность от нее уйти, были загадкой. Он видел, что во мне чего-то не понимает. Может быть поэтому он был всегда со мной отменно вежлив.

В те времена (20-е годы) Сталин ведет очень простой образ жизни. Одет он всегда в простой костюм полувоенного образца, сапоги, военную шинель. Никакого тяготения ни к какой роскоши или пользованию благами жизни у него нет. Живет он в Кремле, в маленькой просто обмелбированной квартире, где раньше жила дворцовая прислуга. В то время как Каменев, например, знает уже толк в автомобилях и закрепил

за собой превосходный «Ролс-Ройс», Сталин ездит на мощном, но простом и старом «Руссо-Балте» (впрочем, дорог для автомобилей нет, ездить можно практически только по Москве, а выехать за город можно только чуть ли не по одному Ленинградскому шоссе). Конечно, для него, как и для других большевистских лидеров, вопрос о деньгах никакой практической роли не играет. Они располагают всем без денег: квартирой, автомобилем, проездами по железной дороге, отдыхами на курортах и т. д. Еда готовится в столовой Совнаркома и доставляется на дом.

Обычные регулярные заседания Политбюро начинались утром и заканчивались к обеду. Члены Политбюро расходились обедать, а я оставался в зале заседания, чтобы сформулировать и записать постановления по последним обсуждавшимся вопросам. Сделав это, я отправлялся к Сталину. Обычно в это время он начинал обедать. За столом были он, его жена Надя и старший сын Яшка (от первой жены — урожденной Сванидзе). Сталин просматривал карточки, и я отправлялся в ЦК заканчивать протокол.

Первый раз, когда я попал к его обеду, он налил стакан вина и предложил мне. «Я не пью, товарищ Сталин». — «Ну, стакан вина, это можно; и это — хорошее кахетинское». — «Я вообще никогда ничего алкогольного не пил и не пью». Сталин удивился: «Ну, за мое здоровье». Я отказался пить и за его здоровье. Больше он меня вином никогда не угощал.

Но часто бывало так, что выйдя из зала заседаний Политбюро, Сталин не отправлялся прямо домой, а гуляя по Кремлю, продолжал разговор с кем-либо из участников заседания. В таких случаях, придя к нему на дом, я должен был его ждать. Тут я познакомился и разговорился с его женой, Надей Аллилуевой, которую я просто называл Надей. Познакомился довольно близко и даже несколько подружился.

Надя ни в чем не была похожа на Сталина. Она

была очень хорошим, порядочным и честным человеком. Она не была красива, но у нее было милое, открытое и симпатичное лицо. Она была приблизительно моего возраста, но выглядела старше, и я первое время думал, что она на несколько лет старше меня. Известно, что она была дочерью питерского рабочего большевика Аллилуева, у которого скрывался Ленин в 1917 году перед большевистским переворотом. От Сталина у нее был сын Василий (в это время ему было лет пять), потом, года через три, еще дочь, Светлана.

Когда я познакомился с Надей, у меня было впечатление, что вокруг нее какая-то пустота — женских подруг у нее в это время как-то не было, а мужская публика боялась к ней приближаться — вдруг Сталин заподозрит, что ухаживают за его женой — сживет со свету. У меня было явное ощущение, что жена почти диктатора нуждается в самых простых человеческих отношениях. Во всяком случае мы с ней быстро разговорились и установили довольно дружеские отношения. Я, конечно, и не думал за ней ухаживать (у меня уже был в это время свой роман, всецело меня поглощавший). Постепенно она мне рассказала, как протекает ее жизнь.

Домашняя ее жизнь была трудная. Дома Сталин был тиран. Постоянно сдерживая себя в деловых отношениях с людьми, он не церемонился с домашними. Не раз Надя говорила мне, вздыхая: «Третий день молчит, ни с кем не разговаривает, и не отвечает, когда к нему обращаются; необычайно тяжелый человек». Но разговоров о Сталине я старался избегать — я уже представлял себе, что такое Сталин, бедная Надя только начинала, видимо, открывать его аморальность и бесчеловечность, и не хотела сама верить в эти открытия.

Через некоторое время Надя исчезла, как потом оказалось, отправилась проводить последние месяцы своей новой беременности к родителям в Ленинград.

Когда она вернулась и я ее увидел, она мне сказала: «Вот, полюбуйтесь моим шедевром». Шедевр было месяца три, он был сморщенным комочком. Это была Светлана. Мне было разрешено в знак особого доверия поддержать ее на руках (недолго, едва четверть минуты — эти мужчины такие неловкие).

После того, как я ушел из секретариата Сталина, я Надю встречал редко и случайно. Когда Орджоникидзе стал председателем ЦКК, он взял к себе Надю третьим секретарем; первым был добродушный гигант Трайнин. Зайдя как-то к Орджоникидзе, я в последний раз встретился с Надей. Мы с ней долго и дружески поговорили. Работая у Орджоникидзе, она ожила — здесь атмосфера была приятная, Серго был хороший человек. Он тоже принял участие в разговоре; он был со мной на ты, что меня немного стесняло — он был на 20 лет старше меня (впрочем, он был на ты со всеми, к кому питал мало-мальскую симпатию). Больше я Надю не видел.

Ее трагический конец известен, но, вероятно, не во всех деталях. Она пошла учиться в Промышленную Академию. Несмотря на громкое название, это были просто курсы для переподготовки и повышения культурности местных коммунистов из рабочих и крестьян, бывших директорами и руководителями промышленных предприятий, но по малограмотности плохо справлявшихся со своей работой. Это был 1932 год, когда Сталин развернул гигантскую всероссийскую мясорубку — насильственную коллективизацию, когда миллионы крестьянских семей в нечеловеческих условиях отправлялись в концлагеря на истребление. Слушатели Академии, люди, приехавшие с мест, видели своими глазами этот страшный разгром крестьянства. Конечно, узнав, что новая слушательница — жена Сталина, они прочно закрыли рты. Но постепенно выяснилось, что Надя — превосходный человек, добрая и отзывчивая душа; увидели, что ей можно доверять.

Языки развязались, и ей начали рассказывать, что на самом деле происходит в стране (раньше она могла только читать лживые и помпезные религии в советских газетах о блестящих победах на сельскохозяйственном фронте). Надя пришла в ужас и бросилась делиться своей информацией к Сталину. Воображаю, как он ее принял — он никогда не стеснялся в спорах называть ее душой и идиоткой. Сталин, конечно, утверждал, что ее информация ложна, и что это кулацкая контрреволюционная пропаганда. «Но все свидетели говорят одно и то же». — «Все?» — спрашивал Сталин. «Нет, — отвечала Надя, — только один говорит, что все это неправда. Но он явно кривит душой и говорит это из трусости; это секретарь ячейки Академии — Никита Хрущев». Сталин запомнил фамилию. В продолжавшихся домашних спорах Сталин утверждал, что заявления, цитируемые Надей, голословны, требовал, чтобы она назвала имена: тогда можно будет проверить, что в их свидетельствах правда. Надя назвала имена своих собеседников. Если она имела еще какие-либо сомнения насчет того, что такое Сталин, то они были последними. Все оказавшие ей доверие слушатели были арестованы и расстреляны. Потрясенная Надя наконец поняла, с кем она соединила свою жизнь, да, вероятно, и что такое коммунизм; и застрелилась. Конечно, свидетелем рассказанного здесь я не был; но я так понимаю ее конец по дошедшим до нас данным.

А товарищ Хрущев начал с этого эпизода свою блестящую карьеру. В первый же раз, когда в московской организации происходили перевыборы районных комитетов и их секретарей, Сталин сказал секретарю Московского Комитета: «Там у вас есть превосходный работник — секретарь ячейки Промышленной Академии — Никита Хрущев; выдвиньте его в секретари райкома». В это время слово Сталина было уже законом и Хрущев стал немедленно секретарем рай-

кома, кажется, Краснопресненского, а затем очень скоро и секретарем Московского Комитета партии. Так пошел вверх Никита Хрущев, дошедший до самого верха власти.

На квартире Сталина жил и его старший сын — от первого брака — Яков. Почему-то его никогда не называли иначе чем Яшка. Это был очень сдержанный, молчаливый и скрытный юноша; он был года на четыре моложе меня. Вид у него был забитый. Поражала одна его особенность, которую можно назвать нервной глухотой. Он был всегда погружен в свои какие-то скрытые внутренние переживания. Можно было обращаться к нему и говорить — он вас не слышал, вид у него был отсутствующий. Потом он вдруг осознавал, что с ним говорят, спохватывался, и слышал все хорошо. Сталин его не любил и всячески угнетал. Яшка хотел учиться — Сталин послал его работать на завод рабочим. Отца он ненавидел скрытой и глубокой ненавистью. Он старался всегда остаться незамеченным и не играл до войны никакой роли. Мобилизованный и отправленный на фронт, он попал в плен к немцам. Когда немецкие власти предложили Сталину обменять какого-то крупного немецкого генерала на его сына, находившегося у них в плену, Сталин ответил: «У меня нет сына». Яшка остался в плену, и в конце немецкого отступления был гестаповцами расстрелян.

Я почти никогда не видел сына Сталина от Нади — Василия. Тогда он был младенцем; выросши, стал дегенеративным алкоголиком. История Светланы хорошо известна. Как и мать, она поняла, что представлял Сталин, а кстати и коммунизм, и, бежав за границу, нанесла сильный удар коммунистической пропаганде («ну, и режим: родная дочь Сталина не выдержала и сбежала»).

Конечно, резюмируя все сказанное о Сталине, можно утверждать, что это был аморальный человек

с преступными наклонностями. Но я думаю, что случай Сталина подымает другой, гораздо более важный вопрос: почему такой человек мог проявить свои преступные наклонности, в течение четверти века безнаказанно истребляя миллионы людей. Увы, на это можно дать только один ответ. Коммунистическая система создала и выдвинула Сталина. Коммунистическая система, представляющая всеобъемлющее и непрерывное разжигание ненависти и призывающая к истреблению целых групп и классов населения, создает такой климат, когда ее держатели власти всю свою деятельность изображают, как борьбу с какими-то выдуманными врагами-классами, контрреволюционерами, саботажниками, объясняя все неудачи своей нелепой и нечеловеческой системы происками и сопротивлением мнимых врагов и неустанно призывая к репрессиям, к истреблению и подавлению (всего: мысли, свободы, правды, человеческих чувств). На этой почве Сталины могут расцвести пышным цветом.

Когда руководящая верхушка убеждается, что при этом и ей самой приходится жить с револьвером у затылка, она решает немного отвинтить гайку, но не очень, и зорко следя, чтобы все основное в системе осталось по-старому. Это — то, что произошло после Сталина.

(Окончание следует)

Немецкое Общество защиты прав человека

Общество

- поддерживает людей, борющихся в тоталитарных странах за осуществление принципов Всеобщей декларации прав человека;
- оказывает материальную и правовую помощь людям, лишенным свободы за их религиозные, общественные или политические убеждения;
- посредством различных публикаций информирует общественность Федеративной Республики Германии, Австрии и Швейцарии о борьбе за гражданские права в тоталитарных странах;
- издает сборник «Права человека», в котором публикуются материалы Самиздата. Подписка на 1 год (шесть номеров) 15.— н. м.

**Председатель Общества защиты прав человека
Корнелия Герстенмайер (писательница)**

**Gesellschaft für Menschenrechte e. V.
Bockenheimer Anlage 12,
Postfach 2965,
D-6000 Frankfurt/M. 1**

Tel. 595263

Литература и время

Виолетта Иверни

ПОПЫТКА ВРЕМЕНИ

(Проза Владимира Корнилова)

Три повести Владимира Корнилова, вышедшие на Западе в течение последних двух лет,^{*} подталкивают не только к разговору о нем самом — Владимире Корнилове — как о писателе; как о человеке, утверждающем в своих произведениях право на определенную эстетическую позицию; как о человеке, занимающем четко выраженную гражданскую позицию; наконец, как о просто свободном человеке, живущем в несвободном государстве.

Советская эстетика (не будем говорить — марксистская, потому что совершенно неизвестно, что это такое на самом деле и насколько ей соответствует свод эстетических правил, применяющийся в советском искусстве), даже точнее — советская *практическая* эстетика сделала своим фетишем реализм. Ну что ж, — вот и реализм: чем повести Корнилова, предположим, угрожают постулатам официальной эстетики, чем они могут оскорбить официальное литературоведение? Ничем. По аккуратности и прилежной внимательности, с которыми он роется в быте, стараясь не забыть ничего, с его филателистическим пристрастием к деталям, с любованием всяким физическим движением героев ли, или даже второстепенных персонажей; с изображением как бы усредненного существо-

* «Девочки и дамочки» — «Грани», № 94, 1974 г.

«Без рук, без ног» — «Континент», №№ 1 и 2, 1974 г.

«Демобилизация» — изд. «Посев», 1976 г.

вания множества самых разных людей, соединенных писателем в некое единство почти случайно — да Корнилов мог бы быть любимчиком у завсегдатаев журнала «Вопросы литературы»! Однако же... Вот тут и начинаются разнообразные «однако же...». Любимчиком Корнилов у советской критики не стал. Потому что он «изображает неправильно». То есть слишком правильно. Потому что тезис о необходимости реалистического изображения действительности он принял всерьез. Потому что он изображает не идеи, конструирующие людей, а людей, рождающих идеи. (На основании практики социалистического реализма советской эстетики можно было бы предъявить обвинение в ненавистном ей идеализме, если бы не еще один признак ее инвалидности: отрицая изначальную Идею, она, тем не менее, утверждает, что некоторые *идеи*, исходящие от л ю д е й, имеют живородящую силу — по принципу: все люди равны, но некоторые равнее других. Поскольку этот принцип утверждается отнюдь не научным, а просто явочным порядком, и скорее именно от практического применения своего назван материалистическим, то ошибку эту следовало бы поправить, переименовав его в блатной идеализм.)

Корнилов более чем кто-либо другой из писателей, вынесших в последнее время на свет Божий то, что лежит «в столе», является представителем литературного п о т о к а. Реализм как метод — с кажущейся легкостью натурного писания и с конечной его необходимостью для большинства людей — привлекает основную часть литераторов. Реализм — помимо радости эстетической, которую приносит читателю или зрителю любое произведение настоящего искусства, приносит еще радость узнавания, радость встречи со знакомой деталью, со знакомым поворотом, сюжетом, словом, — с узнаваемой жизнью. Реализм — врачеватель и утешитель, он может быть источником тихой, если хотите — семейной радости, но кто

сказал, что без семейных радостей можно жить? Для человека, ощущающего себя дождевой каплей в ливне, единственным листиком в дремучем вечном лесу людских судеб, этот момент узнавания — залог того, что и он кому-то виден, и он — неслучаен и небесследен. Поэтому писатель-реалист никогда не рискует остаться без читателя. Он не рискует также быть непонятым. У него есть другая опасность — увлекшись добросовестным и внушительным пересказом, много написать, но мало сказать. Опасность перебрать слишком много пустой породы, прежде чем засверкают долгожданные драгоценные крупинки, превращающие литературное произведение в отметину на теле времени, в зарубку на его стволе. Но это уже вопрос того самого, неизвестно как возникающего и где в человеческом существе помещающегося, нюха, того внутреннего осязания, которое называется талантом.

Сказать, что Корнилов — прозаик-реалист, это одновременно и не погрешить против истины, и не исчерпать ее полностью. Корнилов не просто реалист, а его сильно растянутое в подробностях дня эпическое повествование — не результат недостаточного вкуса, неумелости или небрежности. Реализм — его эстетическая позиция, его художническое кредо. Он не просто пользуется им как методом для моделирования жизни или персонификации мыслей и идей, он одновременно доказывает право реализма на существование. Реализм, таким образом, для Корнилова не только средство, но и цель. Корнилов воспринимает литературу как часть человеческой истории — причем, точнейшую и вернейшую ее часть — часть истории не просто как протяженности всей жизни человечества, т. е. не только в плане философском, но и в чисто утилитарном плане — истории как науки, как одного из видов человеческой деятельности, как рода занятий, как профессии.

Корнилов пишет не идеи, не сюжеты, не события

и не характеры — он пишет время. Достаточно положить рядом все три его вещи (я затрудняюсь определить их жанр, ибо по однолинейной выстроенности и взаимосвязанности персонажей все они — повести, но по задаче, которую ставит себе автор и о которой говорилось выше: предмет изображения время как таковое, — их можно назвать и романами), и становится совершенно понятно, что все его герои — главные и второстепенные, любимые и нелюбимые, — это только кирпичики, только отдельные линии в общем чертеже времени, которое и есть — самый главный герой. Отсюда и известная бесстрастность, объективное «со стороны», которое Корнилов выбрал как авторскую позицию. «Девочки и дамочки» — это начало войны, это наша стыдная растерянность и внезапная гибель людей, не успевающих понять, почему и зачем они гибнут, и даже — просто что гибнут; это многотонная могильная глыба войны, позорно и трусливо сброшенная на плечи «малых сих», кого вчера еще передвигали, и по привычке передвигают сегодня, как шашки в скучной игре, и — долго еще будут передвигать. Это — свидетельство.

«Без рук, без ног» — рубеж между войной и миром, когда понятное и простое до того разделение на друзей и врагов по линии фронта начинает перемещаться внутрь оживающей нормальной жизни и образует бесчисленные узлы, каждый из которых — гордиев, и ждет быть разрубленным, а рубить-то — по живому. И после военной крови наступает время крови мирной, невидной, да рядом с военным месивом кажущейся и неважной, но потому еще и горшей, и вернее уносящей жизнь. Еще одно свидетельство.

«Демобилизация» — середина пятидесятых годов, первые движения чуть рассвобожденного горла, в петле занемевшего, но, оказывается, живого, оказывается, не разучившегося дышать без команды. Это время мира, в котором разворачивается внутренняя

война, в котором она встает на ноги и крепнет, ибо теперь противники могут встретиться не только в лагерях: одни внутри колючки, другие — при собачках — снаружи; теперь они могут встретиться и в «большой зоне» — лицом к лицу. И это — тоже свидетельство.

Именно в «Демобилизации» Корнилов и формулирует свою позицию историка в литературе и литератора в истории. Его герой Борис Курчев, только что демобилизовавшийся лейтенант и историк по профессии, собирается писать работу о Северном Союзе Русских рабочих — он хочет поступить в аспирантуру. Он хорошо понимает, что не в состоянии написать то, чего от него ждут и что действительно сделает его преуспевающим аспирантом, потом — кандидатом, потом — доктором... «Нужно что-то такое, ради чего стоит усадить себя за стол. История — не стихи и не проза, но и тут есть что-то личное, внутреннее, тайное...»

Он думает о любимой им женщине: «Почему такая красивая, умная, ни с кем не сравнимая девчонка так несчастна?! Вот о чем надо писать, и это в тысячу раз интереснее Северного Союза и куда нужнее. Но с такой работой не примут и не зачислят на стипендию. А через пятьдесят, тридцать или сто лет такая работа будет важнее любого романа. Пойди изучай жизнь по «Анне Карениной»! Все недоказуемо. Вымысел, скажут, Толстого. А если просто точно передать обстановку, факты, вот эту конюшню и разговоры в ней, и вот это тонкое армейское одеяло, под которым мы откровенничаем и без которого набираем в рот воды — это все историку потом даст в тысячу раз больше, чем вся высокопарная стряпня Лешки» (благополучного кузена — кандидата философских наук — В. И.).

И сама Инга, мучительная любовь Бориса Курчева, сочиняя на своем филфаке диссертацию о Теккере, которая никак не идет, не пишется под диктовку общепринятых литературоведческих (историко-литера-

турных) правил анализа, вдруг в дурную, тяжкую минуту начинает писать о героях Теккерей как о живых людях: «Работа, вернее вторая ее глава, как-то неожиданно сдвинулась с места, потому что Инга начала писать не о суете и тщеславии героев, а об их разъединенности и глухоте, о некоммуникабельности, как любил говорить ее первый муж Крапивников. Роман Теккерей был достаточно великим романом, чтобы отвечать и такому взгляду, и Инга, упиваясь своей незадавшейся любовью, писала главу почти как дневник.

«А что? Так и надо, — успокаивала себя. — Без личной причастности ничего не выйдет. Холодных исследователей и без меня хватает».

«Без личной причастности ничего не выйдет». Это и есть философская и эстетическая позиция Корнилова в подходе к писательскому ремеслу. Писатель должен быть историком в большей степени, чем те, кто называет этим словом свою профессию, ибо история состоит из отдельных дней, как народ состоит из отдельных личностей, воль, желаний, надежд и страхов, а вовсе не из безликих масс. И история тоже состоит не из эпох, а из сочетаний и скрещений этих бесконечных личностных порывов и страстей, и бесчисленные столкновения их, расталкивания, вражда — или счастливо-органическое — без швов — соединение неостановимо раскачивают весы Добра и Зла, качанием этим наполняют дни, дни стягиваются в годы, а те — как счетные палочки у первоклашек — вяжутся в десятки и сотни, и вот — готова История. Но мы всегда подходим к ней с конца — с эпох, веков, десятилетий, — и в нашей спешке войти в права наследства быстренько навешиваем на прошлое инвентарные номера (еще ведь надо и в настоящем перебирать ногами внимательно, да и будущее заарканить, если удастся), так что любопытному и неленивому потомку достается вместо живой истории ком торопливых самооправданий и бухгалтерские ведомости дат.

Близкое по времени не поддается научному общению, ибо результаты его еще неизвестны; далекое теряет вкус действительного бытия и превращается в комплекс отвлеченных идей и схем. Настоящее страдает близорукостью, будущее — дальнорукостью. Нормальное же историческое зрение сохраняется в литературе, в искусстве, которое по сути своей только одно и может быть зеркалом времени, — утверждает Корнилов. И потому история — страны ли, искусства или человечества — должна писаться, как дневник, — подробно, точно, лично и страстно (а, значит, и пристрастно). И складывается она из всего, что написано разными людьми о себе и своей жизни. Но для этого человек должен быть свободен в мысли и слове.

«Надо, чтобы каждый человек, — пишет Курчев в своем реферате, — разделил тетрадную страницу пополам и слева написал, в чем он свободен, а справа — в чем несвободен, что мешает его свободе, и, поверьте, эта тетрадка будет интересней любого самого значительного романа. А если потом изобретут машину (а, вероятно, ее уже изобрели, потому что изобретена же машина, решающая задачу о точке встречи!), и если вложат все эти данные из всех разграфленных тетрадок, взятых от всего человечества, в эту новую машину, то будет решена задача об идеальном обществе, где все, по возможности, свободны».

Итак, свобода самовыражения личности — единственное условие, при котором прошлое, настоящее и будущее могут быть связаны воедино и при котором истинность прошлого (истории) может, как равнодействующая всех учтенных волей и сил, автоматически привести к истинности будущего (идеальному или хотя бы наиболее приемлемому для существования, наиболее целесообразному обществу). В этом необыкновенно привлекательном, но детски-наивном утверждении Корнилов не учитывает еще двух необходимых предпосылок: 1) что в понятие «свобода» все без ис-

ключения представители человечества должны вкладывать одно и то же содержание; 2) что границы этого понятия должны быть заранее обусловлены и так же общеприняты — для всех без исключения. (Правда, зачатки второй предпосылки есть в приведенной выше цитате: «...где все по возможности свободны», — пишет Корнилов, но особого внимания на эту деталь он не обращает, между тем как она является решающей в человеческом общежитии.) Обе недостающие рассуждениям Курчева (и Корнилова — ибо у нас есть все основания считать этого героя если не двойником, то подставным лицом автора) предпосылки предполагают наличие на Земле единого свода нравственных уложений, единого Закона. И уже одно это превращает авторскую концепцию в утопию.

Но не будем увлекаться философской стороной, ибо не она стоит в центре внимания писателя. Вопрос о свободе личности связан у него прежде всего с вопросом о свободе мысли и, что понятно, имеет чисто прикладное, практическое значение. Это не высшие философские абстракции, это «черный хлебушек» философии — попытка свободы мысли под черным колпаком тупого насилия над духом и мозгом. Понятно, что свобода самовыражения, если и не единственное, то необходимое условие существования полноценного общества, а значит и полноценной истории и литературы.

Я говорю так подробно о гражданско-эстетической позиции Корнилова не только потому, что она интересна сама по себе, но и потому, что без нее мне кажется невозможным понять ту роль, которую все три произведения играют для самого автора.

Прежде всего, они кажутся мне триединством. Несмотря на видимую самостоятельность каждого из них: разные приемы композиции, разные сюжетные коллизии, разные действующие лица — они объединены той единой задачей, о которой я уже упоминала:

вобрать в себя определенный отрезок времени, что связано с требованием, которое Корнилов предъявляет писательской профессии, — создавать летопись. Мне совершенно неизвестны творческие планы Корнилова, но я готова поклясться, что следующей его вещью будет повесть о середине шестидесятых — начале семидесятых годов, ибо это — следующий этап в истории советского общества: период, когда власть стала лихорадочно отбирать тощие вольности хрущевского времени, но уже бывшего страха внушить людям не сумела и кипящую мысль притиснуть крышкой не смогла. Возникшая таким образом парадоксальная ситуация — чем круче зажим, тем больше людей, уставших бояться и терпеть, — достаточно определена уже, чтобы лечь на бумагу, и Корнилову — по писательской направленности его — очень близка. Да и в «Демобилизации» слишком много проблем остались неразрешенными, чтобы тему можно было бы считать внутренне исчерпанной для Корнилова.

Корнилов пишет «Войну и мир». Да, именно «Войну и мир» в России середины XX века. И именно вслед за Толстым. И все повести Корнилова — это только части его «Войны и мира».

Толстого Корнилов скорее не любит — то есть не то что не любит, но его Толстой раздражает своим фаталистическим взглядом на историю, своими многочисленными комплексами, которые Толстой с бестрепетностью гения обратил в философскую систему; пренебрежением к отдельной личности, с каким Толстой относится и к Наполеону, и к «последнему фурашадтскому солдату». И в то же время он влюблен в него, заворожен его точностью и богатством, широтой охвата, масштабностью мышления и послушностью пера.

Диалог с Толстым, очень живой и личный, происходит через всю повесть «Демобилизация» — и напрямую (Борис Курчев, еще находясь в армии, пишет ре-

ферат «О насморке фурштадтского солдата»), и косвенно — частым упоминанием произведений Толстого, цитатами, выражениями его, размышлениями о нем. В любой из своих вещей Толстой — создатель эпоса, любая из них — история его времени, и этим он для Корнилова предмет поклонения и аргумент для защиты своей позиции.

Ту же роль играет в повести и Теккерей (о «Ярмарке тщеславия» пишет диссертацию Инга Рысакова) — он служит, так сказать, «заморским» аргументом того, что настоящую историю народа создает именно художник, и при этом вымысел, воображение служат только большей точности портрета.

В широком смысле Корнилов, разумеется, прав: искусство, действительно, концентрированная память человечества, зеркало его бытовой и духовной биографии. Но это справедливо не только для эпоса в узком смысле, но и для любого из видов и жанров искусства: от графической выразительности языковых символов — до архитектуры и музыки. Только в одних случаях связь — прямая, в других — опосредованная.

Настойчивый, даже запальчивый реализм Корнилова не формулируется им открыто, в виде некоей законченной сентенции, он заложен в писательском подходе к материалу, в отборе его и организации, в композиции произведений и манере изображения персонажей.

Из трех повестей Корнилова две написаны от третьего лица, одна — «Без рук, без ног» — от первого. Я сознательно говорю от третьего лица, а не от автора, ибо в данном случае это имеет существенное значение: Корнилов пишет повести, как пишут пьесы, — не с командных высот всемогущего законодателя, вольного в любую минуту обнаружить свое присутствие, что-то объяснить, обсказать, осудить, приласкать или подправить, а как вечно незаметный драматург, явленный в действии лишь самым фактом

его существования и поступками или речами героев; как единственный исполнитель в театре одного актера, попеременно становящийся разными людьми, с одним исключением: быть собою, актером, — и только и быть собою — в них.

Корнилов ничего не решает за своих героев и ничего за них не рассказывает, так что повествование от третьего лица в «Девочках и дамочках» и «Демобилизации» кажется почти условностью. Собственно, это и есть условность — в сущности, повествование исходит не от третьего лица (стороннего наблюдателя), а от разных персонажей, просматривается их глазами и ими оценивается. Так, в начале повести «Девочки и дамочки» мы видим двор одной из московских сортировочных станций сперва глазами капитана Гаврилова, потом — ушедшей от хозяйки домработницы Гани; внешне же, формально, это — обычный «остраненный» авторский текст, только лексика незаметно меняется, обозначая смену «точек обзора».

То же самое — и в «Демобилизации». Первый абзац ее — безымянен, но ясно, что от лица солдата, и даже не конкретного, а общего — солдатской массы, словно из окна казармы: «Хотя в феврале День Пехоты выпал на среду, с самого утра снег сверкал по воскресному, и смерть неохота была загорать в казарме. Так и тянуло надраивать сапоги, начищать бляху и подлаживаться к старшине за увольнительной».

Еще через два абзаца появляется ефрейтор Гордеев, почтальон, счастливчик: во-первых, потому, что ему-то в этот день за проволоку можно, а во-вторых, потому, что у него в полку есть женщина. И некоторое время мы видим происходящее глазами Гордеева, так что уже готовы считать его главным героем. Но эстафетная палочка внезапно перемещается к лейтенанту Курчеву, и он держит ее так долго, что мы, наконец,

убеждаемся, что познакомились с главным действующим лицом.

Следуя за героями, мы поначалу узнаем о них так же мало, как узнали бы в жизни о людях, случайно встреченных в чьем-то доме. Мы останавливаем на них взгляд так же случайно и разглядываем их с той же степенью неизбежного любопытства. И точно так же, как в жизни, когда, оказавшись под одной крышей, мы становимся невольными свидетелями и соучастниками чьей-то судьбы — на несколько часов, на какое-то время или на всю жизнь — и перед нами постепенно разматывается биография, характер, вкусы и привычки наших знакомых, точно так же медленно мы узнаем и героев Корнилова. Движение, действие его повестей развивается не только за счет событий как таковых, но прежде и больше всего за счет изменения облика героев в наших глазах.

Сами по себе характеры персонажей не развиваются: в них не происходит никаких внутренних перемен; они остаются при своих взглядах, на своих позициях, они любят как любили, и ненавидят как ненавидели. Все они уходят из повестей такими же, какими входили в них, но для нас, читателей, они все время поворачиваются какими-то новыми сторонами и мы все время что-то новое о них узнаем. Это и производит впечатление поступательного движения, хотя событийным рядом оно поддерживается очень слабо. Действие, таким образом, как бы развивается в пространстве, не развиваясь во времени.

Мы привыкли, читая книгу, стоять рядом с автором и судить о героях, об их поступках с учетом тех скрытых пружин и стимулов, о которых автор нам предварительно сообщает. Мы строим свои взаимоотношения с персонажами, доверяясь писателю как гиду. Начав следить за происходящим, мы больше не интересуемся прошлым героев, в полной уверенности, что нам о них уже все известно. И внезапно мы узнаем о

них нечто такое, что заставляет нас словно бы возвращаться к началу, снова пересматривать все события и роль героев в них.

Ухватистая и вороватая Ганя («Девочки и дамочки»), которая все норовит устроиться поудобнее и ненароком выхватить из чужих рук что-нибудь для себя полезное, вначале только и представляется таким хитреньким и глупым паучком — да таким уж глупым, таким загребушим, что никаких привязанностей у нее и не может быть. И когда под насмешки женщин Ганя бормочет, что и у нее «что-то свое было», мы уверены — врет, ничего не было, это она от зависти. А потом случайными, рванными кусками — не сразу, тяжело, исподволь вытягивается перед нами жуткая Ганина судьба: «И вправду ездила она в Ессентуки с земляком-полюбовником Сергеем Еремычем, который извозчиком был в Москве, и с Кланькой, сестрой, совсем еще девчонкой. И там, на водах, Сергей Еремыч спьяну или по дурости испортил Кланьку, и она понесла, а избавиться испугалась. Убежала из дому и вернулась, когда подошло время рожать. И родила она Гане двух племянников». И на том еще дело не кончилось, потому что Сергей Еремыч потом снова объявился в Липецке, увез Кланьку под Москву, а для подмоги в хозяйстве — и Ганю, а их мать-старуху оставил помирать в Липецке одну. Но вскоре Сергей Еремыч завербовался куда-то и вовсе пропал, и осталась Ганя с болезненной Кланькой и с племянниками, и все, что удавалось где-нибудь приработать, а то и прикарманить, не себе в скрыню пихала, а все тащила им, все — вплоть до своей нескладной, дурацкой жизни.

Все это мы узнаем о ней тогда, когда наша неприязненность, почти брезгливость уже сложилась, и вдруг Ганя предстает перед нами совсем другой — не красивее и не умнее, но в неожиданном ореоле тайной святости, скрытной жертвенности и самозаклания (и

вечно больную сестру — жертвенник — зовут Кланя). Но для всего света она — грызун, маленький хищник, весь свет она и впрямь готова принести на тот же алтарь разрывной своей любви к страшному Сергей Еремычу, к объявшей враз и на всю жизнь Кланьке, да к племянникам-близнецам, которые теперь уже на фронте. Но теперь уже у нас не поднимается рука отталкивать Ганю в лишние на этом свете, морщиться от нее и зажимать нос. А тянет взвыть над этой подлой судьбой, до того все в ней непоправимо, необратимо, до того все перемолото и переломано, и неизбежно. Но и этой последней сладости — взвыть в полное, свободное горло, рванув ворот и забыв все, кроме вопля проклятия и жалости, — автор нам не оставляет: вокруг такие же костоломные судьбы, над каждым плакать — нет времени. Вот и Ганя поревела коротко, вернувшись с окопов, поспала немножко и побежала к Кланьке в больницу — жива ли еще? — да на Икшу домой должна съездить — вдруг там письма есть от племянников.

Маленькая рыжая Лия, совсем хилая — соплей перешибешь, возникает в той же повести символом человеческой слабости, какой-то даже случайности рождения — уж очень она нежизнеспособна и никак не соединяется с обстоятельствами: война, рытье окопов, ломы, лопаты... Мы не сомневаемся, что здоровущая, тугая, развеселая Санька дана ей в опору и спасение, в надежду выжить. И цыплячья слабость Лиина — не для жизненных тягот, и некрасивость ее, угловатая неженственность, ясно, никакого счастья ей обещать не может.

И вот оказывается, что Лия на худосочных своих плечиках вытянула уже огромную тяжесть: долгую болезнь матери, ее вздорное упрямство и раздражительность, затхлый запах болезни и надвигающейся смерти в тесной комнате; нескрываемую брезгливость отца, его сломленную страхом репрессий волю, его

откровенное бегство из дому потом, когда с его службой все наладилось, наконец, смерть матери и собственную ненужность и неприкаянность.

Лии стыдно было перед Санькой за быт своей семьи, такой обнаженно-уродливый и душный, а рядом с Санькиным наливным здоровьем — и как бы оскорбительный. И еще ей было стыдно, что Санькин отец на фронте, а ее — хоть и работает на каком-то важном военном объекте, но в тылу, не под пулями.

Так что Лиина старательность и страх не отстать от других, не быть в тягость поначалу воспринимается нами как сублимация чувства вины, стыда, и кажется немного жалкой. А привязанность ее к Саньке представляется тягой слабого к сильному — под защиту; обреченностью некрасивой женщины быть наперсницей окруженной любовью красавицы — и все это тоже делает Лию жалкой в наших глазах.

И — опять нечаянно и исподволь — нам открывается, что все как раз наоборот. Лия — сильнее, Лия жалеет и прощает Саньку — действительно добрую, действительно Лии помогавшую и привязанную к ней, но грубую и бесстыжую. Санька после смерти Лииной матери переселяется в ее комнату (а еще раньше Санькино семейство вселилось в одну из двух маленьких комнат, где жили Лиины родители), спит на материной кровати, заполняет своим бездумным плотским, утробным каким-то существованием все доступное Лии пространство и время, и Лия не злобится и не негодует. Пьяные приставаания Санькиного отца; рыночные вопли Санькиной матери, которая Лию обвиняет во всех грехах, застав Саньку с парнем в постели; Санькино страшное: «Я за твоей каргой сколько ходила, а ты уж ночки не могла переждать на Курском! Сволочь ты, вот кто...» (это за то, что Лия на кухне примостилась, пока Санька в ее комнате развлекалась с парнем, а из кухни ее ночью погнала Санькина мать, чтоб зря не жгла электричество: так

все и открылось) — все это Лия прощает не от слабости, а от понимания, что Санька другой системы человеческих взаимоотношений просто не знает, и нельзя ее обвинять в нарушении законов, ей неизвестных. Переплакивая свои горести, Лия ищет утешения не в обвинении рода человеческого в эгоизме и злобе, а в сострадательной жалости к людям. Собственный опыт убеждает ее в том, что чем сильнее кажется человек в обычных обстоятельствах, чем проще представляет он себе жизнь, тем скорее и страшнее он ломается в неожиданной ситуации, требующей напряжения внутреннего, отдачи душевных сил, долгого нераздраженного терпения. Она смотрит на людей с грустной, почти старчески-мудрой снисходительностью и больше всего жалеет мужчин, которым отведена в жизни такая тяжкая роль всего лишь из-за их физической, мускульной, т. е. кажущейся силы. А у нее в глазах пример собственного отца и Санькиного отца, пьяницы-управдома, и Виктора — того самого героя коммунального скандала, который приходил-то к ним из-за Лии (она это знала), но не смог устоять перед Санькиной настырностью и соблазном.

Когда Виктора призвали в армию, он позвонил Лии, попросил прийти проводить его. «И когда на-завтра он, странно преобразившийся в непригнанной гимнастерке, галифе, в ботинках и обмотках, шептал, хватая ее за руки и жадно глядя в лицо, что она сразу произвела на него впечатление и что он ее смущался, а Саня такая разбитная и ловкая и все такое, Лия слушала его, не отводя лица, слушала и не верила ему. И когда на прощанье он стал ее целовать, она не отворачивала головы, но все равно ему не верила. Все мужчины такие слабые: и этот тоже слабый, хотя и честный мальчик. (...) Просто из суеверия он хотел, чтобы кто-то проводил его туда, где бомбы, пули, снаряды, где смерть...»

Лия часто повторяет про себя эту фразу: «мужчи-

ны такие слабые...» Люди вообще все честные и хорошие, но такие слабые... А слабость — не вина, за слабость судить нельзя. И Лиина смерть — такая нелепая, бессмысленная, такая незаметная и великая — и неизбежная — из-за разрывавшей ее маленькое тело любви и сострадания к людям, словно великий дух, живший в ней, радостно освободился наконец от слишком тесной оболочки. Она осталась одна в брошенных окопах, притащила пулемет, отказавший после первого же выстрела, и головной немецкий танк «сполз с дороги и раздавил правой гусеницей ствол ручного пулемета и рыжую Лиину голову. Это заняло у него не больше минуты, но другие танки успели проехать мост, и теперь головной шел по шоссе восьмым».

Вот и все, что изменилось в мире от Лииной смерти: головной танк стал в строю восьмым. Мы ждали, что она умрет: от телесной немощи. Она умерла — от духовной силы. В обоих случаях она была лишней на этом свете.

Но это простое и легкое исчезновение электрически бьет по нервам, хлещет по глазам: как же так, — походя, без плача, без могилы, без реквиема?!. Вот так, оскорбительно просто — словно и не рождалась, зачеркнута жизнь: чуть ли не случайной кляксой, следом упавшего карандаша, кто-то чиркнул по бумаге — и нет лица, волос, голоса, имени!..

Нет времени, — говорит нам Корнилов. Нет времени и нет места. «Девочки» и «дамочки» тащутся пешком по грязи рыть еще где-нибудь никому не нужные окопы. Капитан Гаврилов несется на мотоцикле навстречу режущему ветру, зная, что болен, что не сберег простреленные легкие — зачем он спешит? К чему? Напряжение, голод, жертвы, — к чему? Вот сейчас скажут, ждем мы (и герои), по радио обещали передать важное сообщение, сейчас скажут, назовут тайный и великий смысл всех смертей и потерь, всей каменной тяжести происходящего. Победа? Новые

войска, новое, непобедимое оружие? Или — поражение? Конец? (Это уже ждут только герои, мы — знаем.) Да нет, про то, как теперь будут работать бани и прачечные. Пощечина. Нет конца унижениям. Нет конца преступлению. Кровь и пепел — все зря. Нечаянно. Напрасно. И неотомщенно. Не врагам, не немцам — своим, «самым мудрым и великим», хозяевам — «под водительством...», трусам в ореоле доблести, ничтожествам в лавровых венках.

Ничего этого Корнилов не называет. Его прием, его «запальчивый» реализм состоит в том, чтобы, изложив «предлагаемые обстоятельства», — не сделать вывода. Вывод предлагается сделать читателю. Но не слишком рано, не преждевременно — отсюда и бесконечное кружение действия вокруг и в сторону от событий, обрастание реальной минуты многочисленными составными, тянущими взглянуть назад, вернуться и проверить.

Таким приемом пользуются обыкновенно авторы детективных романов, стараясь сбить нас со следа множеством открывающихся возможностей — это составляет основную их прелесть и ценность — шахматный азарт. Корнилов этот прием применяет с совсем другой целью: не дать нам успокоиться на том, что мы уже узнали, чтобы мы не могли производить вычислений (выводов) со скоростью и на уровне четырех действий арифметики. Ибо в этом случае мы неизбежно потеряем из виду общий план и не сможем учесть всех привходящих обстоятельств, которые, на первый взгляд, могут показаться неважными или не имеющими решающего значения.

Это авторское «лукавство» (как, впрочем, и любой литературный прием) срабатывает безотказно только когда автор не теряет чувства меры. С моей точки зрения, Корнилову в этом смысле совершенно удалась только «Девочки и дамочки». Похоже, что повесть на-

писана единым духом, — так она цельна, строга и компактна.

Что касается следующей (я не знаю времени ее написания и имею в виду отраженное в ней время) — «Без рук, без ног», то тут, мне кажется, Корнилова повела за собой форма повествования от первого лица. В облегченном потоке слов, в некоторой разговорной развязности, с помощью которой автор хочет создать впечатление естественной речи, тонет глубина и важность переживаемого героем. Устаешь от одних только улиц, которыми ходит Валерка Коромыслов и которые мы непременно проходим вместе с ним. А он за время действия повести всю Москву исходил.

В многозначительной недоговоренности, которая, естественно, привлекает наше внимание, Корнилов ведет линию взаимоотношений Валеркиных родителей, а между тем линия эта чисто вспомогательная: она нужна для того, чтобы объяснить неприсмотренность Валерки, беспризорность его и необходимость поэтому самому искать ответов на «проклятые» вопросы. Сама же по себе эта линия — при всем ее драматизме и неразрешимости — достаточно банальна.

Но в повести она все время висит тайным ключом к действию, настойчиво выплывает на первый план (по причинам чисто механическим, обстоятельным) и топит основную, главную линию: Валерка от рождения, сам того не зная, связан с изгоями — со староверами Нефедовыми (сестрой матери и ее мужем), через них — с ненавидящим сталинский режим Козловым, которого держат сперва в психушке, а потом забирают на Лубянку; с евреями — потому что в младенчестве его кормила молоком жена отцовского брата Берта, и вырастили его Федор с Бертой как своего сына, и любили, может быть, больше собственных Валеркиных родителей, у которых никогда не оставалось для него времени.

А влюбляется он — тяжело и смертно, как всегда

бывает впервые, — в девушку из высшего советского круга, из правящей «аристократии», не подозревая даже, что ему никогда не соединить, не примирить два этих круга, что один исключает другой и что ему придется выбирать между дорогими ему людьми. И что-то, кого-то — отрубить.

Среди разговорно-бытовых деталей, стенографически-подробных описаний теряется важное: раздумья Валерки, пошел ли бы он вместе с Бертой в яму, останься они при немцах в Днепропетровске или построился бы родственником к соседям-русским? Это его мучительно занимает, и он решает потом, что — не пошел бы, струсил. И страдает от несбывшейся вины. Эта тема имеет гораздо более широкий смысл — останется ли он с близкими по духу, но обреченными, или любовь к женщине перетянет, и он перейдет к хозяевам, к счастливым обладателям пирога? Он смутно подозревал, что Рите не о чем было бы говорить с Козловым, да и у Нефедовых ей нечего делать, но он не понимал, что это — пропасть, фронт. Нужна была ясность, последняя точка, и Рита ее поставила: «А-а-а! — завывала она, как сирена (...), — вот тебе! Вот! Вот, гадина... — лупила она меня кулаком, но не очень больно или я боли не чувствовал. — Мало тебе вчера было?! Ах, ты, жидовское молоко! Да, жидовское, жидовское! — заблестела она своими большими, навывкате, глазами и кинулась по лестнице вниз».

Валерка не мог постигнуть этой чудовищной необходимости: рвать душу и жизнь надвое, он предпочел петлю, но и в этом последнем милосердии было ему отказано: петля порвалась. Судьбой Валерка приговорен был к выбору, и он выбрал — гонимых.

В повести множество ярких, интереснейших сцен, точных находок — стилистических и образных, но все это подчас нужно выкапывать из кучи слов, из словесной суеты и толкотни, подчас раздражающей.

Если в «Без рук, без ног» Корнилова повела за

собой форма повествования, то в «Демобилизации» его несколько подвел чисто рационалистический момент замысла: параллель с Толстым. Протестуя против толстовского фатализма, который у великого писателя нередко переходил в авторский произвол — особенно когда дело касается судеб героев, Корнилов делает то же самое — в одних случаях совершенно сознательно, в других — возможно, не замечая этого.

Борис Курчев пишет заявление Маленкову с просьбой о демобилизации и включает в него чистую выдумку о невесте-аспирантке, на которой он не может жениться, потому что в месте расположения полка нет для нее работы. Приехав в Москву, в дом дяди, Василия Митрофановича Сеничкина, он встречает у двоюродного брата Алексея аспирантку Ингу, которая становится затем героиней его романа и всей книги.

Командир полка, в котором служит Борис, подполковник Ращупкин, оказывается вхож в круг литераторов, куда попадает потом Борис; кроме того, Ращупкин оказывается любовником жены Алексея Марины. Тот же вездесущий подполковник оказывается знакомым и несостоявшимся любовником переводчицы Клары Шустовой, с которой когда-то был летний роман у Бориса.

Борис и Инга долгое время никак не могут встретиться, хотя Инга едет в дом отдыха, находящийся недалеко от воинской части, где служит Борис. На танцы в дом отдыха приезжают офицеры из его полка, но сам Борис в это время болен. Когда Инга звонит в часть, Борис уезжает в Москву. Борис, дважды будучи в Москве, звонит Инге, но не застает ее дома. В результате этих почти балетных по условности «невстреч» развивается Ингин роман с Алексеем, заранее обреченный на разрыв. И только после этого Инга и Борис соединяются, что тоже было понятно и предопределено с самого начала. Корнилов словно задает-

ся целью изобретать трудности, которые потом ему самому приходится преодолевать.

Бесконечное пересечение путей Бориса и Ращупкина, а также окончательный разрыв с братом Алексеем увенчиваются неожиданной, без всякой радости и желания, близостью с Мариной.

Корнилов строит из судеб героев некую карусель, в которой все неизбежно крутятся в одной плоскости, и каждый столь же неизбежно оказывается в том месте, где за минуту до него находился другой. Вероятно, в этом есть и своя заманчивость, но в ней должна была быть и своя мера. Вырисованные по кругу случайности быстро обнажают искусственность происхождения и достигают цели, обратной авторскому замыслу: заставляют скучать и сомневаться в серьезности происходящего. Скажем, без истории Ращупкина и Марины, которой предшествует тоже весьма натянутая история появления Ращупкина в доме Крапивникова, как и без Клары Шустовой, повесть отлично могла бы обойтись и ничего бы при этом не потеряла.

Вышесказанное очень огорчительно, потому что книга в целом — хорошая. Я это говорю не в жалостном смысле «был бы человек хороший», а совершенно серьезно. В сущности, Корнилов первый из сегодняшних прозаиков попытался препарировать современное советское общество, вооружившись скальпелем и микроскопом. И он первый нарисовал столь подробную и точную картину гниения, похожую на гистологический анализ раковой опухоли. Он делает это терпеливо и как может бесстрастно. Он аккуратен, как врач, и, как врач, небрезглив. Он пишет историю болезни общества и становится на позиции разных его слоев. Его не отталкивает ни Федор Павлов, пристававший в пьяном виде к собственной беременной сестре; ни хапуга-спекулянт Игнат, наживавший капитал на умирающих от голода в блокадном Ленинграде; ни измо-

чаленный и жалкий Гришка Новосельнов; ни открывенный карьерист Ращупкин; ни жуткая провидица Марина, следователь по особо важным делам. Врач не может отказать в приеме пациенту, какого бы мнения он о нем не был, — писатель не может отказать человеку и обществу в честном изложении их реального бытия. Нам, читателям, оставляет он право негодовать, надеяться, восхищаться и ненавидеть. И строить планы и предположения на будущее.

Во всех своих вещах Корнилов тщательно избегает одного: декламации. И даже просто «высокого жанра». Он очень боится всяческих восклицательных знаков, но при этом первая из его повестей «Девочки и дамочки» в сути своей — трагедия, а две другие («Без рук, без ног» и «Демобилизация») — острые драмы. Накал ситуации в «Без рук, без ног» несомненно сильнее (это соответствует временному фону событий), но и «Демобилизация» построена на драматизме, только не коллизионном, а психологическом и общеисторическом.

Внешняя беспечность и простота повествования, недопущение жанра «высокой трагедии» или «высокой комедии» исключает для читателя и момент катарсиса, и минуту светлой, очистительной радости, так что тяжесть оседает в нас нерастворяющимся комом, которому не изойти слезами или смехом. Корнилов не хочет нашего сострадания, он заставляет нас страдать — и тем вернее, чем меньше он об этом внешне заботится. Он не изображает горя крупным планом, в красивом, от лучшего портного трауре, на котором прекрасно видны все рюшки и оборочки. Он изображает горе, растертое, измельченное в пыль — будничное, кривозубое, рябое, порошковое горе. Горе с чаем, горе с кашей, горе с рождением, с любовным забытьем, с прощением, прощанием и встречей. Ибо в той стране, где живет Корнилов, горе подмешено связывающим цементом в тиканье часов, и тем каждой

теплой, тонкой — да просто человеческой шее гарантирован свой камень судьбы.

Несет свой камень и Владимир Корнилов. Он хочет для себя единственного права: быть летописателем. Что ж, он его заслужил.

Поэт Иосиф Бродский, изгнанный из Советского Союза четыре года назад, избран в Американскую Академию Наук и Искусств:

American Academy of Arts and Sciences
Section 4 — Literature
Elected May 12, 1976

ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГ

Joseph Brodsky
309 Wesley Street
Ann Arbor, Michigan 48103

Дорогой Иосиф!

От всей души поздравляем тебя с этим заслуженным избранием! Мы уверены, что все наши читатели вместе с нами гордятся тобою. Желаем много и долго работать во славу русской литературы.

*Редакция журнала
«Континент»*

ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГ

Колонка редактора

УРОК СВОБОДЫ

В ночь с четвертого на пятое июля израильские воздушно-десантные части, преодолев почти четыре тысячи километров, высадились на столичном аэродроме Уганды и, после получасовой схватки, освободили около ста заложников — пассажиров самолёта «Эр-Франс», захваченного на пути из Тель-Авива в Париж пропалестинскими террористами.

Эта блестящая операция восхитила весь демократический мир. Главы ряда западных правительств, еще недавно безропотно выполнявшие любые требования воздушных пиратов, направили в адрес израильского правительства поздравительные телеграммы. Западные газеты, и в их числе даже такие, как французская «Монд» и западногерманская «Цайт», не отличавшиеся до сих пор особой моральной разборчивостью, отозвались на событие весьма положительно. Мир вдруг вспомнил о, казалось бы, уже давно осмеянных и забытых понятиях. Слова: Честь, Справедливость, Самопожертвование вновь замелькали в печатных столбцах. Как говорится: нет худа без добра!

Тщательное расследование всех обстоятельств этого дела показало, что захватившие самолёт «беззаветные борцы за свободу палестинского народа и всего остального человечества от ига буржуазной демократии, империализма и эксплуатации человека человеком» (в защиту которых, кстати сказать, выдающийся гуманист Генрих Бёль не поленился написать целый роман) были идейно и организационно связаны с кровавым диктатором Уганды, расистом Иди Амином, открыто провозгласившим себя принципиальным последователем Гитлера в современном

мире. Воистину: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!

Расследование показало также, что единственная из оставшихся в Уганде заложниц — семидесятилетняя Дора Блох (во время израильского рейда она находилась в городском госпитале) была зверски умерщвлена на больничной койке в отместку за все случившееся. Это гнусное убийство красноречиво свидетельствует о том, каким образом герои «национально-освободительного» движения в Африке, вроде Иди Амина и ему подобных, будут решать проблему белых меньшинств на черном материке. И напрасно политические ханжи и лицемеры типа Киссинджера, Пальме и компании спешат нажить себе профессиональный капитал безответственной демагогией по поводу «прав большинства», трусливо умалчивая при этом о насильственно выброшенном со своей земли «большинстве» Немцев Поволжья или Крымских Татар. Если и в Африке случится худшее, кровь будущих жертв (как и уже пролитая кровь сотен тысяч ни в чем не повинных во Вьетнаме и Камбодже) в первую очередь падет на них, ибо, в отличие от протезируемых ими «освободителей», они знают, что творят. Рано или поздно им придется ответить перед человечеством по всей строгости законов, принятых в свое время в Нюрнберге.

Рейд возмездия израильских десантников может служить для них поучительным напоминанием об этом!

Критика и библиография

НЕВИДИМКОЮ ЛУНА...

Граждане судьи! Нас уже который день пытаются ввести в обстановку некоего психического магнита, где происходят чудеса... Синявский уверял, что его произведения — это опыты философского содержания... Чистое искусство без политических целей. Но «искусство для искусства» — это ложь. Эта позиция сама по себе враждебна. Однако в произведениях Синявского есть политический смысл.

Из речи общественного обвинителя Зои Кедринной на процессе Синявского и Даниэля. 12 февраля 1966 г.

Помнится, после выхода Синявского из лагеря, летом 1971 года, я, по сохранившемуся во мне давнему диссидентскому сентименту, поинтересовалась: «Ну и что Синявский? Как его здоровье? Чего подделывает?» — И собеседник мой, который, впрочем, и сам ничего толком не знал и никакого такого Синявского в глаза никогда не видел, сообщил мне, что живет он, говорят, ничего, написал, говорят, книгу о Гоголе, книгу о Пушкине...

То есть как — о Пушкине? Что же это, в конце концов, делается: работал человек в Институте мировой литературы — писал повесть «Суд идет»; осудили его же, именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, на 7 лет ИТК строгого режима — а он (в лагерях!) — о Пушкине? Это как говорил некогда булгаковский Воланд (Канту. За завтраком): «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут». В лагере муки свои положено живописать. Ну, в крайнем случае, идейное пере рождение (от марксизма к идеализму и обратно).

Собственно говоря, до сих пор было известно только одно произведение такого рода — очерк Марины Цветаевой «Мой Пушкин». Правда, Цветаева в своем жанре гораздо

откровеннее: «Мой Пушкин! Что хочу, то и делаю», — ее индивидуализм выпирает уже из самого заглавия, отчего такое, даже несколько вызывающее нежелание считаться со вкусами окружающих, как это ни странно, делает ее позицию гораздо менее уязвимой в смысле возможных нападок со стороны тех, кто склонен отдавать предпочтение традиционному пушкиноведению, нежели позиция Абрама Терца.

Ибо «Прогулки с Пушкиным» внешне сделаны вроде бы под академическое исследование. Тем не менее, я настаиваю на своем определении жанра этой книги: прежде всего это проза. Разумеется, решающим критерием здесь является отнюдь не субъективный: выбор псевдонима — а объективный: для художественного произведения главный вопрос не «о чем», а «как». Как это написано? Или, перефразируя Малларме, «проза делается не из идей, а из слов». Из этого отнюдь не следует, будто бы в книге Синявского «мыслям тесно, а словам просторно», напротив, любого из отмеченных им вскользь наблюдений хватило бы на большую литературоведческую статью. Но в отличие от такой статьи, эта книга сама по себе — прежде всего объект для литературоведения, а не для библиографии. (Или того, что средневековые схоласты называли «вторичной интенцией»: мысль о мысли о предмете.)

«Чувство судьбы владело им в размерах необыкновенных. Лишь на мгновение в отрочестве мелькнула ему иллюзия скрыться от нее в лирическое затворничество. Судьба ответила в рифму, несмотря на десятилетнее поле, пролежавшее между этими строчками: как будто автор отбрасывает неудавшуюся заготовку и пишет под ней чистовик.

1815 год:

В мечтах все радости земные!

Судьбы всемогущее поэт.

1824 год:

И всюду страсти роковые,

И от судеб защиты нет.»

При этом еще налицо и нарочитое разрушение формы традиционного центона: не просто «стихотворение, целиком составленное из строчек другого стихотворения», но — два двустрочия прямо противоположного содержания, диалог, спор. Получается, будто Синявский сам подсмеивается над своей же находкой.

Вообще можно сказать, что книга Абрама Терца почти целиком построена на реминисценциях: от самых известных, хрестоматийных пушкинских (и не только пушкинских) строк, употребленных иногда в самом ошеломляющем контексте — до анекдотов или речевых конструкций, присущих стилю авторов вроде того, чьи слова вынесены нами в эпиграф:

«Этого еще не хватало! Искусство — чистое? Нонсенс. Искусство и так стоит в чрезвычайно подозрительном отношении к жизни (Пардон! «к действительности» — Ю. В.), а тут еще — чистое! Да возможно ли, к лицу ли искусству быть чистым? Никогда. Не одно, так другое. Правильно говорят: нет и не бывает чистого искусства. Взять того же Пушкина. Декабристов подбадривал? Царя-батюшку вразумлял? С клеветниками России тягался? Милость к падшим призывал? Глаголом сердца жег? Где же чистое?»

Однако тут можно отметить, что обилие аллюзий — не монополия Синявского, а особенность современной русской прозы вообще (и даже устной речи — мы все вдруг заговорили цитатами). В доказательство можно припомнить хотя бы автора повести «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева, с его широчайшим диапазоном от Священного Писания, античной истории и немецких философов прошлого века до советских газет, легкомысленных песенок и «классиков марксизма-ленинизма». Как правило, такое обилие перифраз рассчитано на чисто сатирический эффект, потому хотя бы, что «насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете». Ирония же «Прогулок с Пушкиным» глубоко амбивалентна. В чем-то она, быть может, сродни той застенчивости, с какой влюбленный мальчик прячет за насмешками свое восхищение. К тому же сказывается отрывка от пафоса, боязнь высоких слов, которая свойственна всем бывшим советским гражданам: Пушкина мы «проходили» в школе попеременно с обществоведением, та и другая наукообразная фразеология смешались в голове в какую-то кашу, более того, как утверждает Н. Я. Мандельштам, по этой причине Пушкина сейчас почти не читают.

Но именно амбивалентный характер иронии Синявского и отличает эту книгу от его литературных предшественников. Хотя, в отдельных случаях, совпадение может быть

почти текстуальным (взять хотя бы третий из «Анекдотов из жизни Пушкина» Даниила Хармса).

В Пушкина же Синявский всматривается, как близорукый, старающийся без очков разглядеть мелкие предметы. Впритык. Без никаких там разделяющих стекол в виде «почтительных титулов, за которыми его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами». Так и проскальзывает между строк: «А ведь я тебя, Пушкин, насквозь вижу. Никуда ты от меня не денешься. Сам такой.» — Сам негр. Сам дворянин. Сам Абрам Терц.

Не случайно именно в связи с родословной поэта, его африканскими предками, проза «Прогулок» вдруг становится ритмической, подобно заклинаниям шамана:

«Негр — это хорошо. Негр — это нет. Негр — это небо. «Под небом Африки моей». Африка и есть небо. Небесный выходец. Скорее бес. Не от мира сего. Жрец».

И эта дикая (под бубен! под тамтам!) африканская пляска разбивается уже чисто европейски-русской, какой-то тарусской, немного сентиментальной мелодией:

«Тогда дети, наверное, еще не читали Майн-Рида и Жюль-Верна и не увлекались играми в жаркие страны. А у Пушкина уже была своя, личная (никому не отдам!) Африка. И он играл в нее так же, как какой-нибудь теперешний мальчик, играя в индейцев, вдруг постигает, что он и есть самый настоящий индеец, и ему смешно, и почему-то жалко себя, и все дрожит внутри от горького счастья — с обыкновенной мамой трястись по летней Рузаевке (поезд «Москва — Ташкент»), в то время как он индеец и не забудет этого уже до конца дней».

Бывают люди (та же Марина Цветаева), которые с любовью к Пушкину родятся, впитывают ее с молоком матери. Бывает, что поначалу человек хорохорится: а кто такой Пушкин? что еще за идол такой? сбросить его с корабля современности!.. Но так или иначе, человеку русской культуры от Пушкина никуда не уйти. Раскройте любую нашу книгу и если там только есть именной указатель, то, будь она хоть о минералогии, пожалуйста, читайте: «Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837), поэт, страницы такие-то и такие-то...»

Разочаровавшись во всех и всяческих идеологиях, мы не говорим: «Священные камни...» — для нас это как-то слишком торжественно. Мы просто говорим: «Пушкин!..», Пушкин для нас — эвфемизм слова «культура», воплощение мечты об утраченном золотом, девятнадцатом веке.

«Касатка, милая Кассандра,
Ты стонешь, ты горишь — зачем
Стояло солнце Александра
Сто лет назад, сияло всем?»

(Осип Мандельштам. Анне Ахматовой. Декабрь 1917 года.)

Но для Синявского символичен не только Пушкин-поэт, но и Пушкин-человек, точнее, человек-поэт. Тема стихотворения «Пока не требует поэта...» — одна из основных фабульных линий книги Абрама Треща. Человек и поэт в Пушкине — да это чуть ли не гражданская война какая-то! Война, которую с фатальной неизбежностью (уж кого бы, казалось бы, никак не заподозришь в фатализме — так это Синявского, и вот на тебе!) выигрывает Пушкин-поэт, где гибель Пушкина-человека predetermined от начала века.

Если, как мне лично кажется, представить себе, что герой последней книги Синявского не только и не столько Пушкин — но и каждый русский поэт, можно разыграть тот же сюжет по совершенно иному сценарию, но с тем же неизбежным результатом. Например, поэт заставляет человека написать стихотворение о Сталине (чему через много лет с явным неодобрением будет удивляться Эренбург).

Книгу о Пушкине Андрей Синявский строит, как ловушку: нанизывая свои наблюдения, для кого-то спорные, всегда — удивляющие, связанные между собой иногда еле уловимой нитью. И только где-то в середине ты, наконец, понимаешь, о чем эта книга. Книга о назначении поэта. О роли искусства. И о свободе.

Ю. Вишневская

Коротко о книгах

Геннадий Айги

СТИХИ 1954-1971

Выход книги стихов Геннадия Айги — незаурядное событие в русской поэзии. Получивший широкую известность как переводчик русской и французской поэзии на чувашский язык, Айги как оригинальный поэт упорно замалчивается в СССР, хотя стихи его публиковались по-чешски, по-польски, по-немецки и по-французски. Крайний консерватизм и статичность всего общественно-го бытия не оставляют места для чего-либо необычного и в советском искусстве. Сложность мысли, выразительных средств, необщедоступность — вот стены, о которые почти всегда разби-ваются попытки публикации чего бы то ни было нового по духу и выражению. «Наше современное искусство, — пишет Айги, — все еще является только искусством сопротивления, а не строения культуры». И далее: «будущее искусство (новаторское лишь в силу того, что в нем будут новые черты, как в любом подвижническом по-

рыве искусства) должно быть направлено именно против всего порочного в новейшем искусстве начала века, а именно — против тех черт, которые втянули его в участие в том ужасном, что можно назвать преступлением против человечности. Эти черты, на мой взгляд, есть, например, и в Хлебникове и в Маяковском». Айги говорит, что именно ради будущего он все более становится «антифутуристом». Это выражается не столько в прямой борьбе стихов против тех антидуховных сил, которые поэт называет «материалистическим эпигонством», сколько в положительном начале его поэзии — попытке экзистенциалистическое мироощущение выразить средствами стиха. Основную ценность будущего искусства составляет для него «человек в кьеркегоровском понимании». Ставя себе философскую задачу утверждения положительных ценностей, поэт верен этому принципу во всем: он, например, избегает в сти-

хах однозначно формулировать мысль (памятуя, видимо, тютчевское «мысль изреченная есть ложь»?) Отсюда зыбкость, неоднозначность синтаксиса, возможность для читателя домыслить по-своему прочитанное. Отсюда же — в области формы — сосредоточение поэта лишь на метафоре. Айги как бы не хочет отвлекать себя и читателя другими возможностями стиха — хотя бы его звуковыми особенностями. Отсюда пристрастие поэта к белому стиху, и еще чаще — к верлибру. «Пока глагол говорит сквозь лицо», надо успеть схватить, почувствовать те знаки, те зовы духа, которые может уловить поэт — их приемник и усилитель. Для Айги прорыв к высшей духовности возможен лишь через метафору. И это редкий случай в русской поэзии, когда так называемый «свободный стих» оказывается органичным в ее устоявшейся за два века «знаковой системе», построенной во многом на музыке.

Не назвать, а дать почувствовать через соощущение — вот чего хочет от своих стихов поэт. Он не утверждает, он выражает чув-

ство, предлагая читателю почувствовать пусть иначе, но то же самое. Абстрагируясь от субъекта чувств, он старается открыть их нам как бы в чистом виде:

Нет спящего — а есть
приснившееся,
подобно пламени
трепещущему!

Воссоединение — пониманием. Воссоединение в сходном чувствовании. Но называть это сложно: чем жестче что-либо сформулировано, тем большая часть содержания невозможно теряется.

Говоря о поэзии Геннадия Айги, менее всего можно употреблять слово «экспериментальная». Это не эксперимент, а самовыражение личности в наиболее чистом виде, насколько позволяет приблизительность человеческих слов. Более того — попытка через *самовыражение* дать *духовыражение*:

«Что может стать
единственное е с м ь?
как бого-красота! —
(а что для нас? —
идеей будто нищенства:
окружена пока и болью
цвета:
и болью — может быть
— души)...

Изд-во Отто Зангер. Мюнхен, 1975. 216 стр. (На правах рукописи.)

ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ

Появление этой книги — серьезное событие в русской прозе, потому что это появление писателя. Даже не появление, а явление — как-то неожиданно и вдруг, и писателя готового, сложившегося, уверенного. Случай редкий и чрезвычайно любопытный. Впрочем, тот факт, что Саша Соколов только что выехал из Советского Союза, в большой степени объясняет «волшебство» возникновения нового литературного имени. Сколько еще имен предстоит нам услышать? И о скольких мы не услышим никогда?

Эта книга удивляет не только свободой пера, отличающей истинный талант, но свободой мысли, сконцентрированной в малом пространстве бумажного листа так плотно, что напоминает бульонный кубик. И при высочайшем — на разрыв — напряжении мысли, при общей сложности литературной формы, в которую она заключена, в книге совершенно нет напряжения авторского, технического. Соколов свободен в писательском ремесле так же, как в выборе ассоциаций.

Книга бессюжетна. Медленно, толчками мы получаем представление о ее герое, подростке, ученике школы для умственно отсталых детей. Детей с пораженным от рождения мозгом. Но очень быстро нам становится понятно, что эта болезнь заключается в нестандартности мышления, во внутренней свободе. С такой болезнью некуда в сегодняшней России деваться, кроме как в школу для дураков. И «дураки» любят свою школу — там они могут быть непохожими на других на вполне законных основаниях.

Герой попадает в эту школу, потому что он ощущает раздвоение личности. В нем борются два начала: рабство и свобода, мелкий расчет и вольный дух. Подобная борьба происходит и в реальной действительности вокруг него, но только об этом не принято говорить вслух, а мальчик говорит — и его запирают в больницу, а потом отдают в эту самую школу для дураков. Где же еще и место человеку, который не понимает иных взаимоотношений с миром, кроме обмена истинами?

Повествование представляет собой как бы неорганизованный поток мысли и воображения, перемешанных в свободных пропорциях и сочетаниях. Отталкиваясь от реального предмета, картины или события, мысль уходит в свободную ассоциацию, не связываемую ничем: ни прямолинейной логикой, ни каким-либо видом необходимости. Она может стимулироваться звуковым ас-сонансом или случайно мелькнувшим образом. Она не задерживается подолгу ни на чем, но беспрерывно кружит вокруг подсознательных желаний и интересов героя. Она

бесчисленно и почти бессельно останавливается на лицах и именах, но вдруг воплощается в точное и жесткое слово. Это изображение биофизической связи человека с миром, которая может осуществляться только за счет непосредственного общения, т. е. свободы. Значит — утверждение, что свобода имеет изначальный, биофизический характер, и не может служить ни товаром, ни подарком: ее нельзя дарить или отнимать, ею нельзя жонглировать и приобрести ее нельзя, ибо она существует внутри человека.

Изд-во «Ардис», Анн-Арбор, США, 1976 г., 169 стр.

В л а д и м и р В о й н о в и ч

ИВАНЬКИАДА

Автор «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина» и на этот раз называет свое произведение именем главного героя. Вернее, фамилией. Но товарищ Иванько существенно отличается от солдата Ивана Чонкина: во-первых, своим едва ли не генеральс-

ким положением, во-вторых, — своей очевидной небезвредностью, в-третьих, — своим вполне реальным существованием под названной фамилией.

История вселения писателя Войновича в новую квартиру — грубо натуралистична. Подтверждая совершен-

ную фантастичность советской жизни, она, тем не менее, выглядит крупномасштабным обобщением. Она состоит всего лишь из телефонных звонков, личных встреч (во дворе, в начальственных кабинетах, на собраниях, дома) и из добросовестного рассказа о дипломатических, военных и партизанских действиях, необходимых для получения советским гражданином (да не простым — писателем!) вместо однокомнатной квартиры — квартиры двухкомнатной. Причем, имея на это право, зафиксированное в статьях закона и подтвержденное общим собранием членов кооператива, которому принадлежит дом. И даже записанное в протокол собрания.

Перед сложностью и богатством событий, разворачивающихся в маленькой книжке Войновича, бледнеют все детективы в мире. Ибо человеческий разум все же ограничен законами логики и послушно им следует. И так как логика доступна не только писателю, но и читателю, то он в восьмидесяти пяти случаях из ста может предугадать, как действие повернется дальше и какую игру ведет с ним автор. Но так как Войнович ничего не при-

думывает, а только прилежно списывает с натуры, то предугадать дальнейшее совершенно невозможно. Нет надобности говорить, что не только человек, но и электронная машина не смогла бы справиться с этой задачей. Она бы немедленно сломалась. Ибо речь ведь идет не о жизни вообще, не о порядках вообще, а о жизни и порядках в Советском Союзе, которые посрамили все законы логики вот уже несколько десятилетий назад и, подбодренные солидным опытом, набирают в этом направлении галопирующую скорость.

Писателю Войновичу квартира нужна, чтобы в ней можно было передвигаться, есть, спать и даже иногда писать книги. Крупному советскому боссу товарищу Иванько (тоже члену Союза писателей — он за ними надзирает изнутри и сверху) квартира нужна, чтобы поместить в ней новейшее американское кухонное оборудование, которое писателю Войновичу, по скудости его технологически-кухонного воображения, представляется почему-то в виде нежно-голубого унитаза.

По бедной общечеловеческой логике, квартиру нужно дать Войновичу. По богатой

советской — товарищу Иванько, и вот почему: Войнович, его жена и ожидаемый ребенок при желании отлично могут впечататься в стены, просто даже размазаться и химически с ними соединиться — они-то ведь мягкие! А оборудование (тем более американское) не может же вмазаться! Потому что оно твердое. И может сломаться. А писатель Войнович не может сломаться — он привык.

Нет, воистину советским писателям надо просто стенографировать жизнь — и не

надо мучиться над перипетиями, и в заграничном мире все равно никто не поверит, а похвалят за богатую фантазию.

Очень пикантную книжку написал Войнович. Еще и потому пикантную, что его герой товарищ Иванько нынче трудится на унитазной ниве за границей — кажется, в Америке. Так что американские читатели вполне могут застать его за этим занятием. Приятно все-таки увидеть в жизни литературного героя.

Изд-во «Ардис», Анн-Арбор, США, 1976 г., 112 стр.

Читайте в десятом номере «Континента»

прозу

**В. Некрасова, А. Гладилина,
Г. Снегирева**

СТИХИ

А. Галича, И. Бродского

публицистику

**А. Солженицына, А. Амальрика,
Л. Чуковской, И. Кочуровского,
З. Бржезинского, М. Васильева,
Ю. Телесина**

публикации произведений

**А. Платонова, М. Булгакова,
Д. Орвелла**

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С ПЬЕРОМ ДЕКСОМ

Вопрос. Вы известны в Москве в основном среди интеллигенции. Конформисты вас знают как многолетнего главного редактора коммунистического журнала «Леттр Франсэз». Инакомыслящим хорошо знакома ваша замечательная книга «Что я знаю о Солженицыне». Не могли ли бы вы рассказать нам об этой книге? Что побудило вас начать над ней работу?

Ответ. Чтобы ответить на ваш вопрос, я должен вернуться к истокам своей жизни. Я стал членом французской компартии в конце сентября 1939 года, когда она была запрещена. Это было трудное время. Война 1939-40 годов, советско-германский договор о ненападении... Несмотря ни на что, французская компартия основным врагом Франции считала фашизм. Для меня и многих тогдашних молодых людей эта позиция была очень важной. Правительству мы не верили — его глава Даладье как раз тогда подписал Мюнхенское соглашение... Короче говоря, я рассматривал французскую коммунистическую партию прежде всего как антифашистскую. В глазах студента, каковым я был тогда, знавшего, что его скоро мобилизуют на фронт, это была национальная партия — партия французских коммунистов. Правда, через несколько недель после Мюнхенского соглашения французская компартия стала проводить пораженческую политику Коминтерна, который — после вторжения в Польшу — настаивал на примирении с Гитлером. Но этот переворот происходил лишь на верхах партии. Рядовые круги фран-

цузских коммунистов продолжали рассматривать Гитлера как врага.

Когда немцы вторглись во Францию, я получил от своей партии, находившейся в подполье, приказ готовиться к вооруженной борьбе. Мы начали усиленно организовывать движение, которое впоследствии получило название Сопrotивления. Я вернулся в Париж в начале июля 1940 года и увидел, что студенты-коммунисты, в основном, были настроены резко антифашистски. 11 ноября 1940 года мы вместе с голлистами организовали первую демонстрацию протеста против оккупации. Я тогда впервые был арестован, но вскоре выпущен. Война с СССР еще не была объявлена, но ее приближение ощущалось в воздухе. Тогда для меня было все просто, и я чувствовал себя именно на той стороне баррикад, на которой и следовало быть. Я ничего еще не знал о тех коммунистах, которым советско-германский договор позволял идти вплоть до сотрудничества с фашистами. В июне 1940 года некоторые коммунисты даже сделали попытку легально, с разрешения немецких властей, выпускать «Юманите». Партия отказалась впоследствии признать эту попытку делом своих рук...

Затем я был отправлен в концентрационный лагерь Маутхаузен и вернулся во Францию только в 1945 году. Я был уверен, что политика компартии не изменится, по-прежнему будет антифашистской, направленной в сторону национального возрождения. В стране существовал тогда и французский фашизм, возглавляемый маршалом Петеном. Франция была разорена войной. В то время Сталин казался оплотом борьбы против гитлеризма, тогда как западные политики во главе с Черчиллем готовили восстановление Германии. Быть на стороне СССР — для меня это означало и отстаивание национальных интересов. Я начал сомневаться в политике ФКП только после процесса Марти и Тийона в 1952 году. Эти два чело-

века занимали ответственные посты в партии. Кроме того, Марти активно участвовал в гражданской войне в Испании, а Тийон был одним из руководителей французского Сопротивления. В 1945 году я стал политическим секретарем Тийона, тогда занимавшего пост министра, так что дело Тийона меня близко касалось. Другой мой командир, с которым мы вместе партизанили в Бретани, был исключен из ЦК партии в 1950 году. В 1952 году я отметил, что все мои непосредственные руководители, которые вели антифашистскую деятельность, были сняты со своих постов в партии. В то время уже произошел разрыв с Тито, были процессы Райка и Костова, но они меня оставили равнодушным — я не знал ни Костова, ни страны. Но процесс Сланского, происходивший в конце 1952 года в Чехословакии, меня глубоко поразило. Я ничего не понимал: на скамье подсудимых сидели люди, которых я так хорошо знал... Лондона я знал по французской тюрьме и концлагерю Маутхаузен; Клементиса, Герлиндера я тоже хорошо знал, как и их товарищей. Я анализировал факты. С одной стороны, во Франции всех коммунистов, занявших в 1940 году позицию, если можно так выразиться, национального коммунизма, снимали с руководящих постов и даже исключали из партии, а с другой, — казнили Клементиса как раз за то, что он был против советско-германского договора 1939 года и считал его ударом в спину его родной Чехословакии. Я пришел к выводу, что политика французской компартии и политика советской сталинской партии далеко не так ясны, как во времена моей юности...

Это было началом эволюции моего отношения к партии. Вскоре умер Сталин, было дело врачей, обвинение Берии, реабилитация, потом десталинизация. Между 1953 и 1955 годами я открыл жестокую действительность сталинизма, которой я долго отказывался верить. Но она открылась мне как раз в то

время, когда советская компартия исправляла ошибки, и я находил политику Хрущева справедливой и мужественной, так как он не только критиковал Сталина, но и исправлял все содеянное, например, освобождал заключенных.

Я потерял старый идеал. Тогда я понял, какую ужасную ошибку я совершал, веря в Сталина, но все-таки поверил политике Хрущева, полагая, что Хрущев осуществит до конца начатое им дело. Тогда во Франции подобный образ мыслей был для коммуниста нелегким делом — компартия тормозила десталинизацию, заглушала всякие разговоры о ней, обо всем, что обнажало былые преступления и ошибки.

Так продолжалось до польских и венгерских событий 1956 года и 1958. Были убиты Имре Надь и Малетер. И я снова задумался. Мне стало казаться, что и относительно Хрущева у меня иллюзии. Я стал понимать, что дело тут не в культе личности Сталина или другого руководителя, а в самой структуре коммунистической партии, в структуре самой советской системы. Мне казалось — необходимо бороться, чтобы французская компартия отошла от советской системы.

Вот тогда и появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Эта книга сыграла большую роль в моей жизни. Читая ее, я понял, что природа сталинских и гитлеровских лагерей была одинакова. Об этом я написал в предисловии, предпосланном французскому переводу книги Солженицына. Так я начал платить свои долги узникам ГУЛага. Когда во Франции говорили о лагерях в Советском Союзе, как раз в то время, когда отправляли туда Солженицына, я был одним из тех, которые утверждали: «В Советском Союзе не может быть лагерей». Утверждая подобное, я, хоть и невольно, но помогал сталинским властям держать людей в лагерях...

Именно после книги Солженицына я понял, что социализма в СССР нет. Это открытие по-настоящему ускорило мою эволюцию. Мне пришлось заниматься этой книгой еще и по другим причинам. Первый перевод «Ивана Денисовича» был сделан некачественно. Эльза Триоле тогда же сразу заявила, что Солженицын — это большой писатель, а тогда во Франции в этом были уверены далеко не все. Большинство продолжало думать, что повесть — еще одно свидетельство о лагере, а вовсе не художественное произведение. Перевод был сделан наскоро. Помню, посол во Франции Виноградов торопил всех с переводом и недоуменно восклицал: «В чем дело? Да ведь достаточно пятнадцати суток, чтобы это перевести». Эльза Триоле обратилась тогда ко мне с просьбой поработать над текстом Солженицына, полагая, что мое знание лагерной жизни сослужит большую службу. Мое недостаточно хорошее знание русского языка компенсировалось группой специалистов, которых собрала Триоле. Мы усердно работали три месяца. Во время работы над переводом мне бросились в глаза такие вещи, которые были многими осознаны после появления книги в свет. Прежде всего я понял, что Солженицын — это человек, которого лагерь совершенно переродил, который совсем по-другому увидел и понял жизнь советского, русского общества, неприемлемость социализма для России. Короче, я увидел человека, который отбросил в сторону советскую идеологию. В принципе, его точка зрения должна была бы быть мне враждебной, но я был глубоко ею взволнован. В предисловии я написал совершенно четко и ясно о лагерях и сталинизме и очень осторожно — об образе мыслей самого Солженицына. Я уже тогда понимал, что человеку, отсидевшему свое в лагере и написавшему такую книгу, придется несладко. Мне хотелось, чтобы до французского читателя дошел бы талант художника в этой повести. А с другой сторо-

ны, я опасался причинить какие-нибудь неприятности автору, живущему в СССР.

Тогда же нам стало известно о выступлении Хрущева перед писателями, в начале 1963 года. Речь его была резкой и содержала нападки на тех писателей, которые боролись за либерализм и десталинизацию.

Мне стало ясно, что КПСС не пойдет дальше по пути XXII съезда: либерализация была блокирована. В конце 1962 года в «Леттр Франсэз» были помещены интервью прибывших во Францию советских писателей. Мы впервые увидели советских писателей, не похожих на чиновников из ССП — Паустовский, Виктор Некрасов, Вознесенский выступали совершенно свободно, и мы были этому рады. Когда Хрущев подверг резкой критике эти интервью, я решил, что этот новый путь — путь либерализации — навсегда закрывается. Но с другой стороны, я был рад, узнав, что Хрущев не препятствовал публикации Солженицына.

После падения Хрущева я решил, что надеяться больше не на что — процесс десталинизации надолго приостановлен. Тогда же возобновились гонения на инакомыслящих. Началось дело Синявского и Даниэля.

Меня тогда еще многое связывало с французской компартией. Я надеялся, что она выступит в защиту советских диссидентов, несмотря на то, что после смерти Тореза партия продолжала идти прежним путем. Арагон выступил в защиту Синявского и Даниэля и это было чем-то новым, совершенно небывалым, совсем не похожим на обычное поведение партии. Тогда же «Леттр Франсэз», воспользовавшись выступлением Арагона, стала систематически защищать советских инакомыслящих, на которых в то время был направлен главный удар.

Но тогда же случилось непредвиденное. После выступления Арагона ко мне стали приходить интеллигенты из СССР и других социалистических стран,

бывшие проездом или в командировках во Франции. Именно тогда я узнал правду о жизни в социалистических странах больше, чем за всю жизнь. Раньше я мог кое-что подозревать, но по-настоящему не мог понять, насколько репрессивны были власть и партия. Я увидел, что режим, в который я вложил столько надежды, оказался еще одной формой несвободы.

Я, вероятно, тогда бы порвал с партией, если бы не грянула «Пражская весна», которая была для меня настоящим возрождением. Налаживалась связь между советскими и чехословацкими единомышленниками. Стало известно знаменитое письмо Солженицына к Союзу писателей. Это письмо, на мой взгляд, подтолкнуло выступить Союз писателей ЧССР против партийной цензуры. Мне казалось, — наконец-то появилась компартия, способная сказать открыто правду о процессах, о собственной коррупции, о чистках. Я полагал, что движение, которому я отдал жизнь, способно возродиться и идти путем реформ.

Как вы знаете, «Пражская весна» закончилась вторжением советских танков в Чехословакию. Французская компартия осудила вторжение, но год спустя она признала «нормализацию», т. е., иными словами, признала внутренним делом ЧССР истребление возрождавшейся чехословацкой компартии.

После крушения «Пражской весны» я понял, что я должен делать. Я стал с большой энергией выступать в защиту советских и чехословацких инакомыслящих. «Леттр Франсэз» выступала в защиту Солженицына, когда его исключили из Союза писателей. Мы защищали всех, кто оказывался под угрозой. Одновременно мы пытались показать нашим читателям — левым интеллигентам и членам французской компартии — что на самом деле творится в социалистических странах.

Я был тогда согласен со словами Солженицына и Сахарова относительно существования в мире некоего

«равновесия угнетения». Такие многовековые западные державы, как Франция или Англия, должны столкнуться с глубоким кризисом, который поставит под угрозу их национальную многовековую структуру общества. Деспотизм и преследование, царствующие в СССР и социалистических странах, используются против собственных прогрессивных движений. Европейские правительства заинтересованы в том, чтобы ситуация на Востоке не улучшилась, с тем, чтобы иметь возможность сказать своим народам: вот она, цена социализма, которую и вы будете платить в подобных случаях.

Я стою за разрядку и за существование компромиссов дипломатического характера в отношениях Запада и Востока. Но я уверен, что относительно прав человека никаких компромиссов быть не должно. Такие губительные компромиссы уже были. Они принесли войну и фашизм.

Сегодня мы наблюдаем пробуждение Запада. В этом пробуждении огромную роль сыграл Солженицын. И не только он, но и Сахаров, все те, кто борются, сидят в ГУЛаге, в психиатрических тюрьмах...

Не скрою, мне нелегко. Крушатся мои иллюзии. Французские прогрессисты с 1917 года считали, что большевистская революция — дочь Великой французской революции 1789 года. Теперь необходимо обладать известной смелостью и мужеством, чтобы признать, что на самом деле все иначе и что после семнадцатого года до наших дней в России продолжается иной и очень опасный для человечества процесс.

Таков был образ моих мыслей, когда я писал свою книгу «Что я знаю о Солженицыне». Эта книга была как завещание читателям «Леттр Франсэз», которая перестала выходить в 1972 году. Год спустя я вышел из французской компартии.

Вопрос. Что вы думаете о религиозном возрождении России?

Ответ. Так как я атеист, мне трудно ответить на этот вопрос. Я не разделяю религиозных убеждений Солженицына, Максимова, Синявского, но мне кажется, я их понимаю. Лично для меня тот факт, что в коммунистических государствах религиозные убеждения служат борьбе против несправедливости, является серьезным историческим уроком. Раньше мы думали, что фанатизм — явление религиозное, теперь же мы убедились, что существует фанатизм марксистский и материалистический, в борьбе с которыми религиозный протест олицетворяет дальнейший путь к духовному прогрессу.

Вопрос. Как вы оцениваете позицию журнала «Континент»?

Ответ. Те два номера «Континента», что я прочитал на французском языке, имеют, на мой взгляд, огромное значение. Они убедительно показывают западному человеку истинную картину развития интеллектуальной свободной мысли Восточной Европы. И я желаю журналу долгой и плодотворной работы.

ДЕКС Пьер — французский писатель и публицист, родился в 1922 году. Во время войны за участие в Сопротивлении был арестован и отправлен в немецкий лагерь Маутхаузен. С 1948 года по 1972 был главным редактором коммунистического французского журнала «Леттр франсэз». В начале 1974 года вышел из французской компартии, членом которой был с 1939 года. Автор широко известных книг о Солженицыне, Пикассо, а также о вопросах современного искусства.

В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НОМЕРА

Мы созвали эту небольшую пресс-конференцию, чтобы представить Вам материалы о попытке возбуждения уголовного дела против моего зятя Ефрема Янкелевича. Но прежде я хочу напомнить некоторые другие факты преследования его органами КГБ.

В декабре 1974 года я получил письмо, подписанное «Члены ЦК Русской Христианской Партии». Там было написано: «Сразу же после очередной вашей выходки мы примем свои меры. Начнем мы, как вы видимо и сами понимаете, с известных вам Янкелевичей — старшего и младшего». В январе 1975 года угроза убийства была повторена. Летом 1975 года следователь КГБ майор Истомина, который вел дело Ковалева, дал ясно понять, что КГБ считает Янкелевича тесно связанным с Ковалевым, но добавил, что Янкелевича мы допрашивать не будем, нам не нужен шум на весь мир вокруг зятя Сахарова. Очевидно, действительно, КГБ невыгодно преследовать Янкелевича по политическим обвинениям, но это вовсе не значит, что они собираются оставить его в покое — наоборот, с декабря 1974 года делаются попытки создать уголовное дело, и одновременно применяются другие формы преследований.

В декабре 1975 года Ефрем вместе со мной был в Вильнюсе во время суда над Ковалевым и подвергался там особенно настойчивым словесным провокациям и оскорблениям со стороны переодетых в штатское работников КГБ, изображавших «дружинников» около суда. Сразу же после суда мой зять был уволен с работы. Все его попытки устроиться на другую работу — безрезультатны и безнадежны. Таким образом Ефрем Янкелевич, молодой радиоинженер, по существу единственный кормилец семьи из четырех человек (у

него двое детей, младшей к моменту увольнения не было четырех месяцев), — прочно и надолго безработный. Необходимо отметить, что профессиональная дискриминация Янкелевича началась сразу после окончания им института в 1972 году и ему фактически вообще не дали работать по специальности.

Сегодня, представляя Вам заявление Янкелевича и мое, я хочу подчеркнуть, что мы одна семья, у нас неразделимые общественные и семейные интересы и заботы. Преследования Янкелевича имеют тройную направленность. Это преследование его лично, это форма давления на меня и попытка препятствовать нашему общему общественному делу.

11 июня 1976 года

Андрей Сахаров

ЗАЯВЛЕНИЕ

Когда зимой 1974-75 года КГБ угрожало убийством мне и моему годовалому сыну, мои родственники обратились в милицию. «Не принадлежит ли Янкелевич к уголовному миру?» — ханжески спросил тогда высокий милицкий чин.

С тех пор органы КГБ взялись за разработку этой смелой гипотезы.

Осенью 1975 года КГБ пыталось шантажировать мою мать намерением обвинить меня в спекуляции книгами. Теперь меня пытаются обвинить в совершении какой-то автомобильной аварии. Машина, на которой я якобы эту аварию совершил, принадлежит моей матери, и я действительно ездил на ней до весны 1973 года. С тех пор из-за поломки заднего моста, а затем и пропажи двигателя, машина может передвигаться только на буксире. Это досадное обстоятельство не обескуражило следствие, которое теперь фаб-

рикует обвинение в аварии, совершенной *до весны 1973 года*.

Методы следствия просты — заставить механика В. Томачинского показать, что машина, за ремонт которой он брался осенью 1973 года, носила следы тяжелой аварии, которые он и ликвидировал по просьбе владельца.

К счастью, простые методы не всегда эффективны, и Томачинский не дал нужных следствию показаний, несмотря на угрозы КГБ возбудить против него уголовное дело.

Однако я отдаю себе отчет в том, что осуждение меня по любой уголовной статье слишком привлекательная для КГБ затея, чтобы отказаться от дальнейших попыток обвинить меня в автомобильной аварии, в хулиганстве, как Александра Фельдмана и Леонида Тымчука, во 'взяточничестве, как доктора Штерна, в сопротивлении властям, как Льва Ройтбурда, или в изнасиловании, как тбилисского историка Теймураза Джваршейшвили.

Я требую прекратить практику фабрикации уголовных дел для расправы с неугодными КГБ людьми или их компрометации.

11 июня 1976 года

Ефрем Янкелевич

СОДЕРЖАНИЕ

Томас Венцлова — Памяти поэта. Вариант	5
Владимир Максимов — Ковчег для незваных. Из романа	9
Иржи Гохман — Чешский хэппенинг. Роман. Продолжение	26
 СТИХИ	
Анри Волохонский — Из цикла «Иог и суфий»	67
Василий Бетаки — Из цикла «Европа — остров»	72
Вадим Делоне — «Что-то в белых снегах беспокойное...»	75
Марина Глазова — «И бьется, вьется пена паутиной...»	78
 РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ	
А. Марченко, М. Тарусевич — Tertium datur — третье дано	81
Наум Коржавин — Психология современного энтузиазма	123
 ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Аделаида Ламберг — Эстонские диссиденты — за независимость	157
 ЗАПАД — ВОСТОК	
Исаак Дон Левин — ГУЛаг и Запад	165
 ЗВУКОВЫЕ БАРЬЕРЫ РАДИОВЕЩАНИЯ	
А. Ретти — Прощание с «Голосом Америки»	201
А. Солженицын — О работе русской секции Би-Би-Си	210

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Татьяна Ходорович — Открытое письмо Леониду Плющу	225
Леонид Плющ — Ответ Татьяне Ходорович	244
От редакции	263
Алексей Лосев — Ненаписанные репортажи	267

ИСТОРИЯ

Александр Янов — Комплекс Грозного (Предисловие — А. Пятигорского)	313

ИСТОКИ

Борис Орлов — «Февраль семнадцатого» в канун нэпа	345
Борис Бажанов — Побег из ночи (Из воспоминаний бывшего секретаря Сталина). Продолжение	360

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Виолетта Иверни — Попытка времени (Проза Владимира Корнилова)	395

КОЛОНКА РЕДАКТОРА	419

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ю. Вишневская — Невидимкою луна...	421

КОРОТКО О КНИГАХ	426

НАША АНКЕТА

Интервью с Пьером Дексом	433

В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НОМЕРА

Заявления А. Сахарова и Е. Янкелевича	442

К сведению авторов «Континента»:

Рукописи, не принятые к публикации, не возвращаются.

ВЕСТНИК

Русского Христианского Движения

(Париж — Нью-Йорк — Москва)

НОМЕР 118

Богословие, философия: *Свящ. Дмитрий Дудко.* Из неопубликованных бесед. Из Кабановских проповедей. — *Прот. Г. Бенигсен.* Пятидесятница. — *М. Новоселов.* Тайна Церкви. — *Свящ. Сергей Желудков.* Проблемы современного христианства. — *Епископ Александр (Семенов Тянь-Шанский).* О книге прот. А. Шмемана о крещении. — *Прот. А. Князев.* Пророки. — *В. Кривулин, Т. Горичева.* Евангельские диалоги. — *К. Криптон.* К вопросу исторического прошлого Русской Православной Церкви. — *Гилберт К. Честертон.* Св. Франциск Ассизский. — *Е. Барабанов.* Забытый спор.

Вопросы общественности: *А. Солженицын.* Две речи в Стэнфорде. — *А. Безансон.* Краткий трактат по советологии, предназначенный для гражданских, военных и церковных властей.

Литература и жизнь: *В. Ворошильский.* Сын гуннов, тот самый поэт. — *Геннадий Айги.* Стихи разных лет. — *О. Мандельштам.* Два неизданных стихотворения. О пьесе А. Чехова «Дядя Ваня». Отрывок из статьи о переводах. — *М. Цветаева.* Неизданное стихотворение. — *С. Жаба.* Терцизированный Пушкин. — *Н. Муравина.* Свидетели о революции. — Горький о Ленине и революции.

Судьбы России: *Ф. Лужин.* «Государствобесие». — Обращение к XXV съезду КПСС группы христиан Русской Православной Церкви. — Циркуляр митрополита Крутицкого Серафима. — *Свящ. Глеб Якунин.* Комментарии к Указу митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима. — Обращение членов христианских церквей СССР в Президиум Верховного Совета СССР. — *И. Синявин.* Предстоящие задачи. — Первый номер нового самиздатского журнала «37». — Памяти К. Богатырева.

Цена отдельного номера — 25 фр. фр. / US \$ 6.00

Ответственный редактор — *Н. А. Струве.*

Адрес редакции и конторы:

A. C. E. R. 91, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris, France.



ФОНД «АССОЦИАЦИИ ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

Основан Фонд «Ассоциации друзей журнала «Континент». Средства этого Фонда будут использоваться в соответствии с целями и практикой, провозглашенными в редакционной декларации в первом номере настоящего периодического издания, то есть на расширение его дальнейшего финансирования, пропаганду его идей, а также в целях оказания материальной и моральной помощи деятелям культуры России и Восточной Европы.

В правление Фонда вошли:

Раймон Арон, Джордж Бейли, Александр Галич, Корнелия Герстенмайер, Эжен Ионеско, Владимир Максимов, Виктор Некрасов, Людек Пахман, Андрей Сахаров, Йозеф Чапский, Зинаида Шаховская, Карл-Густав Штрём.

Взносы направлять только через банковский счёт по адресу:

„Les amis de la revue „Continent“ compte 3.726130.8
Société Générale, Agence AG
45 avenue Kléber Paris 16 France

EUROPEAN PARLIAMENT

Working Documents

1976 - 1977

7 июля 1976

Документ 228/76

Проект резолюции о жестоком обращении с Владимиром Буковским, внесенный г-ном Берtrandом от имени христианско-демократической группы и лордом Бетеллом от имени европейской консервативной группы, с просьбой назначить внеочередные прения на основании § 14 Правил заседаний

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ,

обеспокоенный, что Владимиру Буковскому, заключенному за разоблачение злоупотреблений психиатрии советской тюремной системой, грозит смерть от истощения и от отсутствия медицинского обслуживания,

- 1) считает это нарушением прав человека и препятствием на пути к углублению разрядки между Востоком и Западом;
- 2) привлекает внимание к факту, что советское правительство игнорирует те части Заключительного акта Хельсинкского совещания, которые гарантируют уважение прав человека и основные свободы;
- 3) обращается со спешным призывом к советскому правительству положить — в духе Хельсинкского соглашения — конец жестокому обращению с Буковским и другими политическими заключенными;
- 4) поручает своему председателю направить эту резолюцию в Совет и Комиссию Европейских сообществ и правительствам государств-членов Европейских сообществ.